

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)
А. Б. Байбородин (Иркутск)
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)
Т. Г. Четверикова (Омск)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
А. В. Кирилин (Барнаул)
Э. И. Русаков (Красноярск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Н. М. Закусина (Новосибирск)
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)
А. Ф. Косенков (Новосибирск)
В. С. Никифоров (Новосибирск)
Владимир Титов (ответственный секретарь)
Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)
Марина Акимова (зав. отделом поэзии)
Михаил Косарев (зав. отделом критики)
Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

6/2015

Содержание

ПРОЗА

- Сергей АЛЕКСЕЕВ. Понтифик из ГУЛАГа.** Главы из романа.3
Дмитрий РОМАНОВ. Теплород. Рассказы.99

ПОЭЗИЯ

- Ольга АНИКИНА. Серебро гиперборейское.** Стихи.95
Иосиф БРЕЙДО. «И впору сочинять роман...» Стихи. 115
Услышьте наши голоса
Владимир ЧУГУНОВ. «Сердце не грубеет на войне...» Стихи. 118

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Янга ТОДОШ. «Когда мой черный конь падет...»**
Стихи из фронтового дневника. 122
Пётр ДЕДОВ. Сполохи. *Из записных книжек и дневников.*
Окончание. 126

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Юрий ЧЕРНОВ. Осокорь.** *О Владимире Сапожникове.* 139
Людмила КУЗМЕНКИНА. Красота ушедшего времени.
О краеведческой выставке «Женское соло». 157
Владимир КУНИЦЫН. Жертвоприношение «Левиафану». 167
Народные мемуары
Людмила МУРАТОВА. Дети, пережившие войну.
Исповедь советского человека. 174

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Светлана ГОЛИКОВА. Новосибирск в графике**
Александра Силича. 189

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

ПОНТИФИК ИЗ ГУЛАГА

Главы из романа*

1.

Привыкший бороться с насилием, Патриарх не терял охоты к сопротивлению, даже когда притомился от бесконечной дороги и в какой-то момент ощутил полное равнодушие ко всему, что с ним происходит, в том числе и к своим похитителям. Если взяли, чтобы банально расправиться, убить, то это маловероятно. Кончить его могли сорок раз, но всегда берегли как зеницу ока, кто бы ни подступался. А похитители выглядели вовсе не отморозками и хулиганами, скорее профессионалами, исполняющими заказ. Ничего не требовали, не спрашивали и вели себя вполне миролюбиво.

Пока везли с открытыми глазами и пока была ночь, Патриарх считывал названия темных, призрачных деревень на простреленных дробью указателях и старался хотя бы понять, в какую сторону едут, по какому направлению от столицы. Однако ничего знакомого не попадалось, все больше какая-то нелепица вроде населенного пункта Шары или Шоры, где они крутились часа два, вероятно заплутав на многочисленных перекрестках и распустьях. Да и везли хоть и быстро, но все какими-то вертиками, кривыми путями или вовсе долго и нудно трясучими проселками, объезжая посты ГАИ и крупные населенные пункты.

Он ни на минуту не смирился со своим положением, по сути, плененного, однако внешне и не противился: даже в столь критический час все еще ликовала душа — успел, свалил с себя бремя, некогда помимо воли на него возложенное! Успел избавиться от ноши, которая неотвратимой обузой лежала на плечах лет семьдесят и уже приросла к плоти, давно стала частью его существа, однако, как все нежелательное, вызывающее чувство несвободы и отвращения, отделилась легко и безболезненно. Патриарх физически ощутил, как не по-старчески распрямилась спина,

* В полном объеме, отдельной книгой, роман готовится к выходу в свет в издательстве «Страга Севера».

расправились плечи и сама собой вскинулась голова. Теперь его ничто не связывало с прошлым, с юностью и молодостью — ни грехи, ни заслуги, и он испытывал одно непроходящее, окрыляющее состояние — чувство исполненного долга.

Оно, это чувство, распирало его изнутри, придавало такую невероятную подъемную силу, что он вспомнил о незаконченной симфонии «Звон храмовых чаш» и ощутил желание ее завершить. Он будто скинул с себя вяжущие движения оковы, и произошло это в тот момент, когда к нему явился долгожданный человек, преемник, которому он завещал все свое прошлое состояние, и, избавившись от груза наследства, наконец-то почувствовал волю. Теперь ничто не могло поколебать его утвердившегося равновесия в пространстве, даже вот это похищение неизвестными людьми. Дело всей жизни было сделано, сыграно до последней ноты, а теперь пусть происходит все что угодно, можно и смерть встретить достойно, с открытым лицом и душой. Однако не за грош жизнь отдать, а побороться с незримым противником, испытать его силу и одновременно извлечь из этой ситуации что-то полезное.

Полезного же получалось даже очень много! Завтра помощницы хватятся, установят, что его похитили, и поднимут такую волну — всем тошно станет. Телеканалы и газеты взорвутся от негодования, его имя опять поднимут как знамя борьбы с насилием и несправием в государстве. А то что-то успокоились, обвыклись, стали забывать, благодаря кому полностью изменился облик власти и отношение к человеку как к личности.

Если бы не случилось этого похищения, его надо было придумать, инсценировать!

Позже, с рассветом, похитители завязали глаза шарфом и вздумали еще сверху натянуть плотный шерстяной чулок, но заспорили между собой, кому это сделать сподручней. Обоих что-то смущало, один и вовсе советовал оставить только шарф, мол, все равно проверять не станут, как везли, но второй настоял и сам принялся надевать ему на голову этот злосчастный черный чулок. Он оказался настолько тесным, что сразу перехватило дыхание, и Патриарх инстинктивно стал отпихивать руки, вертеть головой, однако похититель бесцеремонно натянул чулок ему до самого горла.

— Ну и как тебе дышится, старче? — еще и спросил заботливо, незлобливо, но со скрытой издевкой.

От чулка пахло женским потом, одеколоном и детской тальковой присыпкой — редким сочетанием запахов, которые он помнил всю жизнь, узнавал и сейчас встревожился, ибо вспомнил двоюродную племянницу Гутю. Эта смесь запахов показалась ему мерзкой, признаком чужой грязи и нечистоплотности. Тем паче всякая участливость похитителей раздражала его, и пренебрежительное молчание тоже стало бы сопротивлением, но в какой-то момент его прорвало. Скорее от мерзкого запаха и удушья.



— Вы сволочи и подонки! — заругался он. — Кто вам позволил так обращаться с пожилым человеком? Со старцем? Я ровесник двадцатого века!..

И поймал себя на том, что ругается по-польски, на языке, почти забытом. Да еще как-то нелепо, невыразительно, без крепких слов и оборотов. Похитители не вняли, но перекинулись несколькими фразами:

— Это он на каком говорит?

— Вроде чешский, что ли...

— Нет, кажется, хохляцкий.

— Давай спросим?.. Эй, ты что там сказал?

Патриарх оттянул липучую ткань от лица, подавил рвотный позыв и ответом их не удостоил.

Все происходящее сначала воспринималось как розыгрыш или дурной сон, несовместимый с реальностью, хотя чего-то подобного он всю жизнь ждал и допускал, что его могут даже похитить. И все из-за этого наследства, обузы, от которой он успел избавиться. Как у человека, пережившего на свете несколько эпох, у него было довольно врагов, но все они остались в далеком прошлом. Даже самые злейшие давно сгинули, иные и вовсе выпали из памяти. По прошествии многих лет вспоминались имена, и вместо чувства неприятия — ностальгия, тоскливое тепло по сердцу. Да это же разве враги?!

Патриарх был в том положении и возрасте, когда отпадают хлопоты о чести и славе, порождающие вражду и сеющие ненависть. Когда все, что с тобой ни происходит, только на пользу, все во благо — и добро, и творимое тебе зло. В последние десятилетия он стремительно обрастал друзьями, и окружающие, молодые и старые люди, простые и высокопоставленные, непременно желали только дружбы, отчего в глаза и за глаза называли Патриархом, иногда добавляя слова «светский» или «культурный». Это звучало не как прозвище — как почетное звание для уважаемого старейшины, в силу собственного несгибаемого характера не заслужившего иных, официальных, чинов и регалий.

Правда, ему впопыхах пожаловали несколько лауреатских званий и даже Госпремию дали за вклад в культуру, но это уже не соответствовало его истинному положению в пространстве лет. Он сам отлично понимал формальную ценность государевых наград, не обольщался и принимал их как публичные извинения или даже как предмет покаяния власти. Остающиеся в живых близкие друзья в ответ на запоздалое движение системы поворчали, выразили неудовольствие и настойчиво советовали не принимать почестей или, еще лучше, демонстративно отвергнуть их. Особенно настаивали черные вдовы со своим вечно юным максимализмом. Но это бы выглядело дешевым позерством, ко всему прочему Патриарх считал, что нельзя бесконечно играть на протестных нервах, мордовать власть, не принимать ее жертв и покаяний, если они приносятся искренне. В общем, получился даже не спор и не разногласие, а скорее обмен мнениями, принципиальными точками зрения. В любом случае зависти ни у кого не было

точно, даже у юных тшеславных друзей, и это уж никак не могло стать причиной хорошо спланированного, с иезуитским душком, похищения: можно сказать, открытым текстом предупредили, прежде чем выманить из квартиры. И в машину сел сам!

Личной охраны у Патриарха не было, хотя при желании она бы появилась, безусловно, однако жил он на площадке с одним из вице-премьеров, и стража стояла в подъезде соответствующая. Однако вечером позвонили из Комиссии по помилованиям, попросили спуститься на минуту и подписать ходатайство. Вызывали его таким образом довольно часто, и в основном по делам неотложным или щепетильным, когда требуется уединенный разговор без чужих ушей. А тут час был поздний, выходить в знобкий, дождливый вечер желания не наблюдалось, и он попросил вкратце изложить суть дела.

Здесь и прозвучало скрытое предупреждение, от которого он даже не насторожился, хотя сказали чуть ли не открытым текстом: дескать, произошло похищение человека, за что добропорядочный гражданин теперь мотает срок. И фабулу изложили, мол, некий родитель отчаялся за получить свою дочь законным образом, выманил куклой из дома, увез и спрятал. Тогда еще редко похищали людей вообще, тем паче из меркантильных соображений — париться на нарах за своего ребенка было несправедливо. По телефону слишком навязчиво торопили, завтра, мол, заседание Комиссии и — на подпись, а к черным вдовам обращаться по такому делу бессмысленно, они примут сторону обиженной матери. Выходит, светский Патриарх — последняя, решающая инстанция, авторитетная для главы государства. И еще ему хотелось своей подписью подразнить двух строптивых и непокорных бабок Ёжек. Приехать завтра в офис и сказать, дескать, а я вчера мужика освободил из тюрьмы...

Черными вдовами называли ближайших его подруг и помощниц, в прошлом убежденных феминисток или, проще говоря, двух одиноких и несчастных старух, которых он в шутку и ласково именовал бабками Ёжками.

И вот везли его всю ночь в неизвестном направлении, потом еще часа полтора уже с завязанными глазами и с вонючим чулком на лице. Дорога виляла в незримом пространстве, проезжали какие-то деревни, поскольку мычали коровы и визжали свиньи, затем дружно, разом, заголосили петухи, и все остановилось, смолкло. Патриарха поспешно вывели и положили на обочину сельской дороги с глубокими колеями.

— Лежи тут и жди!

— Может, привязать к дереву? — стали советоваться между собой. — Шустрый еще старикан! Думал, живым не довезем!..

— Куда денется? Поехали отсюда! Что-то не по себе...

— Хоть руки-ноги спутать? Старая закалка, такие из гроба встают!..

— Не наше дело. Сказано, оставить здесь. Поехали!

— Лежи смирно, — последовал приказ над самым ухом. — И повязку не снимай, ослепнешь без привычки.



— Вы куда меня привезли? — впервые за всю дорогу спросил Патриарх.

— На тот свет! — уже на ходу хмыкнул похититель. — Сейчас за тобой прилетят. Ангелы с херувимами!..

И торопливо унеслись в незримое пространство.

Мысль бежать, как только выпадет возможность, тряслась в голове всю дорогу, вместе с жаждой противления насилию, а тут вспыхнула ярко — вот он, случай! Патриарх тотчас сорвал с лица чулок, сдернул шарф и зажмурился от яркого, вышибающего слезу света. Солнца не было, а перед глазами плыли режущие красные пятна, черные мушки и длинные, яркие искры, словно от выстрелов во тьме. Повязка, в общем-то, была не черная, не глухая, так чтобы успел за несколько часов отвыкнуть, серенький сумрак все же пробивался, а тут резануло, словно на полуденное солнце посмотрел или на электросварку в темноте. Он вспомнил, когда в последний раз видел свет такой силы и нестерпимой яркости — в двадцатых годах, когда учился в консерватории и когда после мрачных, пасмурных дней в Москве по секретной директиве Троцкого на три дня разрешили звонить во все колокола.

Он так же стоял у окна и плакал от яркого света.

Но это оказалось лишь началом: следом за слезами в три ручья хлынула огненная, нестерпимая боль, которой он не испытывал тогда, в вибрирующей от колоколов Москве. Несколько минут Патриарх стоял на коленях, едва сдерживаясь от крика, и только стонал, уткнувшись головой в землю. Давление на глазные яблоки было настолько сильным, что чудилось — глаза сейчас выкатятся на траву. Мерцающие болезненные вспышки колотились в черепной коробке, отдаваясь в уши и, как ни странно, в корни несуществующих зубов: у него давно стояли вкрученные стальные штифты, на которых крепились фарфоровые коронки. Патриарх стиснул их так, что услышал стеклянный хруст, однако это внезапно помогло, пламя боли мигнуло в последний раз и погасло.

Не отнимая рук от лица, он опустил на живот, сунулся лицом в траву и расслабился. Остатки недавней боли курились дымком и бесследно таяли где-то над головой. И пока кряхтел и катался, привыкал, промаргивался, чтоб осмотреться, услышал рядом дребезжащий, неприятный скрип, затем фыркнул конь, лязгая удилами.

— Вот и наш пострел, — определил натуженный, сиплый голос. — Глянь, похож — нет?

— Да вроде, — согласился другой, с булькающим низким баритоном. — Твоя фамилия товарищ Станкевич?

— Говорить не хочет. — При этом щелкнул кнут. — Гордый, должно быть, товарищ...

— Чего молчишь? Открой лицо-то!.. Станкевич или нет?

В последнее время Патриарх редко слышал свою фамилию и относился к ней как к собственной истории, однако же кем-то написанной и потому очужевшей.



— Похоже, ослеп, — было заключение булькающего. — Ишь, молчит и только глаза трет... Для него наш свет не мил.

— Ослеп, да ведь не оглох, — просипел другой. — Эй, дед, как фамилия? Тебя спрашивают!

— Лесничего подождем. Тот лично знает товарища Станкевича.

— Тот всех знает в лицо...

— А что делать станем? Давай в карты сыграем?

Булькающий был куда серьезнее.

— Мы пока костерок разведем, заклепки погреем.

От их неторопливого разговора повеяло чем-то зловещим и неотвратимым, даже глаза перестало резать и сквозь щелки пальцев пробился вполне терпимый свет.

Еще ночью, когда он был в руках похитителей, Патриарха озаряла мысль, что насилие это творится как расплата за прошлое, но тогда подобное озарение почудилось вздором. Или, скорее, было затушевано сиянием чувства исполненного долга, в котором он пребывал и которое физически ощущал, что бы с ним ни происходило. Это чувство будто навсегда и безвозвратно отрезало все прошлое, и соединить его с настоящим было невозможно.

Как человек, переживший несколько режимов, взлетов и падений, с ними связанных, он понимал, что нынешнее патриаршество не бесконечно. Он чуял, как власть уже устает от перманентного пересмотра истории, уничтожения прошлых героев и возвеличивания новых, незаслуженно забытых, не признанных в свое время. Власти когда-то потребовалась доза свежей, горячей, бодрящей крови, влитой в ее жилы. И вот переливание закончилось, подпитка состоялась, власть перестала нуждаться в донорстве, необходимом в период становления, утверждения, декларации намерений. Теперь подходит срок, когда прежние, питающие своей кровью личности становятся лишними. Власти требуются другие доноры, с молодой, живительной кровью; власти все время необходимо обновление, омоложение, дабы выглядеть привлекательной. Если вскормившие ее старцы уходят в мир иной сами, то им и место на Новодевичьем, и воинские почести, и слава на века. А если как он, еще бодрый, энергичный и не помышляющий о смерти? Если как он, заполучив вечный титул Патриарха, продолжает давать советы, как строить новое общество, и при этом подписывает декларации и проекты законов, от которых власть уже коробит или вовсе тошнит? Даже стали поговаривать, мол, Патриарх нынче выглядит как Григорий Распутин при царском дворе: если такая личность появилась в высших эшелонах власти, значит, ей скоро конец. Мол, старец всюду сует нос, да еще тянет за собой въедливых и ненасытных черных вдов, вечно жаждущих крови власть имущих...

Правда, не вяжется тут символизм в организации похищения, как-то нелепо выглядит скрытое предупреждение, хотя при всем том иезуитский почерк узнаваем...



Так он думал, пока не очутился на обочине проселка и пока не явились эти двое на скрипучей телеге. И опять пробило: месть за прошлое! С какой бы стати его назвали не просто по фамилии, а с приложением слова «товарищ», от которого он напрочь отвык еще более полувека назад? А еще более четверти именовался не иначе как гражданин?

Когда нерасторопные балагуры сбросили с телеги какое-то железо и развели большой костер прямо на дороге, Патриарх все же приоткрыл глаза и сквозь расплывчатую слезную пелену различил двух совершенно незнакомых, монашеского вида, мужиков: вроде в серых подрясниках, и шапчонки на головах тряпичные. Один сиплый пегобородый, с рыжиной, у второго черная борода, зальсины проглядывают и кузнечный инструмент в руках.

— Дак чего? — спросил этот сиплый. — Заклепки разогрели. Станем железа накладывать?

— Может, лесничего подождем? — пробулькал черный густым неторопким басом. — Вдруг не того привезли, как в прошлый раз...

— Все одно, того, не того. Отсюда назад не отпустят. А велено всякого в железа.

Они подтащили цепи с прикованной чуркой, приготовили увесистую кувалду вместо наковальни и молоток. Патриарх взирал на все это сквозь слезы и чуял, как привычное желание противиться насилью исчезает вместе с глазной болью. И стремительно угасает яркий, режущий свет.

— Давай, товарищ, подставляй ноги сам, — посоветовал булькающий. — Противиться нам — себе дороже. В кандалы приказано обрядить.

Патриарх протянул ноги волосатому мучителю, словно принимая брошенный вызов:

— Сделай милость, раб божий! Забей меня в кандалы!

— Забивают в колодки, — поправил его палач. — А железа налагают.

— Это тебе лучше знать!

Послушник недоверчиво глянул, но завернул штанины и пощупал щиколотки.

— А ноги у товарища-то совсем тоненькие! — изумился он. — И стопа сухая. Выскочит ведь.

— Надо было размер снять заранее, — съязвил Патриарх.

— Твой размер знаем, — серьезно и как-то угрожающе пробулькал палач. — Должно, усох ты за эти годы. Пешим не ходил, панствовал... Чего делать-то станем, Михайло?

— Может, так везти, без железа? — предложил тот. — Если не по размеру?

— Велено заковать!

— Тогда думай сам! Ты мастер кузнечных дел.

— Что тут думать? — отозвался булькающий, верно и в самом деле знакомый с кузнечным ремеслом. — Разогреем да сомнем поуже. По панским ножкам и будет.



Они и в самом деле сунули в огонь кольца кандалов, нагрели их и, удерживая клещами, придали овальную форму. Потом остудили в луже, примерили к щиколоткам, снять попробовали.

— Годится!

Чтоб сковать ноги, у них ушло минуты три: в отверстия оков вставляли разогретые малиновые заклепки — по две на каждую ногу, легко плющили их и тут же поливали водой. И еще спрашивали участливо:

— Не жжет?

Ручные железа оказались впору, только вот дырок насверлили не того диаметра, пришлось слегка раскатывать заклепки и забивать их как гвозди, зато уже намертво.

— Не жмут? — все еще ехидно интересовался сиплый. — Ты если чего, так скажи, пока не забили. А то ведь тебе сидеть в этих железах придется вечно.

Кандалы оказались прикованными к ножным, и все вместе — к дубовой чурке с врезанными обручами, весом пуда в полтора. Послушники помогли ее донести и погрузить в телегу.

— Поехали! Глядишь, и лесничего встретим.

Новая роль, в которой оказался Патриарх, ему, безусловно, нравилась, открывала совершенно неожиданные возможности: о похищении, точнее, исчезновении его уже известно черным вдовам и всем, кому надо. Сегодня рано утром Екатерина обнаружит его отсутствие в квартире — сначала по телефону, затем самолично и уже к девяти будет у Генерального прокурора. А к полудню бабы Яги съедутся и поднимут штормовую волну, которая захлестнет вялотекущую придворную жизнь. Пропал не бомж и даже не банкир или олигарх — светский Патриарх, известный деятель искусств и президент Фонда защиты прав человека. Только бы у вдов хватило ума не привлекать могущественную Жабу! Нашли бы способ обойтись без ее пробивной силы...

В узких и самых широких кругах одновременно Жабой звали известную правозащитницу, предки которой выжили благодаря тому, что оказались дальними родичами Ленина, потом безбедно жили в период советской власти. И сама Жаба в юности этим же козыряла, верховодя в комсомоле, говорят, красавица была писаная, все секретари засматривались. Они тогда были подругами с черной вдовой Еленой, работали в одном отделе ЦК ВЛКСМ. Однако строптивая родственница вождя или кому-то нужному не отдалась, или вовремя переориентировалась, а возможно, и в самом деле заболела — история темная. В общем, очутилась в психушке, говорили, умышленно, чтобы переродиться в борца с системой и наследием своего родича. Говорят, перепрограммировали психику в психбольницах, с помощью каких-то экспериментальных препаратов. Власть думала, что прячет инакомыслящих в больницы и лечит их, а на самом деле оказалось — плодит!

Жаба и впрямь вышла другим человеком, полным антагонистом, яркой антисоветчицей и без каких-либо признаков женственности.



Говорят, препарат был несовершенен, и красота шла в обмен на идейную убежденность. Патриарх сторонился таких соратников и заклинал своих бабок Ёжек не привлекать ее ни в каких случаях, ибо она одним только своим видом низводит до земноводности самые высокие, эфирные замыслы.

Конечно, если власть причастна, то ко всему этому готова, сделает вид, будто лихорадочно ведет розыск, устанавливает виновных и громче всех кричит «держи вора!» Даже если везут в самый захудалый и неприметный монастырь, о нем уже к вечеру станет известно черным вдовам и сюда хлынет поток сподвижников, друзей и прессы — такую дорогу набьют в глухомань! Процесс станет неуправляемым, как и все стихийное в этой стране, где любая перелицованная истина становится культом. Жабу даже привлекать не нужно, сама выползет на экраны, ибо чувствует, где густо насекомых, комаров да мошек.

Разумеется, его найдут в цепях, и разразится неслыханный скандал...

Между тем скрипучая древняя телега, запряженная горячим гнедым жеребцом, катила лесным виляющим проселком как-то уж очень мягко, словно рессорная коляска. Совсем не трясло, не тархтело на колдобинах, только цепи на руках бархатно позванивали и слышалось пение птиц в трепещущей листве.

В прошлом Патриарх был музыкантом и до сей поры в отвлеченном состоянии сознания начинал мыслить звуками и по ним выстраивать грядущий финал. Кажется, сейчас он испытывал состояние аллегро, и музыка окружающей природы вторила ему. Зрение окончательно привыкло к свету, хотя глаза еще слезились и изредка проносились радужные сполохи, но при этом Патриарх успевал все замечать. В том числе и некоторые странные предметы у дороги — старые, обветшалые столбики с деревянными фонарями, сквозь мутные стекла которых мерцали горящие свечи. Где-то он уже видел подобные маячки и испытывал то же чувство недоумения, как сейчас: кто ходит и зажигает свечи вдоль всей дороги?..

На одном таком фонаре оказался дорожный указатель, полугнилая доска с надписью «Замараево». Название почудилось знакомым, впрочем, и сама полузаброшенная деревня на лесной поляне что-то напоминала, словно уже бывал здесь, но очень давно. По улицам паслись коровы и лошади, отчего гнедой в телеге приветливо заржал, сделал попытку свернуть с дороги и получил кнутом от сиплого.

— Прямо! Домой!

Через пару километров встретился еще один застарелый, ржавый знак, и теперь уж точно знакомый: надпись «Гречнево» была грубовато, мальчишеской рукой, исправлена на «Грешное». Именно так называлась тогда деревня в Костромской области, где ему в стычке с местными бандитствующими сектантами прострелили ногу! Старая рана тут же и отозвалась, заныло выше колена, там, где пуля выщипнула кость и откуда до

сей поры время от времени, прорывая давно зажившую ткань, выходят мелкие, как песок, ее осколки...

«Если следующая деревня Мухма, — загадал Патриарх, ощущая жар оков, — значит, костромские выползни...» Развивать эту мысль и вспоминать он сразу даже не решился. Выползнями называли секту, опознавательным знаком у которых была змеиная шкурка, зашитая в кожу и носимая на шее как обережный знак, вместо креста. И это была единственно известная и зримая о них информация — все остальное, как и чему они молятся, во что веруют, оставалось тайной либо было известно на уровне сплетен и баек. Пойманных с подобными амулетами допрашивали, пытали и, ничего не добившись, сажали на пять лет с последующей пожизненной ссылкой в Нарым. Конечно, если не доказывали, что арестованный принадлежит к секте выползней. Таких под серьезной охраной переправляли в Москву, где их дальнейший след терялся.

В окрестных деревнях змеиная шкурка стала проклятьем, от нее шарахались, если случайно находили в лесу, а иные мстительные хитрованы подбрасывали выползки своим врагам, а потом доносили. Скоро даже сплетен и бывальщин стало не услышать, люди боялись не то что вольно болтать о выползнях, даже вспоминать, думать о них опасались, особенно к ночи — мол, тут и явятся. Поэтому на расспросы отвечали, будто слухи о них — вымысел и таких сектантов вовсе не существует...

Следующей деревни не оказалось, ибо послушники свернули с зарастающего проселка на старую, едва приметную дорогу, почти затянутую мелким ельником, и горячий, срывающийся в галоп гнедой как-то сразу присмирел. Патриарха посадили спиной к ходу движения, поэтому он все время смотрел назад и тут стал замечать, что ни телега с виляющими колесами, ни копыта лошади не оставляют следов. Мшистая земля, казалось, покрыта упругой, несминаемой гуттаперчей, в том числе неестественно выглядели и мелкие елки, мгновенно встающие после того, как по ним проехали железными ободьями. И не было уже ни столбиков с фонарями, ни каких-то особых или знакомых примет: он еще машинально пытался запомнить дорогу, хотя понимал ненужность и никчемность своих потуг. Необъяснимость, по воле кого и в чьи руки он попал, вышибала непоколебимую уверенность в формуле, которой он следовал всю жизнь: все, что ни происходит, нужно перевоплощать во благо. Извлекать его даже из самой лютой нужды, несправедливости и смертельной обиды. Единственное, из чего не получалось добывать благо — из собственных ошибок и заблуждений...

На этой дороге и явился лесничий, поджидавший повозку за деревом. Внезапно запрыгнул на задок телеги, однако эффекта особого не произвел, ибо оказался совершенно незнакомым, однако же колоритным. Несмотря на лето, в овчинном полушубке нараспашку, топор за опояской, такой же волосатый, бородатый, да еще и косоглазый — сразу не поймешь, куда глядит. А возрастом лет сорок с небольшим.



— Здорово, дед! — признал и будто бы обрадовался. — Ишь ты, ничуть не изменился. А сколько лет прошло!.. Или тебя лучше звать то-варищ Станкевич, как раньше?

— Мы шибко сомневались, — не оборачиваясь, отозвался сип-лый. — Того привезли, не того...

Не в пример послушникам, лесничий почему-то совсем не загорел на солнце, был какой-то бледный, белокожий и изрядно поеденный гнусом, которого, кажется, боялся панически. Он то и дело отмахивался от слеп-ней, шлепал комаров и постоянно чесал укушенные места. Сквозь про-реху на его пропотевшей рубаше Патриарх заметил гайтан — кожаный шнурок на шее. Только вот что на нем подвешено, не рассмотреть...

— Взматерел, но фигура узнаваемая, — продолжал он, разглядывая Патриарха. — Даже седины немного и все зубы целы! Где-то еще отмети-на должна быть. На левой ноге, повыше колена...

— Точно, он ведь стреляный! — спохватился булькающий. — Мы и не догадались посмотреть...

— Да не гляди на меня так, не признаешь, — доверительно посоветовал лесничий, отбиваясь от насекомых. — Когда ты тут озоровал, меня и на свете не было.

Прореха на груди у него растянулась, и на гайтане оказался ключ — самый обыкновенный, от старого висячего замка. Косоглазость не меша-ла ему видеть все, а возможно, гораздо больше — перехватил взгляд и усмехнулся:

— От лабаза ключ... Помнишь, амбары такие, на столбах? Ты еще там мою бабку заживо спалил... Посидишь пока в лабазе.

— Это чтобы до суда дожил, — отозвался сиплый. — А то народ у нас лихой, никакого порядка не признает. Учинят самосуд...

— Бабку-то мою помнишь? Василисой звали, Анкудина Ворожея дочка?..

Взгляд его наконец-то выровнялся, зеницы заняли одно положение, и от его прямого взора вновь потекли слезы...

2.

Первой его хватилась вдовствующая императрица Екатерина — так частенько называли помощницу Патриарха, вдову почившего несколько лет назад физика-ядерщика. Сам академик никаких прозвищ не имел, императором его не называли; он вообще был человеком очень скромным, даже застенчивым, как все гении. Однако жена его в пору моды на поиски высокородных корней заказала себе исследование родословной, и оказа-лось, что по линии матери она связана с французскими императорами, по линии отца — с испанскими королями. Все это просочилось в прессу, и только бы гордиться прошлым, но красные и желтые газеты опублико-вали другое древо, корни которого уходили в местечко Коши близ Льво-ва. Мол, все предки были очень хорошими портными, вроде даже кто-то



придворными беложивыми, откуда и родилась версия о принадлежности к высокородным корням. Однако прозвище уже пристало намертво, да и видом Екатерина ему соответствовала. В юности она тоже начинала с портняжьего ремесла и освоила весьма хлебное дело — перелицовывать пальто. Сукно обычно было двухсторонним: поносил на одной, затаскал, затер, но распорол швы, перевернул наизнанку — и опять как с иголки. Если же новое купить не на что, то можно повторить процесс, поскольку ставшее изнаночным сукно тем временем отдохало, само приводилось в порядок и опять выглядело прилично.

Выйдя замуж за ученого из секретной лаборатории, она оставила свое занятие, но, когда он оказался не у дел, да еще в ссылке за вольнодумство, снова стала брать заказы. И это далеко не императорское занятие помогло не то что выжить, а утвердиться в новой ипостаси. Принцип перелицовывания одежды годился на все случаи жизни: преобразовать таким образом можно было что угодно, от жилья — посредством перестановки мебели — до политической системы в государстве.

Потом скоропостижно скончался муж, и к негласному светскому прозвищу добавилось слово «вдовствующая».

С давних, еще ссыльных пор она завела змеящую привычку будить Патриарха рано утром, чтоб закрыл за ней дверь. Сама вставала чуть свет — ходила на рынок за теплым, парным молоком к завтраку своего мужа-академика, которому требовалось биологическое тепло животного. Станкевич тогда жил у них на правах квартиранта и позволял помыкать собой как ей, Екатерине, вздумается. И еще тогда он тихо невзлюбил будущую черную вдову, но терпел, добывая из этого благо: его существование в доме физика обеспечивало не только близкую дружбу с ним, но видимую безопасность и даже неприкосновенность. Надзирательные органы неожиданно благодушно позволили ссыльному Станкевичу жить у таких же ссыльнопоселенцев, дабы легче было отслеживать сразу всех. Они прекрасно знали о неусыпном наблюдении и прослушке, соблюдали жесткие правила конспирации, иногда допуская умышленные утечки, дабы запустить дезинформацию. Мастером в этом деле считалась жена здравствующего академика; сам он, как и все ученые, был немного не от мира сего, забывчив и в быту рассеян, да и напуган ссылкой, внезапным поворотом судьбы, лишением всех наград, званий и все еще не мог отойти от стресса. Жизнь в их доме, вольные разговоры, обсуждения политических вопросов и встречи проводились исключительно под ее покровительством и руководством.

Ссылка и давление надзирательных органов давно закончились, академик не излечился биологическим теплом и умер, но привычки у черной вдовы сохранились прежние: каждый день в половине шестого она звонила Патриарху. Только теперь обращалась уже не как с бесправным, пригретым квартирантом, а как с хозяином, авторитарным шефом — желала доброго утра и напоминала о планах на день. И при этом умоляла, чтоб ни



в коем случае не отключал телефон, ссылаясь на безопасность при любом, даже самом благоприятном, режиме.

Она и позвонила в половине шестого, а в половине седьмого уже открывала своим ключом дверь его квартиры в элитном доме, причем в присутствии охраны подъезда, начальника милиции и вице-премьера, живущего на одной площадке.

Вторая черная вдова, Елена, носила «домашнее», сказочное прозвище Прекрасная и была ровесницей Патриарха. Однако вдовой на самом деле не являлась, поскольку никогда не выходила замуж и прозывалась так за компанию с первой. Впрочем, о ее жизни было известно все и ничего, знали, что еще при сталинском режиме она отбывала срок за хулиганство на Красной площади — разделась догола в праздник 8 Марта, будто в знак протеста против ущемления женского достоинства в СССР. По крайней мере, так заявляла советская пропаганда, что было на самом деле, знал только адвокат Генрих. Выйдя на волю, Елена Прекрасная стала бороться со сталинизмом и считалась самым старым, заслуженным и опытным борцом с вождем народов. Потом несколько лет содержалась в психиатричке, откуда вышла по ходатайству врачей-психиатров, организованному ссыльным академиком и тогда еще неизвестным адвокатом Генрихом. Вышла и стала ведущим специалистом в области борьбы с узурпаторами власти. Последние пару лет она пыталась учредить соответствующую государственную награду, высшая степень которой была бы равнозначной ордену Мужества.

Несмотря на возраст, Елена выглядела моложе, отличалась бойкостью, старым еще комсомольским задором, хотя страдала бессонницей, однако на квартиру к шефу приехала с небольшим опозданием. Зато уже с информацией, совершенно для всех неожиданной: вчера около полуночи ей позвонил невесть откуда взявшийся внук Патриарха, некий Левченко, и попросил помощи — отыскать деда. Мол, в Москве он проездом, встретиться хотели по важным делам, но по телефонам дед не отвечает. И будто еще раньше предупредил, дескать, в таком случае обращайся к помощникам, они всегда знают, где он, и свяжут.

— Примерно этого я и ждала, — в ответ на сообщение Елены сказала вдовствующая императрица.

— Что ты ждала? Внука? — попыталась уточнить та, но Екатерина ушла от темы: в первые часы после столь значимого происшествия у них все было рваное, в том числе мысли, чувства и разговоры.

Обе черные вдовы знали о Патриархе почти все, но про внука слышали впервые. Елена Прекрасная самозванцу не поверила, заподозрила подвох и стала наводить справки, кто такой и кем доводится Станкевичу. Ей бы сразу позвонить старцу — и пропажа обнаружилась бы еще ночью, но, невзирая на свои убеждения и ненависть к мужчинам, она очень трепетно относилась к Патриарху и беспокоить в поздний час не посмела. Отложила звонок на утро, а сама тем часом привлекла друзей с Лубянки и устроила срочную и глубокую проверку внука. Личность Левченко уста-



новили, есть такой человек, уроженец Ярославской области, но живет в Гомеле, гражданин Белоруссии и родственных отношений со Станкевичем не имеет ни по линии отца, ни по линии матери. Друзья с Лубянки вздумали познакомиться с ним воочию, черная вдова назначила встречу на сегодняшнее утро, рядом со своим домом на Гоголевском, однако самозванец не явился и на звонки больше не отвечал. Засада до сих пор остается на бульваре, возле памятника Гоголю, но уже понятно — внук не придет.

По пути в прокуратуру Елена Прекрасная вернулась к неоконченному разговору.

— Так что ты ждала? — спросила она с чисто женским любопытством. — Что-то уже слышала о внуке?

— О внуке не слышала, — призналась Екатерина. — Но в последнее время заставляла Патриарха сияющим.

— То есть как — сияющим? Он даже улыбаться не умеет.

— Это в нашем присутствии не умеет. А когдаходишь без стука, у него рот до ушей.

Елену покоробили вульгарные слова соратницы, однако надо было знать вдовствующую императрицу: в порыве страсти она могла перейти и на жаргон.

— Я никогда не входила к нему без стука...

Екатерина ее не слушала, погрузившись в воспоминания.

— А дней десять назад он случайно проговорил странную фразу: «Теперь я живу с чувством исполненного долга». Какой долг он мог исполнить? И чтобы мы не знали? Перед кем?

— У меня мороз по коже. — Елена съежилась. — Мистика... Ты не знаешь, кто такой Переплетчик?

— Переплетчик? Это что, фамилия или профессия?

— Больше похоже на прозвище... Никогда про него не слышала?

— От Патриарха не слышала, — призналась Екатерина. — А ты?

— И еще скажи, а у него есть брат? Или был?

— Он единственный ребенок в семье, — твердо заявила вдовствующая. — Я биографию знаю... Ну говори, говори!

Елена Прекрасная заговорила виновато:

— Однажды я подслушала разговор Патриарха. Случайно!..

— Продолжай! С кем?

— С самим собой... Нет, не хочу ничего сказать о его здоровье!

Может, это были мысли вслух... Или он медитировал...

— Он никогда не медитировал!

— В общем, вел диалог с неким Переплетчиком, — сдавленно сообщила Елена. — И называл его братом.

Екатерине хотелось услышать суть:

— О чем говорили? Конкретно?

— О какой-то посуде... Я не совсем поняла. Патриарх спрашивал, почему брат не сказал ему о чаше.



— Ну, у него есть неоконченная симфония! — вспомнила вдовствующая императрица. — Называется «Звон храмовых чаш». Слышала? В его исполнении?

— Это я слышала. Только речь шла не о музыке. Патриарх вроде бы предъявлял претензии. Почему он ничего не знает о некоей чаше. За которой придут.

— Кто придет?

— Не знаю.

Екатерину осенило:

— Слушай!.. А что, если он дописал симфонию? Тайно от нас? И потому ходил сияющий? Хотел сделать сюрприз!

— Я об этом не подумала, — призналась Елена, стяхивая озноб. — И верно, Патриарх музыкант по природе. А у них бывают... разговоры с самим собой.

В десятом часу обе вдовы были в кабинете Генерального прокурора, который уже знал об исчезновении светского Патриарха и принимал экстренные меры к установлению всех обстоятельств, взяв дело под личный контроль. Он и продемонстрировал помощницам небольшой видеоролик охранной системы, где отчетливо видно, как Станкевич сам, добровольно, садится в машину, судя по номерам, принадлежащую Комиссии по помилованиям. Обстоятельства проверили: автомобиль из гаража ночью не выезжал, у водителя алиби, здесь все чисто. Злоумышленники отлично знали, с кем имеют дело, четко спланировали похищение и оставили два ложных следа: второй, считала прокуратура, внезапно объявившийся и исчезнувший внук.

Бабки Ёжки вышли от Генерального в необычном для них глубоком шоке, поскольку обе были уверены, что похищение организовал и провел именно самозванный внук! Но законники его явно покрывают, списывая на ложный след, а это может означать единственное: инициатор преступления — власть. А кто с ней сейчас может схватиться на равных, так это один адвокат Генрих. Таково было мнение Елены Прекрасной, которая порывалась немедленно звонить ему и привлечь к раскрытию преступления.

Вдовствующая императрица интуитивно опасалась Генриха, зная его неумолимую, танковую силу напора, неумную страсть все грести под себя и одновременно болезненную склонность к мистификациям. Он мог выполнить любую задачу, достать кого угодно даже с того света, например вынуждая прокуратуру делать эксгумацию трупов и доказывая убийство или, напротив, естественную смерть — в зависимости от того, кто и сколько заплатит. Однако при этом был известен в кругах благотворителей, кому-то помогал бескорыстно, с кого-то драл три шкуры, по слухам, состоял в некоей ложе, к масонству отношения не имеющей, дружил с эзотериками и оккультистами. В нем совершенно невероятным образом сочетались два крайних направления — мистиков и оптимистов. Его невозможно было нанять как адвоката никому и никогда; кого следует

защищать, он выбирал сам, неизвестно какими целями руководствуясь. Случалось, брал самые бесперспективные дела и каким-то чудесным образом выигрывал жесткие сражения со стороны обвинения.

Обе черные вдовы женским чутьем чувствовали стремительное приближение конца их времени. Нет, сам Патриарх еще много значил и мог, но, чтобы его свергнуть, уже давно подтачивали опоры, давили его верных помощниц, не выпуская уже в прямой эфир. И напротив, часто выставляли бывшую попутчицу по прозвищу Жаба, которая упрямо норовила быть причастной к команде, везде об этом заявляла и тянула одеяло на себя. Власть стремилась выйти на знак равенства — величины светского Патриарха и этой полублаженной внучатой племянницы Ильича, откровенно презираемой народом. И делала это, как всегда, аляповато, неосмотрительно, без намека на убедительное изящество. Патриарху докладывали об этом не раз, но тот проявлял степенство и благородство, считая, что все неестественное отомрет по законам природы, эволюционным путем. А Жаба просто несчастная женщина.

И дождался...

В двенадцатом часу черные вдовы собрали первую пресс-конференцию у себя в офисе, однако журналистские заявки сыпались лавиной, а к обеду проснулись представители иностранных СМИ. Громких, обвиняющих власть заявлений пока не делали, обсуждали между собой, ибо сами еще не вышли из шокового состояния. Елена Прекрасная была убеждена: случилось событие знаковое, поворотное, историческое, и страна притихла в ожидании, что же будет.

— Знаешь, у меня такое же чувство, как в день смерти Сталина, — призналась она. — Народ замер, не стало личности, которая олицетворяла власть.

— Ну ты скажешь! — стряхнув с себя ее навязчивый испуг, отозвалась Екатерина. — Нашла с чем сравнивать!

— Наступает новая эпоха, я это чувствую!

— И перестань хоронить Патриарха! Он нас переживет.

— Почему молчит страна?

— Она всегда молчит, эта страна! — начинала злиться и негодовать вдовствующая императрица, чувствуя прилив женского, старушечьего бессилия и противясь ему. — Мы не должны молчать!

— Как-то странно ведут себя журналисты...

На Екатерину напала грубая, надменная язвительность — первая защитная реакция.

— Они всегда ведут себя странно, когда паленым пахнет. Они боятся, что рот им заткнут! У нас пресса свободная, когда надо кого-нибудь прессовать с позволения власти.

Как и следовало ожидать, прокуратура в течение дня аккуратно отмахивалась от назойливых черных вдов, умоляла не вмешиваться в подробности дела и не комментировать события хотя бы одни сутки. Все, что



вдовы сумели придумать, — организовать пикет из своих сторонников возле Генеральной, куда в обед собралось человек двести с наскоро написанными плакатами и воззваниями. А еще заехать к знакомому экстрасенсу, которая более напоминала тучную, располневшую ведьму, но киношную, обвешанную амулетами, украшениями и с тяжелым из-за обилия черной краски взглядом. Она мельком глянула на снимок Патриарха и сразу прихлопнула ладонью.

— Он мертв! Его нет среди живых на нашем свете.

— Его что, убили?!

— Задушили женским чулком.

— Зачем?! Почему? За что?!

— Это пока не известно. — Ведьма наложила на фото тяжелую каменную плиту. — Пусть проявится. Завтра скажу.

Однако на втором собрании журналистов вдохновенную вдовствующую императрицу внезапно прорвало, и она выдала то, о чем пока что говорили между собой, в кулуарах. Екатерина открытым текстом заявила, что власть причастна к исчезновению светского Патриарха. Сказано это было со старушечьим надрывом и не совсем здоровым видом отчаявшегося пенсионера. Главный козырь был выброшен почти впустую: не здесь, не сейчас и не так должны были прозвучать роковые слова! Благодаря покойному мужу-физику, ее личный авторитет еще сохранялся, имя было на слуху, однако даже оголтелые журналюги заметно оторопели и примолкли. По крайней мере, в вечерних новостях этого не показали, зато выпустили Жабу, которая почти дословно повторила слова вдовы, присвоила их и тем самым как бы размыла актуальность и серьезность заявления. Ведущий подтвердил это, мягко и сострадательно сославшись на женскую эмоциональность близких друзей пропавшего старца. А на самом деле прозвучало, мол, не обращайтесь внимания, граждане телезрители, это бабская истерика, отчаяние озабоченных и скорбящих.

Первый день без Патриарха получился как первый блин, и этот ком, словно застряв в каждом горле, не позволил никому сказать что-либо стоящее и вразумительное. Правда, Екатерине позвонил адвокат Генрих, сообщил, что отслеживает ситуацию и в определенный момент может подключиться к процессу. Это значило, что он держит руку на пульсе, дело это ему интересно и он непременно захочет поучаствовать, независимо от желания помощниц Патриарха. И неизвестно, из каких соображений, меркантильных, благотворительных, мистических либо каких-то иных, поэтому надо было успеть сделать все самим и не допускать стороннего вмешательства.

Вечер принес новость потрясающую, и опять через Елену Прекрасную: вновь объявился внук! Позвонил и виновато сообщил, что забыл дома зарядное устройство, а батарея села, автоматы же в Москве попросту не работают. И он, шокированный известием об исчезновении деда, целый день метался по городу, пытаясь встретиться с помощниками, од-

нако его никуда не пускали, тем паче к черным вдовам, милиция и охрана нервные, а возле прокуратуры вообще чуть не поколотили дровками плакатов, приняв за провокатора.

На сей раз вдовы не стали обращаться даже к надежным друзьям с Лубянки, уже окончательно убедившись, что власть сливает Патриарха. Они договорились с самозванцем о нелегальной встрече в уединенном месте Кусковского парка, где мастер конспирации Екатерина проводила самые ответственные переговоры. В парк поехали из разных районов города на тщательно подобранных частных извозчиках. После заявления вдовствующей императрицы они не поссорились, когда-то еще давно договорившись принимать друг друга такими, какие есть, уважать сиюминутные порывы, которые, возможно, несут проявление истинных чувств и мыслей.

Самозванец оказался не таким растерянным простаком, как почудилось в телефонном разговоре. Он смотрел телевизор, черных вдов знал в лицо и, прежде чем подойти, сделал несколько кругов, отслеживая, нет ли наблюдения. Однако опытным глазом вдовствующей императрицы был вычислен, и когда подошел, внука успели рассмотреть и оценить. На вид ему было немного за сорок, не мачо, но с модной недельной небритостью, породистый, благородный профиль, цепкий, сильный взгляд, спортивная фигура и одет соответственно. При этом обе черные вдовы, прошедшие скрытое оперативное наблюдение, лагеря, психушки и ссылки, одинаково отметили два главных качества: самозванец не походил на опера, но зато в его облике и стати было так много от Патриарха! Если вспомнить старые фото — почти одно и то же лицо, особенно сверкающие эмалью, совершенно белые, безукоризненные зубы и открытая улыбка, которую видела и помнила Екатерина.

И этот вывод их сильно обескуражил, поколебал уверенность. Когда Левченко подсел на скамеечку с вежливым «здравствуйте», вдовы не успели собраться с мыслями и чувствами.

— Дед ожидал подобных событий, — сразу же заявил он. — В нашу последнюю встречу высказывал опасения относительно своего будущего. Поэтому заметно спешил...

— Послушайте, любезнейший, — наконец-то совладала с собой вдовствующая Екатерина. — Откуда вы вообще взялись? У Станислава Юзefовича никогда не было семьи!

— Официально — да, — мгновенно согласился Левченко. — Для меня родство с Патриархом стало открытием.

— Кто же ваша бабушка? — язвительно вцепилась та.

Самозванец услышал все — недоверчивый тон, холодность и неприятие, но виду не подал.

— Я сам узнал о ней совсем недавно, от деда, — не сразу признался он. — Считалось, бабушка погибла в войну. Так говорили родители. Будто ее угнали в Германию. А дед тем временем партизанил в белорусских лесах...



— Станислав Юзефович никогда не партизанил!

— Да, он сказал. Дед во время войны сидел в ГУЛАГе. Играл на виолончели в лагерном оркестре. У них был прославленный на весь ГУЛАГ квартет «Мосты». Этот лагерь строил мосты. Точнее, один его отряд. Он назывался «Московский». Там сидели одни инженеры-строители мостов...

Черные вдовы переглянулись, но более ничем не выдали своего удивления. Такие щепетильные подробности лагерной жизни, как игра в квартете, были известны лишь самым близким друзьям. Для всех остальных Патриарх забивал со льда деревянные сваи и наводил мосты, за что еще тогда получил прозвище Понтифик. Так что было от чего переглядываться. Мало того, Екатерина попыталась и это скрыть, излишне резко и как-то по-змеиному прошипев:

— Вы не ответили, кто ваша бабушка.

Левченко печально улыбнулся, но глаза оставались пронзительными и напряженными, как у самого Патриарха.

— Моя бабушка была колдунья. Точнее, даже ведьма. Не такая, как сейчас — настоящая... А так больше ничем не примечательная, сельская девушка.

Даже Елена Прекрасная тут не сдержалась от язвительности.

— В белорусских лесах? В Полесье? А звали ее не Олеся?

— Нет, не в белорусских, — серьезно поправил он. — В костромских. Я там никогда не был, только собирался съездить...

— Хорошо, — перебила Екатерина. — Ведьма так ведьма... А когда Станислав Юзефович вас нашел?

Самозванец позагигал пальцы, считая что-то, и сказал точно:

— Пять с половиной месяцев назад. В марте. Но не дед нашел — я сам разыскал деда.

— Каким образом?

— Не поверите — случайно! — искренне признался он. — Однажды на вахте ко мне подошел незнакомец. И сказал, чей я внук. У нас на вахте люди часто меняются... Деда как раз по телевизору показывали. В общем, я не поверил, но спросил у матери. Она всю жизнь молчала, а тут рассказала. И назвала имя бабушки — Василиса Ворожея.

— Почему мы об этом ничего не знаем? — выдала себя Елена Прекрасная и по-старушечьи прихлопнула рот дрябленькой, но девичьей ладонью.

— Это мне не известно. — У него на все был протенький ответ.

— Зато нам известно все, чем занимался Патриарх! — отчеканила вдовствующая императрица. — Он посвящал нас во все свои дела без исключения. В том числе и личного характера. И мы ничего не слышали ни о вас, ни о вашей бабушке-ведьме.

Левченко пожал плечами, однако сказал убежденно:

— У каждого человека есть сокровенные тайны, которыми он делится в последний час. Или уносит с собой в могилу. Дед не исключение. А у него есть что скрывать и таить...



— Если он стал искать кровных родственников, — решила поправиться Елена, — значит, он знал о вашем существовании?

— Он не искал! Это я его нашел!

— Хорошо, пусть так. Но знал, что есть внук?

— Не знал, но догадывался, — как по писаному выдал самозванец. — И не обо мне конкретно, а о своем ребенке. Сыне или дочери. Он не знал даже, кого родила моя бабушка.

— Кого?!

— Мою маму.

Черные вдовы пережили сотни допросов, поэтому допрашивать умели профессионально, зная, что напор — половина успеха.

— Она жива?

— К сожалению, нет... Умерла в прошлом году. Чуть не дожидаясь, чтоб встретиться с отцом. Но очень хотела и передала мне наказ — найти деда.

— Передала? Почему передала?

— Я не присутствовал, когда умирала, — вздохнул Левченко. — Был далеко, в командировке. На похороны опоздал...

— Зачем он вас искал?

— Да он не искал!

— Ему было неинтересно, есть ли у него дети?

— Этого я не знаю. Думаю, всякому пожилому и одинокому человеку хочется узнать, есть ли у него наследники. Имею в виду нормальных людей.

— Как вы встретились?

— Приехал в Москву, — признался самозванец. — Нашел ваш офис. Подождал деда и объявился. Я же его по телевизору видел...

— Как отнесся к этому Станислав Юзефович?

— Обрадовался! Есть на свете корешок. Остается...

— Он что, собирался умирать?

Самозванец опять пожал плечами.

— Вроде бы нет. Даже напротив, сказал, теперь буду жить еще долго. С чувством исполненного долга.

— Так и сказал?! — хором выкрикнули вдовы.

— Так... А что особенного? Старик встретил родного внука, исполнил долг...

— Когда так сказал? — вдовствующая императрица не давала опомниться. — Про чувство исполненного долга?

— В мае...

— Вы говорили — в марте!

— В марте я деда нашел. А о жизни говорил в мае, когда мы встречались. — Левченко вдруг поник и отер небритость ладонями. — Только у меня чувство... Нет, ощущение. Что-то случилось такое... И дед погиб.

— С какой стати?! — подпрыгнула Елена Прекрасная и настороженно осела, вспомнив заявление экстрасенса.



— Он же внук ведьмы, — ехидно заметила Екатерина и потеряла сдержанность, как на пресс-конференции. — Или профессиональный жулик. Станислав Юзефович вам поверил на слово? Что именно вы — внук? Похожих внешне людей сколько угодно!

— Не поверил, — признался тот. — И заставил сделать анализ ДНК. Вместе сдавали...

Черные вдовы теперь дернулись обе, однако лишь слегка вытянули фигуры.

— И что?!

Левченко молча извлек из кармана куртки бумагу и отдал вдовам. Но сказал о каких-то своих догадках:

— Я так и знал!.. Теперь начнется! Эх, дед, дед...

В заключении значилось, что ДНК совпадают на 99,8 процента, что говорит о прямом кровном родстве.

— И где такие бумажки пишут? — не сдалась Екатерина. — В какой канцелярии? Администрация президента? Лубянка? Или в какой-нибудь сверхсекретной?

— Там стоит печать, — невозмутимо пояснил внук. — Какая-то закрытая клиника, с улицы не пускают. Дед отвел, другим не доверял...

Очков они не носили, но тут обе выхватили их из сумочек и тщательно изучили бланк и печать.

— Все равно весьма подозрительно... — начала было фразу Екатерина и осеклась.

— У деда где-то дома должна быть точно такая же бумага, — пояснил Левченко. — Он так радовался... И просил прощения.

— Прощения? За что?

— Что заставил проверить ДНК...

— А смысл? — подхватила Елена Прекрасная. — В чем смысл? Зачем? Цель? Наследство?

— Наследство, — признался внук. — Точнее, и наследство тоже.

— Квартира? Он отписал вам квартиру?

Левченко тоскливо посмотрел в обе стороны аллеи.

— Не знаю, не читал завещания... Да теперь это и не важно.

— Что, есть завещание? — уцепилась Екатерина. — Станислав Юзефович написал завещание?!

— Разумеется, написал. Исполнил долг, передал наследство...

— Ложь! Я видела сегодня обоих его адвокатов и нотариуса. Никаких завещаний он не оставял!

Внук опять порылся в карманах, достал несколько визитных карточек, выбрал одну и подал вдовам.

— Вот у этого адвоката хранится. В запечатанном пакете.

Они изучили визитку молниеносно.

— Но это чужой адвокат! Совершенно неизвестный!

— Я не знаю, еще не был у него, — помялся Левченко. — Носился по городу, искал вас... Забыть зарядное устройство!..

— Так он отписал квартиру?

— О квартире речи не было. — Похоже, въедливость вдов начала раздражать внука. — Дед же не собирался умирать, переезжать куда-то... Он хотел жить. С чувством исполненного долга. Сказал, начнется новый этап вольной жизни. Наследство его тяготило, опасался, попадет не в те руки...

— А что же он завещал? — изумилась Елена Прекрасная. — У него, кроме квартиры, ничего нет! Единственное его приобретение после эмиграции. Все, что заработал книгами в Соединенных Штатах. Другой собственности нет! Так что можно завещать, если завещать нечего?

— Ну откуда мне знать? — уже возмутился внук и уперся во вдов взором гневного колдуна. — Я и видел деда два раза! Вот приехал в третий... Какие-то ценности, что ли. Вроде художественные. Я не разбираюсь...

— Где у Патриарха художественные ценности? — кого-то спросила Екатерина. — В квартире голые стены! Разве что мебель, да и то... Уж не клад ли он закопал?!

И засмеялась над собственной злой шуткой.

Левченко отвернулся.

— Он говорил, наследство в каком-то банке, вроде зарубежном. Я плохо слушал... Не каждый же день деды объявляются! Да еще такие... Может, в Штатах заработал, скопил и оставил? Помню только условие: на эти деньги построить мост. Так что мне придется уволиться с работы и строить мост.

Черные вдовы опять недоуменно переглянулись.

— Мост?! Какой мост?

— Вроде бы каменный, через реку. Я и запомнил-то, что условие необычное...

— Через какую реку? — грубовато произнесла Екатерина. — Вы что несете?

— Думаю, через Волгу. У нас через Волгу мостов маловато. Дед не сказал, через какую, я потом уточню... Уточнить хотел. Как вы считаете: его поэтому похитили? Кто-то еще узнал про завещание? Адвокаты продажные люди...

— Сами подумайте! — возмутилась вдовствующая императрица. — Ну разве можно на книгах заработать? Чтобы на мост хватило? Еще и каменный! Даже в Штатах?! Все деньги ушли на покупку квартиры. Ему государство выделяло бесплатно, в дар — отверг. Чтоб быть независимым.

— Тогда я не знаю природу ценностей, — подытожил внук. — Вскроем завещание — узнаем...

— Когда вы собираетесь это сделать?

— Хотел сегодня, — как-то вяло отозвался внук, при этом зорко озираясь. — Но уже не успеваю... Завтра с утра теперь.

— Мне здесь не нравится. — Екатерина что-то почуяла и встала. — Вон там коляска другая, а мамаша та же... Расходимся!

— И мне здесь не нравится, — поддержал ее Левченко. — Чую чьи-то взоры, глаза... За нами следят?

— Не исключено. Расходимся!

— А что со внуком? — спохватилась Елена Прекрасная. — Вы где остановились?

— В аэропорту, — признался тот. — Я же проездом...

— Поселитесь в квартире Елены, — заявила вдовствующая императрица. — Самое безопасное место. У нее совершенно чистая квартира, там можно вести любые разговоры и решать самые секретные задачи. Елена, вы не против, если у вас поживет мужчина?

— Я не против, — покорно согласилась та. — Правда, у меня в доме мужчины не приживаются...

Екатерина и слушать ее не хотела, додавливая самозванца.

— Надеюсь, вы же не уедете, пока ситуация не прояснится?.. С вашим дедом?

— Я уже понял, — обреченно произнес Левченко. — Дед разрушил все планы... Как объяснюсь с начальством? Работаю на газодобыче полуострова Ямал. Завтра моя вахта начинается... А мне еще заявление писать на увольнение. Теперь уж точно придется строить мосты.

— Утрясем, — пообещала Елена Прекрасная, тоже рассеянно озираясь. — Человек способен построить мост через Волгу, а заботится о какой-то вахте... Дурдом!

— Лирика потом, — оборвала ее мастер по камуфляжу, натягивая рыжеватый парик. — Уходим по одному. Вы, наследный принц, идете за мной, держите в пределах видимости. Такси остановлю я, доставят по адресу на Гоголевский бульвар. И пожалуйста, из квартиры без ведома хозяйки ни шагу!..

Таким образом они миновали значительную часть парка, и уже на выходе к улице Михайлова новообретенный внук Патриарха внезапно исчез из поля зрения. Потом его спина дважды мелькнула меж деревьев и пропала в зелени парка. Обе черные вдовы заметили это одновременно, ибо не теряли видимой связи с ним, поэтому тотчас вернулись к месту, где он мелькал в последний раз, но, кроме мамаш с колясками, сосущих пиво и смолящих сигареты, никого более не обнаружили...

3.

Взрослым он никогда не плакал, излив все слезы и выметнув из кадыкастой гортани подлые, скверные для парня рыдания еще в юности, когда лишился родителей и остался, по сути, на попечении двоюродной тетки. Польский Белосток был под немцами, однако их семья не ощущала тогда ни голода, ни холода, ни прочих военных невзгод, поскольку отец владел складскими помещениями на железнодорожной станции, несколь-



кими мясными лавками по городу и еще помогал родственникам, поселив в своем доме эту самую тетю Гутю, девицу на выданье. Он сам играл на духовых инструментах в любительском оркестре, мечтал вырастить из сына музыканта, поэтому Станиславу, а заодно и юной воспитаннице наняли учителя музыки, краснолицего и веснушчатого студента консерватории Вацлава. Три раза в неделю он приходил к ним в дом и занимался с каждым отдельно по два часа, причем с Гутей только на скрипке, а со Станиславом еще на альте и виолончели, ибо заметил его особую одаренность.

— Такое ощущение, будто вы сами — смычок! — восхищенно говорил он. — Вы извлекаете из себя божественное звучание!

Война учебе не помешала, тем более у отца немцы сначала забрали склады под свои нужды, а потом назначили его управляющим и платили хорошее жалованье. А вот учитель музыки страдал, лицо у него выпвело, побледнело, нос от этого словно вырос вдвое, и яркие веснушки стерлись. Втайне от родителей они с теткой подкармливали Вацлава, давали с собой съестное и копили для него деньги. К тому же делать это было нетрудно, отец с матерью целыми днями пропадали в пакагузах, а продуктов было достаточно, особенно немецкого шпика, консервов и муки. Студент быстро ожил, руки перестали дрожать, когда настраивал инструменты или канифолит смычки, и даже нос стал поменьше.

Обычно Вацлав давал задание Станиславу и сам уходил наверх, к тетке, которой никак не давалась даже простенькая скрипичная музыка, потому как учитель не мог поставить ей руку. Гутя родилась в деревне, закончила всего лишь сельскую школу для бедных, однако говорили, что она очень красивая и ее ждет удачное замужество и хорошее будущее в Белостоке. Станислав присматривался к своей тетушке, но никакой особой красоты не замечал: чопорная, горделивая и совсем не улыбочивая девица.

Обычно из ее комнаты на уроках музыки доносилась невразумительная какофония звуков, перемежаемая бубнящим голосом учителя, который потом исполнял небольшие пьески, заставляя их повторить. И еще горестные вздохи и стоны разочарования бедного и упорного студента. Ей следовало бы прекратить занятия, но отец настаивал, да и сама Августа страстно мечтала научиться играть в надежде, что выдадут замуж в богатую, образованную семью. Поэтому учитель терпеливо возился с ней часами и, даже будучи бледным, возвращался от нее красным, вспотевшим, но зато улыбался, когда слушал Станислава, и говорил:

— Вы будете еще великим музыкантом! Запомните только одно: великое достигается великими поступками.

Это льстило, вселяло уверенность. Учитель потом смеялся и по секрету общал:

— А вашей милой тетушке я до сих пор не могу поставить руку. Ей самое место в мясной лавке.

Беда на их семью обрушилась внезапно.



Сначала ее узрел один только Станислав, причем сквозь щелку приоткрытой двери. Тетка стояла почему-то согнувшись, с распущенными волосами, со скрипкой в руках и при этом была совершенно голой! Но водила смычком по струнам, стонала и улыбалась. И Вацлав тоже был голым! Он возвышался сзади, держал ее за талию и как-то торопливо, коротко дергался, зажмурившись, словно слушал чарующую музыку.

Станислав в первый миг даже не понял, что происходит, и чуть не вошел в комнату, однако неестественность их поз потрясла и оцепенила одновременно. В тринадцать лет он уже знал, что бывает между мужчинами и женщинами, но никак не мог предположить этого между чопорной, строгой на всяческие вольности тетей Августой и веснушчатым, полуголодным учителем. И когда он догадался, что происходит, испытал жгучее, навязчивое любопытство, отчего замер под дверью с открытым ртом и вмиг пересошим горлом, поскольку представил себя на месте учителя.

Он не помнил, сколько так стоял, взирая на зрелище постыдное и будоражащее, погружаясь то в жар, то в холод. Тут он впервые и рассмотрел, что Гутя и в самом деле красивая и невероятно желанная! Так и хочется потрогать руками! Потом студент тихо завыл, застонал и словно спугнул Станислава. Он воровато спустился в свою комнату, схватил альт, но играть не смог: перед глазами все еще конвульсивно двигались обнаженные тела тетки и учителя.

В этот день он вообще не смог взять смычка, тряслись руки, словно у студента от голода, и от распирающего жара краснело в глазах. Так что пришлось соврать, что вчера долго гулял, простудился под дождем и у него жар, а может, воспаление и лихорадка: в общем, смущенный и подавленный, лепетал учителю что-то мутное, невразумительное и уже испытывал ненависть.

Мысль пойти к тетке возникла у него в тот же час, как ушел учитель, но раньше обычного вернулись чем-то сильно озабоченные родители. На следующий день музыкальный урок был назначен на утро, но Станислав запер входную дверь изнутри и поднялся в мансарду Августы.

— Вчера я все видел, — сказал он, с неведомым ранее любопытством разглядывая тетушку, которая жила у них в доме уже четвертый год.

— Что ты видел, мальчик? — засмеялась и насторожилась она.

— Как вы занимались с Вацлавом! Музыкой!..

Гуте было тогда семнадцать, родители говорили о замужестве и будто бы подыскивали ей стоящего жениха из детей отцовских знакомых. Один такой даже часто приходил к ней в мясную лавку, где тетя работала три дня в неделю, но с утра и до вечера.

Она сразу же догадалась, что Станислав мог видеть, но ничуть не испугалась и даже не смутилась.

— Занимались, ну и что? — с вызовом спросила. — Подглядывать низко и подло!

— Я тоже хочу заниматься с тобой, — заявил он, раздираемый чувством стыда и желания.



— Чем?

— Музыкой, как Вацлав!

— Тебе нельзя! — отрезала она, однако уже не так решительно. — Ты еще маленький.

— Я не маленький, — чужим, грубовато-мужским голосом произнес он. — И хочу заниматься с тобой. Вацлаву можно, а мне нельзя?

— За Вацлава я, может быть, замуж пойду!

— Тебя не отдадут!

— Почему?

— Он нищий студент!

— А ты женишься на мне? — Гутя смеялась и дрожала от страха.

— Если бы ты не занималась с учителем — женился бы, — ревниво произнес он.

И стал как-то по-ребячьи оцупывать тетю, словно впервые видел. Оказывается, у нее была такая манящая грудь, которую бы он никогда не заметил, если бы не увидел вчера обнаженной. Гутя всегда носила застегнутые до горла платья, глухие жакеты и длинные юбки, поэтому и мысли не возникало, что у нее есть под одеждой. А сейчас была в деревенском льняном платье со шнуровкой на груди, под которым угадывались все прелести ее тела.

— Стасик, ты с ума сошел? — спросила Гутя с дрожью и испугом, однако же не уходя от его рук. — Ты же мой родственник!

И тут голос оборвался, как басовая струна, в горле что-то лопнуло и занял кадык. Каким-то детским, натуженным фальцетом Станислав выдавил:

— Тогда я все скажу родителям!

— Только посмей! — бессильно выкрикнула она. — Как тебе не стыдно?..

В этот момент в ней тоже что-то оторвалось. Тетя засмеялась и заплакала одновременно, потом встряхнула свои белесые сыпучие волосы и задышала в лицо.

— Стасик, а ты сможешь? У тебя там... уже что-то есть?

И полезла руками в его брюки, торопливо расстегивая тугие пуговицы. Ладони у нее были ледяные, неприятные, но вмиг стали горячими и желанными, когда наткнулись на что-то и замерли.

— Ладно, Стасик, — прошептала, щекоча волосами. — Давай попробуем... Если у тебя получится. Снимай брюки!

Она уже развязала шнурок на груди, спустила к ногам деревенское платье и легла на кровать совершенно голой. Тело у нее было округлым, мягким и трепещущим, казалось, даже на расстоянии излучает оно манящее тепло и затаенный, как ее полуулыбка, мерцающий свет. К нему хотелось прикоснуться, оглаживать его и, погружаясь лицом, как в искристую солнечную воду, пить. Он больше никогда в жизни не испытывал подобных чувств к женщинам, даже самым обольстительным и опытным.



Станислав выпутался из брюк, но в этот миг пришел учитель и стал крутить звонок у входной двери. Сначала они оба замерли от этого звука, словно застигнутые врасплох воры, но Гутя быстро справилась с замешательством и потянулась к нему руками.

— Пусть звонит... Иди ко мне, мальчик!

А он в тот же миг понял, что уже ничего не сможет. Прекрасная, пьянящая тетушка лежала перед ним, заманивая открытостью и доступностью, от которых качался пол и слезились глаза. Но жар, бывший всего мгновение назад, улетучился, оставив мокрый след на трусах. И тут еще учитель принялся стучать в дверь!

— Ну вот! — разочарованно и почему-то счастливо засмеялась Гутя. — Ты еще ничего не можешь! Ты совсем маленький!

— Хочу как учитель, — однако же мужским голосом заявил он. — Чтoб ты стояла.

— Ах ты, мальчик мой! — Она вскочила. — Надо, чтобы ты стоял!..

Много лет он потом вспоминал это мгновение и всякий раз оставался с убеждением, будто в тот миг на его месте вдруг возник кто-то другой, сильный, беспощадный, жестокий. На секунду вошел, вселился и одним тяжелым ударом сбил тетю с ног, так что она укатилась в угол кровати. И осталась там лежать, голая, незащищенная, смертельно обиженная, но не уронившая ни единой слезы.

— Так мне и надо! — мстительно произнесла Гутя. — Бей меня, мальчик! Бей, мой чистый ангел! Я этого заслужила!

А он изумился и испугался того, что натворил, что подглядывал вчера, что посмел бесстыдно ворваться к ней и требовать близости. Этот сильный и жестокий испарился так же быстро, как плотский жар, оставив мокрый след слез на лице. Они сначала навернулись, накопились в глазах и потом хлынули ручьем, Станислав упал на колени и стал просить прощения, умолять, целовать мягкие безвольные руки.

— Прощаю, прощаю тебя, — уже как ребенка утешала она. — Ну что ты? Перестань, сама виновата... Иди к себе! Я никому не скажу. И ты теперь не скажешь. Только Вацлав не впускай!

Гутя больше всего боялась, что ее отошлют назад, в захудалую деревню, где она пропадет. Тогда он еще не знал, почему дальняя бедная родственница живет в их доме.

Станислав убежал к себе, но возвращался, видел разбитое лицо, багровый назревающий синяк и опять просил прощения, целуя руки. Тетя уверяла, что простила, что все забыто и никогда не вспомнится, что они снова будут дружить, как прежде, и учиться музыке. А родителям она скажет, будто упала с лестницы: ступени в мансарду и впрямь были крутые.

Но лучше бы она не говорила про учебу, потому как перед глазами вставал голый, стонущий и нависающий над ней Вацлав, который все еще бродил возле дома и стучал время от времени. Ненависть к учителю вспыхнула так ярко, что этот сильный и жестокий вновь вселился в него и потряс кулаками.

— Я убью его!

Студент словно услышал угрозу, перестал стучать и исчез.

— И еще убей своего папу! — зачем-то мстительно и горько вымолвила она.

Станислав убежал к себе, поскольку вот-вот должны были вернуться со станции родители, и, бегая по комнате, переживал все заново. Он плакал и все время насухо вытирал лицо, чтобы не заметили слез. И так натер, что оно загорело и сделалось красным, как у Вацлава. Потом лег, съезжился, показавшись себе маленьким, несчастным, и внезапно заснул. И проснулся поздно вечером оттого, что Гутя сидела рядом и гладила его по волосам.

— Родители не пришли, — сообщила она, отдернув руку. — Мне страшно...

Дома было холодно, потому что куда-то пропал и слуга — не принес угля из сарая и не затопил печи. Лицо у тети распухло, глаза заплаыли и близость ее тела почему-то больше не вызывала обжигающей плотской страсти. Возможно, потому что было студеным, напряженным и на ощупь словно окостеневшим. Чувство вины все еще колючим комом топорилося во всем его существе, но Станислав молчал и только гладил ее поникие полуголые плечи. Они сначала сидели на кровати, прижавшись друг к другу от холода, потом, несмотря на опасность появления родителей, забрались под одеяло. Как-то незаметно оба согрелись, и в нем опять проснулась ревность, затмившая предощущение грядущей беды.

— Зачем ты занимаешься с учителем? — спросил он ломким голосом. — Он же мерзкий, красный и веснушчатый!

— Назло твоему папе! — мстительно призналась она.

И вдруг рассказала, почему отец приютил бедную родственницу в своем доме и всячески ее опекает. Оказывается, три раза в неделю, когда Гутя работает в мясной лавке, он приходит туда, запирает дверь и делает то же самое, что учитель музыки, но уже без всякой какофонии. И это продолжается четвертый год — все время, пока она живет в Белостоке.

В этот миг он возненавидел отца и мысленно поклялся каким-то образом отомстить ему. Он хотел этого так страстно, что молитва была услышана. До утра они с тетей так и не уснули, испытывая ненависть ко всему окружающему и друг к другу, а в седьмом часу в дверь застучали и по-немецки потребовали отворить. Сначала дом обыскали, перевернули все вверх дном, но ничего особенного не нашли, кроме продуктов с интендантских складов. Станислав с тетей уже принялись наводить порядок, однако немцы снова пришли и выгнали их на улицу, повесив на дверь свой замок. Они и сказали, что родители сидят в тюрьме, а дом преступников и все имущество, в том числе и мясные лавки, подлежат реквизиции в пользу армии.

Первую сиротскую ночь пришлось пережить в угольном сарайчике, закутавшись в тряпье, но пришел интендант и велел убираться прочь.



Их приютили соседи, предупредив, что на время, и сказали, чтобы искали себе жилье и работу, поскольку держать в доме родственников арестованных очень опасно. Оказывается, отец и мать Станислава были связаны с какими-то польскими бунтарями, выступающими против германской власти, и, пользуясь ее доверием, воровали со складов оружие и боеприпасы. Студента Вацлава сначала тоже арестовали, но потом выпустили, и он надолго куда-то исчез.

У соседей они прожили около двух недель, но однажды приехали немцы и увезли с собой Августу. После этого Станислав опять очутился на улице, ночуя где придется, чаще всего прокрадываясь во дворик своего пустующего и никем не охраняемого дома. Это и побудило его забраться внутрь через мансарду, чтоб взять теплую одежду и припрятанную на чердаке копилку, где было немного денег, которые они с тетей собирали для бедного учителя. Но, оказавшись в родных стенах, он в первую очередь взял виолончель и собирался не играть на ней, а продать, потому как знал, что она самая ценная из всех инструментов — остальное все было дешевое, ученическое. Одевшись потеплее, Станислав выбрался на улицу, в ту же ночь предусмотрительно ушел в другой район города, чтобы случайно не узнали. И утром решил сбить дорогой инструмент. Он прекрасно знал, будучи сыном торговца, что товар следует показывать лицом, поэтому достал из футляра виолончель и стал играть. А прохожие, в том числе немцы и венгры, останавливались и бросали деньги: должно быть, от отчаяния он играл хорошо и проникновенно. Еще тогда ему пришла совершенно взрослая, зрелая мысль, что настоящий музыкант должен быть непременно гонимым, нищим и голодным.

И в тот же день он решил не расставаться со счастливым инструментом, поскольку денег хватило, чтобы поесть и переночевать в частной ночлежке. А цены даже на виолончели были такими низкими, что отдавать было жалко. И так Станислав играл больше месяца, быстро привыкая к новому состоянию уличного музыканта, и только спал плохо, поскольку каждую ночь ему снилась тетя, обнаженная и зовущая. И каждую ночь он смог бы сделать с ней все еще лучше, чем студент, и это пробуждало, заставляя плакать. Он тихо ревел в ватную ночлежную подушку, сам не зная, отчего так щемит душу и текут слезы.

Станислав бы окончательно привык и хватило бы денег снять жилье, но в день его рождения, как подарок, появилась Августа. Она бросилась к двоюродному племяннику как к брату, обцеловала, обласкала и тут же повела к себе. От нее пахло смесью женского пота, одеколona и почему-то детской тальковой присыпкой. Оказывается, немцы подержали ее совсем немного, отпустили, и она нашла себе работу, очень хорошую, и все это время ходила по городу, искала двоюродного племянника. Теперь они беззаботно заживут вместе, под одной крышей, без учителя музыки и ненавистного благодетеля, родителя Станислава. И сегодня они отметят его день рождения, а потом он, Станислав, будет учить ее музыке...



Это она нашептывала ему на ухо, пока шли переулками к дому, где тетя обустроилась на жительство. Комната оказалась просторной, чистой, неплохо обставленной, даже с водопроводом и ванной отгородкой. Две недели в дешевых ночлежках он не менял белья (не догадался прихватить из дому), зарос грязью, чесался и вонял. Гутя нагрела воды на примусе, сама раздела племянника и стала мыть, как-то по-матерински обходясь с его телом. А сны у Станислава были свежи, и он почуял прежнюю тягу к тете, стал ощупывать ее, будучи мокрым, взъерошенным и страстным, словно петушок под дождем. Она же как-то лениво и бесстрастно лишь отводила его руки и сладко уещевала:

— Ну погоди. Дам, не бойся, мальчик. Ты получишь свой подарок на день рождения! Я же вижу, ты теперь сможешь, тебе исполнилось четырнадцать лет!..

От предчувствий у него заболела голова и поясница, но тут случилось непредвиденное: едва она закончила мытье и стала обтирать его полотенцем, как в дверь постучали. Гутя отлучилась на миг и, вернувшись, сообщила, что ее срочно вызывают на работу.

— Вернусь, и получишь свой подарочек, — горячо прошептала она, схватила сумочку и унеслась.

В последний миг он заметил, что тетя сменила чопорный стиль, носит короткую юбку и туфли на высоком каблуке. Станислав уже довольно пожил бездомным, уличным, знал, как одеваются проститутки, и это заронило сомнение в благополучности жизни тети. Он отгонял мрачные, пугающие мысли, осматривался, бродя по жилью тети, и все сильнее убеждался в том, что старательно отвергал. Он не знал назначения многих женских предметов, например нижнего шелкового и фривольного белья, всевозможных бархатных подушечек, валиков на широченной кровати, затянутой белым газовым полотнищем. Ничего подобного он не видел в своем доме, но догадывался, что все это служит для удобства совершать то, что Гутя совершала в паре с его отцом, учителем музыки и обещала ему.

К полуночи он был почти убежден: тетя продает свое прекрасное тело, свою красоту и ласки! Продает, как еще недавно мясо в лавке, и почти этого не скрывает, иначе бы никогда не надела короткой, до колен, юбки и шелковых черных чулок на подвязках. И не говорила бы так вольно, беззастенчиво о своем подарке...

Наутро все подтвердилось: Гутя пришла с работы слегка пьяненькая, опустошенная и с совершенно отсутствующим взором. Станислав сделал вид, будто спит, а сам незаметно наблюдал за тетей. Сонно тыкаясь и роняя предметы, она согрела воды, стащила с себя одежды и, забравшись в ванную, принялась отмываться, словно после месячного житья в ночлежках.

— Ты же не спишь, мальчик мой, — позвала между прочим. — Сейчас освежусь и приду... Только дай мне поспать часа два, ладно? Работы было очень много...



Легла и мгновенно уснула как-то по детски, засунув пальчик в рот. Станислав тихо встал, взял футляр с виолончелью и ушел, поклявшись себе никогда не возвращаться.

Он выбрал новое место, возле ратуши, куда проституток не допускали, и стал играть там, рискуя быть узанным. Но, странное дело, люди не признавали его, даже хорошие знакомые отца, часто бывавшие в их доме. Они слушали, бросали мелочь и уходили — возможно, не признавая в уличном музыканте сына известного в городе богатого лавочника и оркестранта. А возможно, и не хотели признавать, дабы никто не заподозрил в связях с польскими бунтарями при германской власти.

И если так думали, то были недалёковидными и глупыми. Оружие с немецких складов, украденное расстрелянными родителями, свою роль сыграло: в Варшаве оккупантов разоружили, к власти пришел Юзеф Пилсудский и германская власть была низвергнута. Польша праздновала освобождение, изумленные переворотом люди гуляли по площадям, платили щедрее, и проституток пустили к ратуше.

Здесь и нашла его Августа. Теперь она опять была в глухом жакете, в черной шляпке, клялась и божилась, что никогда не станет заниматься прежним ремеслом, что это немцы вынудили ее, угрожая расправой. И позвала Станислава к себе. Она и в самом деле жила уже в другом месте, устроилась приходящей домработницей в богатую семью, и жизнь на несколько месяцев вроде бы наладилась. О прошлом ничто не напоминало, пока внезапно не появился веснушчатый учитель музыки. Но теперь уже не с уроками, а как чиновник новой власти: оказывается, он принадлежал все-таки к бунтарям и заслужил должность у Пилсудского. Он стремился совершать великие поступки, верно, мечтая потом тоже стать великим музыкантом — ходил теперь в круглых очках, с папкой, был сытым и огнелицим. Станкевич несколько раз видел его издали, узнавал, однако из застарелого неприятия ни разу не окликнул, напротив, стремился уйти в сторону и не попадаться на глаза.

Однако Вацлав сам услышал игру Станислава неподалеку от дворца Браницких и узнал его — не в лицо, а по манере исполнения.

— Великий музыкант! Это говорю вам я!

И этим словно подкупил. Не следовало бы поддаваться на похвалу, но сработала зависимость ученика от учителя. Станислав сдуру рассказал ему о тетушке, не выдавая ее мрачного прошлого, о погибших от немцев родителях и только тут узнал, что они не могут считаться героями Польши, потому что крали оружие с немецких складов и продавали его бунтарям, причем за золото. Таким образом отец скопил целое состояние в драгоценностях и где-то его спрятал. Немцы не могли добиться где и казнили сначала мать на глазах отца, затем и его. Поэтому если он, Станислав, что-то об этом знает, то лучше признаться и выдать ценности новой власти.

Вместо злобы и ненависти к рыжему студенту Станислав почувствовал себя виноватым, стал оправдываться, что о золоте ничего от родителей не слышал. Вацлав будто бы поверил и ушел.

Встреча эта уже начала забываться, но однажды Станислав вернулся домой и сквозь дверь, как в былые времена, услышал знакомую какофонию, исполняемую тетушкой. Он ушам своим не поверил, приоткрыл дверь и вновь онемел, оцепенел, как в первый раз. Гутя пикикала на скрипке, а учитель музыки пыхтел, преподавая урок и закатив блаженные глаза под стеклами круглых очков. Станислав давно пережил мальчиковый возраст, врывать и творить расправу не стал, а притворил дверь, оставив футляр с инструментом, и ушел.

В этот же вечер он купил револьвер, опробовал его на пустыре и стал охотиться на краснорожего студента. Высмотреть его на улицах не составляло труда: власть в Белостоке располагалась во дворце Браницких, кроме того, студент ходил теперь в полувоенной форме и заметно выделялся в толпе. Станислав выследил, где он ночует: вчерашний голодный оборванец жил теперь в солидном доходном доме. Было желание ворваться к нему, но он предусмотрительно прослонялся по окрестным дворам до темного, промозглого зимнего утра и, когда Вацлав вышел, под свист дождя со снегом вогнал ему в спину три пули.

И, поражаясь своему хладнокровию, не убежал сразу, а сдернул очки с убитого и с удовольствием растоптал их на обледеневшей мостовой. Тот, сильный и жестокий, вселился в него не во время стрельбы, а потом, когда Станислав топтал очки. Вселился и уже никогда не покидал его существа.

Домой он пришел как ни в чем не бывало, хотя по пути, удовлетворенный совершенной мстостью, несколько прозрел и начал понимать, что ему будет за убийство чиновника. И чтобы снять с себя подозрения, рассчитывал взять инструмент и выйти ко дворцу играть, хотя зимой играл редко и только в теплую сухую погоду — берег виолончель. Проницательная тетушка что-то заметила, но себя никак не выдала и только сказала, что он стал совсем взрослый. И вот теперь она готова отдаться ему не из жалости, как раньше, и не в качестве подарка, а как сильному мужчине. Веснушчатый учитель, верно, пробудил в ней прежнюю страсть и воспоминания, однако о его новом уроке помалкивала.

— Я отомстил за тебя, — признался Станислав. — Я его застрелил.

Гутя, словно уже знала об этом, сказала сдержанно:

— Благодарю, пан... Что ты сейчас хочешь?

— Мне ничего не нужно.

— Даже благодарности и поощрения? — Она еще пыталась как-то соблазнить его, трогала, улыбалась и дышала в лицо. — Ты первый мужчина, не требующий награды.

Он тогда задал вопрос, который его мучил все последние годы:

— Скажи, зачем ты пикикала на скрипке, когда учитель с тобой занимался?

Раньше он думал, тетушка делает вид, будто учится играть. Чтоб не было подозрений.

— А он по-другому не мог, — почти весело рассмеялась она. — Пока играю я, играет он... Ты как хочешь? Может быть, тебя тоже нужно стилизовать? Скажи, для тебя все сделаю.

— Мне нужно скрыться, — заявил он. — На время. Береги виолончель.

И ушел, не сказав куда.

Три месяца, до самого лета, он прятался у знакомого старика еврея, который раньше каждый день приходил к ратуше слушать музыку. Этот старик знал все новости в городе и приносил их постояльцу. Он и сказал, что полиция ищет его, каким-то образом вычислив причастность уличного музыканта к убийству чиновника. Потом старик с горечью сообщил, что Августа продала виолончель какому-то любителю инструментов из Варшавы, но он знает кому и есть возможность впоследствии ее выкупить.

Он так любил свой инструмент, что готов был немедля лететь к тетушке и устроить спрос, но жизнь опередила и наказала: у Гути оказался сифилис, и, не зная о том, она заразила богатого хозяина, в доме которого трудилась и считалась не домработницей, а содержанкой. По его доносу тетю арестовали и хотели судить, но скоро отпустили. Тогда вообще открыли все тюрьмы и каталажки, поскольку на Белосток уже наступала Красная армия и власть Пилсудского бежала из города.

Станислав тоже вышел из своего укрытия, как волк с вынужденной лежки — пустой, оборванный и с голодным блеском в яростных глазах...

4.

Лабаз оказался, действительно, сооружением знакомым и хитроумным, только вот о существовании таковых он забыл напрочь. На трех высоких столбах стоял невеликий, сажень на сажень, плотно рубленный амбарчик венцов в шесть, с крышей из толстенных плах и такой же дверью. По всем приметам, здесь был когда-то широченный двор богатой крестьянской усадьбы, теперь заросшей молодым лесом, кустарником и высокой травой. И сохранилось в целости всего два сооружения — тесовые ворота под крышей и этот лабаз, которым, вероятно, еще пользовались. Строили их чаще в лесных районах, где опасались не только проворного дикого зверя, мелких грызунов и моли, но скорее вороватых пришлых людей, дабы спрятать на видном месте самое ценное — добро, меховую зимнюю одежду, пушнину и провиант. Забраться без лестницы мудрено, тем паче проникнуть тайно: всякое движение видать за версту, а народ здесь и впрямь жил лихой, редко кто не возил с собой заряженную фроловку, а чаще трехлинейку или обрез. И вообще оружия у местного населения было несчетное количество из самых разных эпох. Только в бытность Станкевича его выгребали из разбойничьих закромов дважды, изымали все, вплоть до старинных фузей и мушкетов, а стволов ничуть не убывало. При этом на территории не было ни войн, ни бунтов, если не считать нашествия поляков и знаменитой истории с Сусаниным.

Так что подумаешь, откуда прилетит, прежде чем штурмовать эту крепостицу на трех высоченных столбах.

Но более, чем пули, и сами местные, и пришлые опасались заклятий и оберегов, поставленных на каждый лабаз. На иных даже лестницы были, приставные или в виде поперечных перекладин по одному из столбов, словно приглашающие к ограблению — забирайся, ищи поживу! И добро, если поднявшись до середины, ощущаешь, как охватывает безотчетный страх или начинает казаться, будто лабаз рушится на тебя. Чаще ни с того ни с сего смельчак срывался с последних ступеней, падал с высоты пяти — восьми метров и ломал себе спину, шею или от удара отрывалось сердце. Что его столкнуло, почему сорвался, уже и не спросишь.

Возле таких лабазов команда Станкевича потеряла трех человек, это не считая ранения его самого и увечья еще одного местного милиционера. И только после этого пришлось отдать приказание жечь лабазы, не делая попыток проникнуть внутрь: огонь был единственным бойцом, которого не держали человеческие заклятья. А прятали там оружие, ценности, подлежащие реквизиции, в основном награбленные на больших дорогах, и еще лиц, подлежащих аресту и препровождению в центр.

Бабушку лесничего, Василису Ворожею, он помнил точно так же, как свою тетю Августу. Обе эти женщины, а точнее, память о них преследовала его много лет, пока он не искупил вину, оказавшись в мостостроительном лагере ГУЛАГа, куда угодил за эту же девицу.

По крайней мере, там и Гутя и Василиса перестали сниться, а потом и вовсе будто бы убрались из его вольных и невольных воспоминаний.

Василиса хоть и была причастна к местным колдунам и чародеям, однако на допросе выяснилось, ничего зловредного не совершала, даже стыдилась своего родства с ними и, где-то наслушавшись агитации, мечтала вступить в комсомол, поехать на стройку или выучиться и потом учительствовать на Севере, у туземцев. Вести о новой жизни долетали и в такую глухомань, а в Замараеве открыли даже избучитальню и провели радио. Исправлять что-либо в выданном центром порядке на арест ему было запрещено, однако в особых случаях Станкевич имел право поставить прочерк, означавший, что подозреваемый физически отсутствует в этом мире. Иными словами, погиб при попытке задержания, о чем писался рапорт. Он так бы и сделал, отписавшись, что означенная девица сама бросилась в реку и утонула, но среди бойцов его команды были доверенные люди Комиссии, писавшие свои секретные отчеты, и Станкевич знал, что его документы могут быть проверены. Поэтому пришлось договориться с Василисой, чтоб разыграть утопление.

А эта своенравная девица на глазах у бойцов и местных жителей прыгнула в омут с камнем на шее. И в самом деле утопилась! Односельчане выловили ее неводом через несколько часов, безропотно завернули в холстину и понесли родителю, Анкудину Ворожею, который в списках тогда не значился. Зловредный Анкудин чуть бунт не поднял. Пришлось



команде стрелять по верху голов пришедших разбираться жителей. Утопленницу схоронили на кладбище, поскольку местные церковные обычаи не чтили, а священников тут не бывало полвека, шарахались с тех пор, как последний монашествующий поп расстригся, взял замуж местную ведьму и ушел в леса.

Станислав видел сам, как несли Василису на кладбище, уже распухшую от жары и смердящую, видел, как заколачивали гроб и опускали в могилу, а своим глазам он верил безоглядно. На похоронах он не присутствовал, чтобы не дразнить местное население, наблюдал издалека, незаметно, и если бы еще были слезы, то бы, наверное, плакал. А так лишь непроизвольно стискивал кулаки и гонял тяжелый царапающий кадык по горлу, который ему когда-то мешал играть на скрипке.

В эту же ночь она приснилась ему мертвая, сине-голубая, как русалка, и простоволосая.

— Хочешь, приду к тебе живая? — спросила вкрадчиво голосом тетушки Гуты. — Ты же меня хочешь? Я это видела, когда пытал. И когда сговаривал утопиться понарошку... Ты же влюбился в меня, товарищ Станкевич! Как в тетушку Гутю... Ну, хочешь или нет?

— Не хочу! — крикнул Станкевич и проснулся, разбудив товарищей по команде.

Невзирая на специальный подбор бойцов, верных делу революции и психологически выдержанных, во сне многие кричали и разговаривали, так что на это никто внимания не обратил. Да и сам Станислав помнил сон до полудня, а потом в делах замотался и напрочь забыл. И вечером, когда Латуха, председатель комбеда, сказал, дескать, у него баня протоплена, не желает ли попариться, не вспомнил, согласился. У всех тут бани были по-черному, первобытные, дикие, даже заглядывать приходилось с опаской, чтоб сажей не перемазаться, а у Латухи по-белому и совсем новая. Отправился без задней мысли, в предбаннике разделся, взял керосиновый фонарь и вошел в парную. А Василиса сидит на полке, веником играет и говорит:

— Ну иди ко мне, попарю!

Не такая, как во сне, — живая, розовая, уже разогретая жаром и улыбчивая. Станкевич не страдал набожностью и суеверием, но тут слегка оторопел в первый момент, больше от неожиданности. А девица засмеялась и говорит:

— Да не бойся меня! Мы же уговорились понарошку в омут. Вот я и притворилась утопленницей. Не веришь, так пощупай.

Он и в самом деле приблизился, потрогал руками, даже понюхал — горячая, живая, пахнущая терпкими травами!

— Тебе нужно не в комсомол, — сказал натянуто. — В театральную студию Станиславского.

— Отблагодарить тебя хочу, — обняла его за шею и прижалась. — От смерти спас... Примешь от меня награду? Ты мне тоже приглянулся, товарищ Станкевич. Ты сильный!

И все это обволакивающим голосом тетушки Гути. А тут еще запахи в парной особенные, будоражащая трава запарена, вот Станислав и потерял контроль над собой и ситуацией.

Парились они так часа полтора, до изнеможения, и когда Станкевич повалился на пол, Василиса зачерпнула ковшом из кадки и поднесла к губам:

— Пей!

Он подумал, холодная вода, напился и только тогда понял — это самогон! Не поверил, сам зачерпнул из той же кадки, попробовал — натуральная горилка, которой хохлы торговали в Белостоке. Крепкая, бодрящая, хоть в пляс пускайся! Станислав плеснул на каменку — синее пламя взметнулось, и откуда силы взялись — еще целый час парились, а может, и больше: в хмельной голове все затуманилось, заволокло паром.

Потом Станкевич вышел в предбанник, чтобы охолонуться, облился холодной водой, отдышался, заходит в парную, а там никого! Все говорит о том, что была Василиса: кругом еще не высохли следы ее мокрых босых ног на полу, отпечатки ягодиц на полке! Спрятаться негде, хотя он и за каменку заглянул, и даже в кадку с самогоном. Должно быть, мимо прошмыгнула, пока он водой обливался, или привиделась Василиса...

Ошеломленный, он даже попил из кадки — вода!

Тут у него и возникло подозрение, что наваждение это Латуха устроил, но напрямую не спросишь. Местный председатель комбеда считался единственным доверенным человеком, поддерживающим власть, милиции помогал. Но все они здесь были с причудами, а многие и вовсе приспособленцами, себе на уме. Станислав к Латухе в избу заглянул, за баню поблагодарить, а тот вроде стоит, улыбается, квасу ковш поднес и спрашивает, показалось, будто с намеком:

— Как парок-то? И на каменку подбрасывать не пришлось? Баня у меня знатная, революционная. Натопишь раз, дак хоть сутки парься. Не то что у этих старорежимных балдуев! Как пожелаешь еще, так скажи. Я мигом спроворю!

Жителей местных деревень все остальные называли балдуями. Что это означало, никто толком не знал, прилипло прозвище и все. Только одна старуха по секрету сообщила, дескать, именовали так с незапамятных времен двенадцать белых чародеев, живших в местных лесах. Каждый из них сам по себе только лечить мог, но когда они собирались вместе, то могли творить чудеса, например мертвых оживлять, если тело человека не нарушено, бури останавливать, таежные пожары тушить, в засуху дожди навлекать. Дескать, истинные балдуи и доньне есть, только меньшим числом, потому-де, мол, давно не собирались. Старуха из ума выживала, не понимала, с кем говорит, поэтому и сказала:

— Собрались бы, дак этой советской власти давно бы не было! Поганой метлой бы вымели лиходеев, всю державу очистили!



Арестовывать бабу Станкевич не стал, все равно до Москвы живой не довезут, отпустил с миром, но на ус себе намотал.

От председателя Станислав напрямиком отправился на кладбище, могилу утопленницы посмотреть — на месте, крест стоит и никаких особых следов. Как мужики землю лопатами прихлопали на могильном холмике, так и есть. А в ушах до сих пор стоит шепот Василисы:

— Знаю, тебя все еще тетушка мучает, не отпускает. Так я пробку эту вышибу. Теперь меня будешь помнить, искать по ночам. Я дева, как бражка, сладкая, долго хмелить буду!

На следующий день надо было собирать подводы по деревням и переезжать в Чурилки за семнадцать верст, в самый глухой куст деревень всей округи. По оперативной информации, там и собрался весь сброд, прячущийся от власти: местные разбойные люди, недобитые беляки, колдуны и ведьмы. Предстояло разыскать и арестовать шестнадцать человек, означенных в ордере Комиссии. Однако Станкевич перенес поездку, ибо наутро и вовсе сделался зачумленным. Проснулся оттого, что Василиса его окликнула, а потом почудилось, не дежурный по команде плошку с кашей ему ставит на стол, а она! Вокруг же не бойцы сидят и стучат ложками — будто их дети, и сколько — не сосчитать. Едят весело, жадно, с аппетитом и на него посматривают. Но сморгнул, и исчезло видение...

Пятый месяц команда рыскала по костромским лесам, исполняя поручение Особой комиссии, местным чекистам передали уже три партии арестованных, дабы препроводили в центр, и ничего подобного не случилось. Конечно, чувствовалась усталость, и у бойцов в том числе: форма поистрепалась в лесах, за внешним видом не следили, коней давно не перековывали, не чесали. Иные спали плохо, во сне маму звали, а самый бывалый и по годам старший, боец Эдгар Веберс, из латышских стрелков, после штурма очередного лабаза в Мухме вдруг замолчал и перестал есть. У Станислава на этот счет были особые инструкции, но он исполнять их не спешил, думал, пройдет, но соглядатаи, бывшие в команде, донесли, и пришла шифровка передать латышского стрелка в ведомство местного ОГПУ.

Ему было жалко расставаться с мудрым и обстоятельным Эдгаром, который был с ним вместе еще в Отряде особого назначения при ВЧК. И еще их сближало то, что оба плохо, с сильным акцентом говорили по-русски, хотя Станкевич все время пытался исправить свое произношение и благодаря тонкому музыкальному слуху довольно быстро овладел языком. Но для Веберса русский оказался непосильным, хотя он до революции еще изучал этот язык в рижской гимназии. Другие бойцы особым интеллектом и образованием не былиотягощены, представляя собой бывших кавалеристов Первой конной, матросов и рабочих-железнодорожников.

Пришлось исполнить приказание, Веберса отвезли в Чухлому и передали, Станислав почувал одиночество и с тех пор стал таить все, что творится в голове и душе. Он быстро отыскал причину остаться еще на

сутки, проверил в команде оружие, амуницию, лошадей, внешний вид и устроил разнос, приказал привести все в идеальный порядок, непременно всем постирать форму, а сам отправился к Анкудину Ворожею.

После попытки бунта они не виделись. У Станислава были особые инструкции на этот счет: в подобных ситуациях он имел право или передать местным чекистам бунтаря, или самому ликвидировать его, не привлекая к себе внимания — то есть шлепнуть тихо и желательно самому, без свидетелей и из оружия, традиционного для местности. Например, выставить огнестрельный самострел в его угодьях, застрелить из лука или на худой случай грохнуть из маузера, а дом поджечь. Но у Анкудина не было врагов среди местных, тем паче расправляться с родителем Василисы он не собирался, зная при этом, что о его поведении непременно донесут Комиссии. На этот случай он отправил шифровку, что взял Ворожея в оперативную разработку с целью через него выйти на некую Памфилу, чуть ли не главную ведьму, значащуюся в порядке под номером один.

Анкудин в округе был известен тем, что считался самым удачливым охотником-промысловиком и держал у себя на цепи огромного старого медведя. Говорили, будто он имеет власть над дикими животными, а на звере по ночам катается, запрягая его в телегу. Станкевич подозревал, что он один из двенадцати настоящих балдуев, однако выяснилось, про него много брехали: ему не повиновался даже домашний медведь и кусал его, когда хозяин терял бдительность.

Родитель был в горе по утопившейся единственной дочери и встретил соответственно, никаких примет пребывания живой Василисы Станислав не заметил, всюду виделись знаки скорби. Она любила полевые цветы, и вот теперь отец нарвал и положил их всюду, чего касалась ее рука, в том числе даже на печной загнеток. У Анкудина, по слухам, и жена была, но будто бы еще давно ушла в лес и жила так, как местные ведьмы. Василиса была в ордерном списке на арест, но о ее принадлежности к миру нечистой силы отец мог и не знать, поскольку у балдуев все тайны колдовства передавались по женской линии. По мужской это было лишь в двенадцати родах настоящих балдуев, которые уже порядочно захирели, а то и вовсе свелись на нет. Но женщины продолжали передавать ведьмачество и строго его хранить. Иные мужья и отцы даже не подозревали, с кем живут и каких дочерей плодят. Поэтому в списке значились в большей степени женские имена и лишь несколько мужских. И то их чародейство было сомнительным: некоторые мужики, видя легкость, с которой можно облапошивать доверчивых односельчан и пришлых, объявляли себя знахарями и колдунами. Но по природе ничего делать не умели, разве что обладали стихийным прозренческим талантом, иногда точно могли предсказывать грядущие события за несколько лет вперед.

Вообще-то, балдуев можно было отнести к запретной секте и ликвидировать как класс, но сделать это как раз и не позволяло строгое деление между мужскими и женскими способностями. Из местных чародеев



только мифические выползни считались сектой, поскольку у них оба пола творили чудеса, в том числе и зловердные: по убеждению местных, они травили скот, насылали проклятья и вызывали ураганы. Правда, как раз их-то сыскать в лесах оказалось сложно.

Станкевич уходил от родителя Василисы ни с чем и напоследок заглянул в угол двора, где за решеткой жил медведь. Мохнатый, линияющий зверюга сидел над большим чаном с водой и самозабвенно смотрел на свое отражение, не обратив никакого внимания на гостя. Но когда тот вплотную приблизился к клетке, дабы глянуть, что же так привлекает медведя, тот молниеносно схватил тележное колесо и метнул его в чан. Столб воды окатил Станислава с ног до головы, причем воды вонючей, застоялой и пахнувшей человеческим дерьмом. Хоть снова в баню иди: он с детства был чистоплотен и брезглив.

Проситься к Латухе он не решился, пошел на речку, где бойцы купали лошадей и стирали гимнастерки, прополоскал свою форменную одежду и, когда стал отмываться с илом вместо мыла, вдруг узрел под водой Василису. Она выплыла из омута, как большая белая рыба, прямо перед ним и откинула назад волосы, более напоминающие водоросли.

— Я везде с тобой, — промолвила и ушла на глубину.

Светлое пятно под водой померцало еще немного и растворилось.

В тот миг Станкевич убедился, что в бане Латухи случилось помутнение рассудка, наваждение, что психика его расстроена и требуется длительный отдых либо вообще увольнение со службы, ибо он по состоянию здоровья не может исполнять порученное ему дело. Он готов был написать рапорт и отправить его шифровкой в Комиссию, однако в тот же вечер к нему обратился боец команды, в прошлом балтийский матрос, и вызвал на доверительный разговор. Матрос этот был из нового, последнего набора, отличался хладнокровием и потому всегда входил в расстрельную группу, если приходилось ликвидировать арестованных белобандитов на месте. Вместе с тем Станислав подозревал, что он исполняет особое поручение Комиссии — негласно наблюдать и докладывать о поведении начальника команды на службе и в быту, следить за его моральным обликом.

Оказывается, утренний гнев перед строем, разнос за внешний вид, состояние оружия и коней возмутил и обидел команду. И особенно тем, что сам Станкевич позволяет себе всяческие буржуазные вольности, как-то парение в бане с местной девицей и нарушение сухого закона.

Услышав это, Станислав чуть не выдал тайных чувств и, чтобы скрыть их, набычился:

— Ты что, сам видел, как я парился с девицей?

— Видел!

— Тебе померещилось!

Матрос неврастением не страдал и воспринимал мир в его материалистической сущности.

— И не один я — полкоманды! — мстительно добавил матрос. — И видели и слышали. Как ты парил, а она визжала. От удовольствия.

А в бане целая кадка самогона стоит! Это моральное разложение и дурной пример подчиненным, товарищ Станкевич.

А он уже готов был признать себя сумасшедшим! Поэтому сдержал внутреннюю радость и спросил:

— Что ты предлагаешь?

— Про баню и девицу никто не узнает, — нагло заявил матрос. — А ты дай команде послабление. Мы из этой кадки успели ведро самогона зачерпнуть. Пока ты с ней в обнимку спал на полке.

— Я спал? — непроизвольно вырвалось у Станислава.

— Беспробудно! Ты же с утопленницей целые сутки парился! Мы уж потеряли командира... Кстати, Василиса в порядке значит, а на свободе гуляет, с тобой спит... Нам бы тоже не мешало слегка разнуздаться, самогон выдыхается. Душа уже не терпит, раскрепостить требуется.

Покуда был латышский стрелок Эдгар, ничего подобного не могло произойти в принципе. Веберс как-то умел наводить и держать внутренний достойный порядок в команде, возможно, своим авторитетом, опытом и возрастом: все остальные были еще мальчишки комсомольского возраста, в том числе и сам Станкевич. В костромской операции уже существовал строгий сухой закон, за нарушение коего материалы передавались в Ревтрибунал. У Станислава были огромные полномочия, означенные в мандате, выданном Особой комиссией, вплоть до личного решения карать и миловать подчиненных.

Станислав никогда бы не допустил вольности в команде и обнаглевшего матроса арестовал бы и расстрелял перед строем, будь рядом латышский стрелок. Но тут, чтобы спасти свое собственное положение, пришлось закрыть глаза и ударить по рукам.

И вместе с тем в груди вдруг защемила радостная мысль: Василиса была жива! И, вероятно, где-то скрывалась, выжидая, когда команда уйдет из местных лесов. Не могла же она воскреснуть на глазах чужаков! Верно, в самом деле крепко спали в бане, коль даже она не слышала, как входили бойцы и самогон из кадки черпали...

Получив разрешение, личный состав раскрепостил душу, но то ли не одно ведро зачерпнули, то ли самогон был такой, но двое суток у бойцов по месту расквартирования дым стоял коромыслом. Станислав в загале участия не принимал, а ночами бродил по селу и окрестностям, искал Василису и даже звал ее у могилы, на речке, возле дома Анкудина Ворожея. Она же опять явилась внезапно, когда он сидел на деревянном мосту и с тоской смотрел в воду. Василиса вынырнула перед ним, заставив встрепетаться от неожиданности, и вышла из реки.

— Что же ты не веселишься, товарищ Станкевич? — засмеялась она. — По мне сохнешь?

— Искал тебя! — с жаром признался он. — Вторую ночь хожу... Ты где прячешься?

Хотел обнять ее, но Василиса отстранилась.

— Я теперь всегда с тобой. Наклони голову!



Станислав послушался, наклонил, а она вроде бы только вскинула руки, но на шее у него оказался гайтан с кожаной подвеской.

— Это тебе в благодарность за семя!

Он сначала и не подумал, что ему повесили на шею, ибо в тот миг словно захмелел.

— Пойдем к твоему отцу! Я посвятаюсь! Возьму тебя замуж!

— Возьмешь, — пообещала она. — Попробовал бы не взять... А сейчас сам ступай в Чурилки и людей своих уводи.

И убежала по мосту, другой конец которого заволокло утренним густым туманом. Он погнался, закричал и тут же ее потерял, как тогда, в бане.

Там же, на мосту, Станислав наконец-то обнаружил на себе гайтан с амулетом, пощупал его и сразу же определил: защита змеиная шкурка! Не догадался, а сразу же поверил, что Василиса и ее отец — выползни, те самые, неуловимые, призрачные, которых так настойчиво ищет Переплетчик. Но доказательств в руках, кроме амулета, никаких: арестуй их, отправь — сами не признаются, получают по пять лет ссылки и все. Пусть уж лучше здесь останутся, может, проявят себя...

Это он так себя убеждал, уговаривал, заглушая непригодный для службы трепет чувств. И, чтобы удержаться от искушения переступить черту, взять Анкудина и потом Василису, наутро поднял похмельных бойцов и увел в Чурилки. Он был уверен, что Василиса останется где-то близ своей деревни или вовсе дома, поэтому ехал с облегчением, что оставляет свои тайны, замыслы и грезы в этом колдовском месте.

В Чурилках оказалось все не просто. Слух об особой команде ОГПУ бежал впереди нее, однако никто не знал, кого ищут и арестовывают, на всякий случай прятались все, кто чуял за собой грех, а кто и вовсе без вины, от страха. Команда исполняла свою секретную миссию под прикрытием, будто изымает оружие и ведет розыск рассеянных и засевавших в лесах белобандитов, офицеров и просто разбойников, кто поживился на горе Гражданской войны. Поэтому населению отводили глаза: задерживали и трепали на допросах сначала мужиков и массово разоружали. Лишь потом, после глубокой разведки, сохраняя секретность и осторожность, подбирались к женщинам. Деревень в чурилковском кусту было много и неучтенного народу достаточно, всяких беглых, пришлых и вообще бродяг, странников, нищих, бездомных погорельцев и прочих, кто нашел приют и покой в далеких от власти местах.

Станкевич думал, Василиса не пойдет за ним в чужие Чурилки, но, когда случилась первая стычка с местными и его ранили в ногу, она вдруг возникла из ничего, из травы и воздуха соткалась и оказалась рядом.

— Зачем ты снял шкурку? — только и успела спросить. — Эх ты, товарищ Станкевич... Сейчас достану пулю!

И достала бы, своими колдовскими чарами затянула рану, однако прибежали бойцы и спугнули колдунью.

Ранение сначала показалось не опасным, и можно было отлежаться, залечить на месте, но, похоже, пуля оказалась грязной, началось гниение, и Станислав получил шифровку немедленно свернуть операцию и в полном составе покинуть район действий для последующего лечения и отдыха.

Он рассчитывал вернуться через месяц-другой, однако наступила осень, потом зима, а к весне, тщательно изучив отчеты, Комиссия сформировала команду и приказала набрать новый состав. Станкевич потребовал вернуть Эдгара и принимать на службу только хладнокровных и дисциплинированных бойцов из числа латышских стрелков. Сначала ему сказали, что Веберс уволился со службы по состоянию здоровья и уехал на родину, потом случайно выяснилось: он арестован и находится в тюрьме. Все попытки разыскать и вызволить его, наконец, обернулись известием, что Эдгар расстрелян по приговору Ревтрибунала за предательство и измену. Решающим стало слово и подпись самого товарища Переpletчика...

Первый раз за все время службы Станислав вздрогнул всей кожей, как вздрагивают лошади, облепленные гнусом. Он хотел в тот же час попросить встречи с ним: до сих пор, будучи много младше, Станкевич называл его на ты и товарищем Переpletчиком или просто братом. Однако к лету, когда команда была сформирована, он сам позвал Станислава и сразу же заговорил на польском.

— На тебя написали много доносов, — сообщил он. — Но я верю тебе. Сейчас ты должен действовать решительнее и жестче. Надо раз и навсегда вытоптать злые дикие побеги у этого народа. Растереть их в пыль. Оправдай мое доверие.

Станислав знал, что брат тайно ненавидит все русское в русских и считает их дикарями.

— Оправдаю, — заверил он, но в этот миг вспомнил Василису и задал спонтанный, не плановый вопрос. — А что происходит с теми... кого я арестовал?

— Проводим специальные мероприятия, работу, — уклонился товарищ Переpletчик. — Не волнуйся, крови на твоих руках нет. Тебя же это смущает? Они живы и здоровы, если страдают, то от насморка. В Москве погода гнилая... И вообще, брат, не бойся вражеской крови. Она укрепляет, делает сильными борцов с нечистью.

Слушая его, Станкевич даже забыл спросить, почему расстрелян Эдгар, и ушел неожиданно вдохновленным, готовым к возвращению в костромские дремучие леса, куда сбежалась, уткнулась из центральных районов вся сволочь, не приемлющая революции.

Новая экспедиция, а теперь это так называлось по легенде, началась со старых, уже зачищенных от контры мест. В новом же ордере Комиссии Василиса Ворожея не значилась, однако укрылась на лабазе, поставила заклятье и затаилась как мышь. Станкевич велел бойцу подняться, проверить, что внутри, но тот хоть и из нового набора, но опытный, умеющий снимать всяческие колдовские обереги, добрался к



самым дверям и оттуда вдруг сиганул в траву. Сначала сказал, дескать, скорее всего, ступенька была подпилена, вот и сорвался, ногу сломал и руку в двух местах, чуть локоть не вылетел. Но спустя какое-то время признался: ощутил мощнейший толчок в грудь, словно торцом бревна ударили, а ничего нет! Воздух!

Рисковать больше не стали, бросили бутылку с керосином и зажигательным патроном пальнули. Причем, пока строение полыхало, Василиса звука не издала, потом уже обнаружили, когда головни рухнули наземь. Скорее всего, задохнулась сразу и потеряла сознание. Но как-то странно, почти не обгорела, хотя одежда сотлела в прах, а у нее ни единого ожога, волосы целые и только кисти рук красные.

Станкевич увидел ее и сразу поверил, что оживет, поскольку настоящие ведьмы в воде не тонут и в огне не горят. Местные жители зароптали, но разгребли головешки, достали тело и унесли к себе в деревню, хоронить уже во второй раз.

Возможно, Василиса и на сей раз ожила, но никогда более наяву к нему не приходила...

Патриарх не чувствовал своей вины за ее гибель, поэтому косоглазого внука не удостоил ни разъяснениями, ни оправданиями. Тогда на месте происшествия находился сам Анкудин Ворожей, как раз и арестованный по новому ордеру — как принадлежащий к таинственной секте выползней. Мог бы крикнуть, как-то сообщить через конвойных, но тоже промолчал, хотя наверняка знал, где дочь скрывается.

Даже зарастающая дорога вскоре вообще потерялась, и скрипучая телега покатила лесом, совершая выкрутасы меж старых деревьев. О том, что здесь когда-то жили люди, свидетельствовали только редкие столбы, сохранившиеся ворота под навесами, бессмысленно торчащие среди взматеревшего леса, да рухнувшие и вросшие в мох поскотины. И еще, то ли казалось, то ли фантазировал музыкальный слух, изредка доносились некие отраженные, как эхо, человеческие голоса, крик, гогот, кудахтанье домашней птицы и далекий коровий рев.

Среди этого давнего запустения, среди исчезающих, допревающих следов жилья вдруг и оказались целенькие скрипучие ворота и крепкий еще, далеко не новый лабаз, торчащий над березовым мелколесьем. Сосновые, кремневые столбы закалились на солнце, покрылись медно-красной патиной, и сам темный амбар наверху излучал ощущение крепости и неприступности.

Гнедой конь остановился перед воротами, хотя их можно было объехать с любой стороны, сильный соскочил с телеги, открыл створки и впустил повозку. Конь подвернул к лабазу и встал, замотав головой от гнуса.

— Вот тебе временное жилье, — сообщил лесничий, спрыгивая с телеги. — Поживешь покуда здесь, между небом и землей. Подсобите ему, хлопцы.

Послушники подхватили оковы, помогли спуститься с телеги, но посадили тут же, на землю. Лесничий достал дорожную сумку из передка, вынул сначала фотоаппарат «полароид» и устроил фотосессию.

— Всю жизнь мечтал сняться в обнимку с Патриархом! — хвастливо заявил он и подал камеру сиплому послушнику. — Ну-ка, Михайло, сделай нам фото на память! Да так, чтоб кандалов не было видно!

Цепи и чурку искусно спрятали в траву, рукава куртки натянули так, чтобы скрылись оковы. Несколько снимков лесничий забраковал, но три получились так, словно Патриарх был на свободе, даже улыбку вымучили дурацкой шуткой, мол, птичка вылетит. Затем лесничий достал увесистую кожаную папку с бумагами, чернильную авторучку, положил все перед пленником и сам стал переодеваться.

Патриарх посмотрел на письменные принадлежности:

— Ну а это что значит?

— Будем писать, — отозвался тот, выползая из лесного рванья, словно змея из шкуры. — Много всяких бумаг. Сначала завещание. По прилагаемому образцу, собственноручно. Смотри там, в папке... На имя своего внука, дедушка. Потом рекомендательные письма, заявления и прочую шелуху.

— Но я уже написал завещание! И внук у меня есть! Сам нашел!

— Не знаю, кто тебя нашел, — между прочим проговорил лесничий.

— Но твой единственный внук — я! Ворожей Дмитрий Ульянович меня зовут, дедушка. Так что будем знакомы. Там, в папочке, мой паспорт, посмотри...

— Мне нечего завещать! — слабо возмутился Патриарх. — У меня только квартира... Но я готов, если вернете меня!..

— Твоя квартира мне не нужна! — отрезал лесничий.

— Что же вы хотите получить? Вы же похитили, чтобы потребовать выкуп?

— Дед, ты служил в ООНе? — вдруг спросил лесничий, натягивая на себя цивильные брюки. — Перед тем, как нагрнуть в наши края? Поделись с внуком своими подвигами. Чтоб я испытал чувство гордости.

— Должно быть, вам известно, я получил двадцать девять лет лагерей. Потом была ссылка, эмиграция... Кто же меня допустит в ООН?

— Да ты не понял, дед! — засмеялся тот. — Или хитришь. Не в Организации Объединенных Наций — в Отряде особого назначения при ВЧК. Служил? Служил... Так что верни мою посуду!

Он вывел оба глаза на одну орбиту и уставился на Патриарха. В этот миг Станкевич вспомнил давний, полузабытый случай, когда, еще будучи телохранителем, отразил покушение на Переплетчика в городе Харькове.

Серые послушники, как ангелы, нависли над плечами, и сиплый поиграл кнутовищем.

— Надо с него мерку снять. А то опять не подойдет.

И принялся замерять плетеным, змеистым кнутом рост и ширину плеч...

Внук словно растворился в вечеряющем воздухе парка. Если его выследили и взяли люди с Лубянки, то опытный глаз Екатерины это бы не упустил, да и не умели современные опера работать так, как прежние, кагэбэшные. И тогда вдовы решили: Левченко исчез сам, по своей воле, а значит, не все сказал, что-то еще замыслил и унес с собой.

Они разъехались по домам, и вот утром вдовствующей императрице на свежую голову пришла мысль, что наследство, если оно имеется в самом деле, не следует упускать и строить на него мосты. Пусть переправами через свои реки занимается государство. А скопленное Патриархом, ярим подвижником и борцом за права человека, должно служить этому благородному делу. Святые, выстраданные деньги!

Личных притязаний на наследство у черных вдов не было, государство щедро расплатилось и продолжало расплачиваться с ними за репрессии — тюрьмы, ссылки и психбольницы. Однако еще покойным академиком был создан Фонд защиты прав человека, который требовал уйма денег, а сознательные граждане, бизнесмены и виноватое государство стремительно и массово теряли сознательность. Фонд давно существовал за счет зарубежных пожертвований, и это настораживало еще больше, чем проявление равнодушия власти. Патриарх еще как-то умудрялся расшевелить известных олигархов, и те передавали наличными крупные суммы отступных, но теперь этот источник резко иссяк. К тому же телевидению надоела вечная тема ущемления прав в России, да и западные коллеги все больше жаловались на кризис, какие-то хитромудрые законы Европейского союза и намекали, мол, пора бы урезать аппетиты, у вас на самом деле свободы больше, чем у нас. Русских вообще не зануздать ни в один закон!

Странное исчезновение Патриарха должно было всколыхнуть общество, пробудить полузабытые защитные мотивы и это бы стимулировало поступления в бюджет Фонда. Именно об этом черные вдовы и говорили весь вечер, повиснув на телефонах, прослушка коих была исключена.

С утра же вдохновленная этой мыслью Екатерина поехала к адвокату, у которого, по свидетельству Левченко, хранилось завещание. Звонить своей подруге не стала, напротив, отключила телефон: надо было во всем брать инициативу в свои руки, а Елена Прекрасная и ее заморочки сейчас мешали свежести и трезвости мысли.

Адвокат, уже не молодой, но не известный широкому кругу человек, был чем-то сильно смущен, возможно, никак не ожидал увидеть у себя в офисе знаменитую на весь мир правозащитницу. Хотя, имея дело с Патриархом, мог бы уже обвыкнуться в общении со столь знатными особами. Закралось подозрение, что никакого завещания нет, с чего бы он суетился и прогибался? Поэтому Екатерина скромно села на стул и начала издали, спросив, знаком ли он лично с Патриархом. Адвокат согласно и подобострастно закивал, однако при этом разочарованно развел руками:





— Безусловно... Безусловно, знаком! Станислав Юзефович был у меня совсем недавно!

— И оставил завещание? — утверждающе, но скрывая изумление, спросила она.

— Так точно! Мы встречались с ним дважды. Проработали детали, сделали уточнения... И он написал, собственноручно. Вот этой ручкой! Буду хранить, как реликвию... Подписал, сам опечатал сургучными печатями! И сказал еще, мол, теперь можно жить с чувством исполненного долга.

— Вы проверяли его на дееспособность?

— Лично удостоверился, — без энтузиазма проговорил адвокат. — Я знаю инструкции... Стороннее насилие полностью отсутствовало. Он приезжал ко мне один! Был весел, шутил. Облегченно вздыхал, словно сбросил с себя ношу. Даже похвастался, внук у него нашелся!..

Надо было говорить как-то лаконичнее и в приказном порядке, но в тот миг что-то затуманило голову, возможно, само существование завещания и тайные дела Патриарха. Поэтому к зубам и языку, как жвачка, липла косная речь:

— Я знаю законы и понимаю ваш... служебный и гражданский долг, — заговорила Екатерина. — Сохранение тайны и все прочее... Но существует государственная необходимость вскрыть завещание и ознакомить с ним. Вы слышали, Станкевич пропал при невыясненных обстоятельствах. Потребуется виза Генерального прокурора — она будет. Если суда — будет судебное решение.

С судом еще можно было решить вопрос, а вот с Генеральным вдова хватила через край, поскольку была не уверена, получит ли его добро, но слово вылетело.

— Да я бы и без визы позволил ознакомиться. — Адвоката поколачивало. — Вы лицо известное... Простите. Но буквально час назад я уничтожил завещание в присутствии трех свидетелей. Не вскрывая пакета. Вот протокол...

И положил какую-то бумагу.

— Как — уничтожили? — не зная, то ли пугаться, то ли радоваться, спросила Екатерина. — По какому праву?

— Утром я получил письмо от господина Станкевича, — обреченно и обиженно признался адвокат. — Заверенное нотариусом ходатайство... Дезавуировать завещание с немедленным уничтожением. Все законно, оформлено подобающим образом... И это право завещателя!

Вдовствующая императрица все же решила радоваться, поэтому вернулось присутствие духа.

— От кого получили письмо? Лично от Станислава Юзефовича?

— Нет, через нотариальную контору. Доставил нарочный... Рука, подпись — все удостоверено мной лично. Зрительно и со специальной компьютерной программой.

— Причина какая-нибудь указывалась?



- Без указания причин! Уничтожить, не вскрывая пакета...
- И вы не вскрывали?
- Не вскрывал!
- Даже из человеческого любопытства?
- Как можно?! Завещание такого лица?.. У нас инструкции, закон!

В завещаниях могут быть государственные секреты.

Сквозь нарочитый испуг и естественную растерянность она узрела, что адвокат вскрывал пакет. И читал, возможно, сделал копию для истории, которую потом можно напечатать или загнать за крупную сумму.

— Ну хорошо, благодарю, — вдовствующая протянула руку. — Вы честный человек и юрист. В случае чего, буду знать, к кому обращаться.

— Всегда рад! — залепетал тот. — Но не по рангу, так сказать. Вам открыт доступ к самому Генриху! Меня поразило, что Станислав Юзефович пришел ко мне! Он же чистый клиент Генриха!..

На улице она завернула во дворы, нашла уединенное место, чтоб рассказать о новости Елене Прекрасной. Однако, как только включила телефон, раздался ее звонок.

— Внук объявился! — кричала она шепотом. — Пришел сегодня, часа полтора назад... Но это совсем другой внук!

— Как другой?!

— Другой человек, мужчина!

— И назвался внуком?

— Назвался! Привез письмо от Патриарха. И собственноручно написанное завещание!

— Задержи его у себя! — последовал приказ вдовствующей императрицы. — Под любым предлогом!

— Он и не собирается никуда уходить, — шепотом заявила Елена. — Напротив, попросился пожить несколько дней у меня, на Гоголевском. Пока не уладим дело.

— Попросился жить?!

— Да, я сказала, что у меня чистая квартира, — объяснила Елена. — Проверена на предмет прослушки и видеозаписи. Можно обсуждать любые темы. Он и согласился.

Екатерина собралась с мыслями.

— Где он сейчас?

— А сейчас залез в ванную комнату и там плескается. Никогда не видел джакузи... Я посмотрела у него в карманах и сумке. Некто Ворожей Дмитрий Ульянович. Старший лесничий Замараевской лесной дачи.

— Что еще?

— Холост. То есть разведен.

— Я не про это! — Вдовствующая императрица и сама не знала, о чем спрашивает и что хочет услышать. — Откуда он взялся?!

— Из Замараевской лесной дачи! — тупо объяснила, видимо, шокированная вдова. — Так в удостоверении...



— Так он дачник, что ли? — погружаясь в зыбкую пучину растерянности, спросила Екатерина.

О лесоустройстве она не имела никакого представления.

— Не знаю! — в отчаянии почти выкрикнула черная вдова. — Похож на дачника, загорелый, искусанный...

— Кем искусанный?

— Комарами и мошками! Знаешь, такие насекомые, на дачах...

— А что в письме?!

— Короткая записка! Патриарх просит нас с тобой принять внука и посодействовать ему.

— В чем?!

— Наверное, в получении наследства!

— Сейчас приеду! Только не сообщай своим друзьям с Лубянки!

С тщательностью опытного конспиратора она отловила частника на улице, однако на Гоголевский поехала окольными путями и еще дважды меняла машины за Садовым кольцом.

Косяк внуков был явлением, в общем-то, ожидаемым и предсказуемым, это стало понятно после первого. Но скорое появление второго, да еще с завещанием, собственноручно написанным, могло говорить лишь о том, что черные вдовы ничего не знали о тайной, двойной жизни Патриарха. И еще о том, что кроме квартиры за ним числится нечто более ценное, если Левченко говорил о строительстве моста через какую-то реку.

Второй внук, точнее пока что для вдов неустановленный самозванец, преспокойно спал в квартире Елены, смыв пыль в джакузи после долгой дороги. Или был невероятно глуп, или, напротив, расчетлив и умен, если ничуть не опасался заявиться к помощнице исчезнувшего Патриарха с завещанием, написанным вчера. То есть все указывало на его злодеяние — организацию похищения с целью заполучить это самое завещание! А он почивал себе в просторной гостевой комнате, растворив настежь окно, так как привык жить на вольном воздухе.

Вдовы уединились в самом изолированном месте — в ванной и еще включили воду. И все равно говорили полусшепотом, с оглядкой. Сначала они читали записку Патриарха и анализировали каждое слово и букву, но ничего особенного не обнаружили; напротив, такие сопроводительные записки он и в прошлом писал много раз, когда не хотел светиться по телефону. Это была не просто записка — отмычка, ключ и охранная грамота для самозваного внука!

Было бы интересно взглянуть на завещание, но оказалось, Елена Прекрасная видела его лишь как факт, чтобы определить почерк. Читать его псевдовнук не давал, зрительно выхватила и запомнила лишь несколько слов и выражений, например «в здравом уме», «Дойче банк», «две тысячи восемьсот карат» и почему-то «виртуальные сосуды». Заметила еще строчки каких-то цифр вперемешку с латинскими буквами и отдельно — ни с чем не сравнимую, оригинальную подпись Патриарха,



в которую был искусно вписан скрипичный ключ. И дату составления документа — вчера!

То есть похититель и в самом деле находился у них в руках, но мог в любой момент исчезнуть, заподозрив малейшую опасность. Елена Прекрасная предлагала все же обратиться к Генриху или друзьям с Лубянки, а пока на всякий случай достать из сейфа наградной пистолет, держать наготове и в случае чего — стрелять. А лучше, пока спит, прострелить ему колено, наложить жгут и ждать подмоги. Так делают бандиты в кино. Иначе он разметает, размажет их по стенам, поскольку мужчина еще молодой, здоровый, мускулистый и, кажется, весьма решительный. Единственный недостаток — косоглазый, причем на оба сразу, оба гуляют, как хотят, и не поймешь, куда он смотрит.

Екатерине такой план не понравился категорически, ибо она имела свой — относительно наследства. Вдовы согласились, что поведение Патриарха нелогично — назначает встречу с одним внуком, а уезжает к другому и пишет второе завещание, а старое дезавуирует и уничтожает. Это либо насилие, либо... И тут обе они спотыкались, не в силах произнести вслух медицинский диагноз.

То есть в любом случае действовать придется самим, без посторонней помощи, а это значит, придется или договариваться с внуком № 2, прежде установив его истинное родство, или пускаться на женские хитрости. Тем более записка патриарха к этому обязывает. Например, прикинуться овечками и истинными поклонниками Патриарха, понудить его, чтобы проявил инициативу и сам попросил их помощи в получении ценностей из банка. На вид и по должности он человек лесной, сельский и вряд ли соображает в банковских хитростях, тем паче в получении наследства по завещанию. Можно выманить у него такую доверенность, что он вообще останется с носом! Но сначала потребовать генетической экспертизы и провести ее под надзором черных вдов!

Сон у внука оказался богатырским: был бы мелким мошенником — нервничал бы, дергался, психовал. Так самоуверенно мог спать только человек с чистой совестью либо полный кретин! Вдовы успели перебрать и обсудить несколько вариантов действий, но первый план показался самым приемлемым и надежным.

Тем временем лесничий выспался и, потому как имел письмо от Патриарха и статус гостя, сразу был приглашен на чай. Несмотря на опыт, вдовствующая императрица с ходу не сумела определить его характер и психологию: сильно смущала косоглазость, делавшая его простаком, мудрецом и одновременно существом, напоминающим пришельца. Причем каждый самостоятельно блуждающий глаз производил свое собственное впечатление. Например, один был злой, нелюдимый, другой в это же время добрый и благодушный. Кроме того, такой физический недостаток отчего-то навевал чувство непонятной давящей тоски, словно ледяным дождем орошающей сознание.



Это неожиданное обстоятельство как раз и не позволяло начать четкий и решительный диалог, сидели как дачники на веранде, какие-то ослабленные, уставшие от хлопот, и пили чай с вишневым вареньем.

— Здесь можно вести любые разговоры, — напомнила Елена Прекрасная, чтобы понудить гостя к откровению. — Квартира чище любого освященного храма.

— Да, я это чувствую, — согласился внук и никакой инициативы не проявил. — Но окропить бы не мешало. Суховато у вас, глаза сохнут.

Наконец вдовствующая кое-как отвлеклась от блуждающих глаз внука и, глядя в сторону, спросила:

— Нам придется пройти неприятную процедуру. Вы готовы сдать анализ на ДНК?

— Это еще что за анализ? — простецки поинтересовался внук.

— Установление родства, генетические коды...

— А, знаю! ДНК-дактилоскопия?.. Вам этого не достаточно?

Тут внук вогнал глаза на одну орбиту и глянул прямо. Елена Прекрасная пролила варенье на скатерть.

Перед ними сидел живой Патриарх, только моложе на полвека! Преображение было настолько стремительным, что скрыть изумление черные вдовы не смогли и согласно, дружно и как-то испуганно закивали. В следующий момент глаза у него разъехались, на бритом лице появилась благодушная улыбка и образ растворился.

— Деду этого хватило. А вчера я еще с бородой был.

— Но так... в обычной жизни, — залепетала Елена Прекрасная, — вы почти не похожи...

— Человек перед фотоаппаратом напрягается, — вдруг объяснил внук. — Особенно если знает, что его снимают. Это инстинкт — выглядеть особью, сообразной со своей породой. А в быту мимика весьма подвижна, положение мышц лица ежесекундно меняется. Если человек говорит, смеется, пьет чай... Вы же знаете молодого деда по фотографиям?

Столь глубокие знания лесничего поколебали уверенность Екатерины.

— Хотелось бы увидеть... или услышать. Дополнительные свидетельства, — борясь со своим вдруг возникшим косноязычием, вымолвила она. — Что Станислав Юзефович жив. И здоров.

— А что с ним станет? — Внук поблуждал глазами, словно заглядывая куда-то за край пространства комнаты. — Он приехал добровольно, к родному внуку. Жить станет в полной безопасности, на воздухе, на свежем, парном молочке.

Вдруг все же что-то высмотрел на потолке, сосредоточился в одной точке, однако фотографии достал из кармана пиджака и положил перед черными вдовами.

— Кстати, вы любите парное? — с намеком спросил у вдовствующей императрицы. — Биологическое тепло очень полезно для организма. Выводит радионуклиды. Не так ли?



Вдовы не обратили на его речь никакого внимания, вцепились в карточки, потянули к себе очки.

— Он какой-то здесь не такой! — воскликнула Елена Прекрасная. — Лицо неестественное! Это что за гримаса? Никогда не видела таким.

— Он просто улыбается, — объяснил внук, хрустя баранкой.

— Улыбается? — вскинулась Екатерина. — Но он никогда не улыбался!

— Да, не улыбался! — подхватила другая вдова. — Он серьезный человек! Музыкант, писатель!..

— А теперь серьезный человек радуется!

— Чему?

— Отыскал родного внука!

— Он сам вас отыскал?!

— Не совсем так... Можно сказать, мы всю жизнь шли друг к другу. И когда я перед ним явился, он сразу признал внука!

Черные вдовы переглянулись.

— Все равно придется пройти процедуру, — совладала с собой Екатерина. — Чистая формальность... У вас потребуют акт экспертизы при оформлении наследства. Таковы правила.

— Да сколько угодно, — отмахнулся он. — А у вас есть база данных деда? Ну, его образцы крови, волос, зубов? Или даже слюна годится. База данных, оформленная в законном порядке?

— У нас все это есть, — заверила вдовствующая. — Официально отобранные образцы... Мы как чувствовали!..

— Неправда, сударыни! — засмеялся он. — Образцов зубной ткани у вас нет. Потому что он потерял все зубы, когда сплавлял лес в Коми АССР.

— В американском посольстве есть, — нашлась Екатерина. — Ему же корни дергали в Соединенных Штатах! И протезы там же вставляли.

— Корни — да, — согласился внук. — Зубная ткань самая устойчивая...

— Так вы готовы?

Внук глазом не моргнул.

— Когда едем? Сегодня, завтра?

— Сегодня, — обрела уверенность Екатерина. — И еще, хотелось бы взглянуть на завещание.

— Не вопрос, барышни, — широким жестом выхватил папку из своей сумки. — Можете даже ознакомиться. И снять на телефон. Говорят, сейчас такие телефоны появились, что фотографируют! А я купил себе «полароид» и радуюсь, дурак...

И положил перед каждой по аккуратной пачечке листов, сшитых степлером. Они впаялись глазами в убогий рукописный текст, забыв обо всем на свете, и на четверть часа впали в состояние, сходное с полным наркозом — можно было резать по живому. Обе отметили, что Елена Прекрасная ошиблась: в завещании вместо «виртуальные сосуды» было

написано правильно — «ритуальные». А все остальное сходилось: и «в здравом уме», и «Дойче банк», и общее указание веса золота до сотых грамма и веса драгоценных камней до карата. Только в копиях были вымараны черным номера единиц хранения, банковские ячейки и еще что-то, возможно коды и шифры.

Косоглазый внук свел свои очи и улыбался.

— Но это же копии! — прочитав, спохватилась вдовствующая императрица. — Где оригинал?

— Вы же понимаете ценность такого документа, — ухмыльнулся тот. — Кто же носит с собой состояние? Ну, или, например, мост? Каменный?

— Да, здесь указано: условие использования наследства — построить мост!

Внук обреченно развел руками:

— Воля завещающего — закон.

— И вы станете строить мост?

— Безусловно.

— Но здесь не указано, через какую реку!

— Я знаю, через какую. Дед назвал реку, не волнуйтесь. Это будет грандиозный разъединяющий мост! Не разводной, как в Питере, а именно разъединяющий.

Черные вдовы опять не обратили внимания на детали его речи.

— Здесь означена общая сумма наследства. — Голос Елены Прекрасной подрагивал. — Семьсот десять миллионов евро... Это же фантастическая сумма!

— Сумма по состоянию на восемьдесят девятый год, — спокойно объяснил внук. — И в пересчете на европейскую валюту. Сейчас цифра заметно увеличилась. Я еще не связывался с банком, не заказывал переоценку по курсу. Но, полагаю, более миллиарда.

— Какой же это будет мост? — охнула вдовствующая императрица и замолкла.

— Самый прекрасный в мире. — И вычертил косым взором что-то вроде арки под самый потолок. — На зависть всем буржуям. И прошу отметить, это будет не простой мост, по которому можно шастать туда-сюда!.. А вы знаете лагерное прозвище деда?

— Знаем, — хором подтвердили черные вдовы.

— Отсюда и взялась тема моста... Хотя он никогда их не строил, играл на виолончели. Старик захотелось реализовать себя через наследство. Благородная мысль! И вернуть себе лагерное прозвище. Понтифик ему больше подходит, он же по семейной традиции католик.

Екатерина вдруг закачалась на стуле, словно маятник, что говорило о ее крайнем нервном напряжении с одновременным поиском спасительной мысли. Она ничего не нашла, поскольку спросила с зубной болью:

— Кто вы, молодой человек? Ангел или черт? Бог или дьявол?

— Внук своего деда и бабушки, — опять ухмыльнулся, но погрузился тот. — Унаследовал всего помаленьку. Но вот бабка моя — ведьма.



Истинная! И матушка тоже. У нас все по женской линии... Но по мужской тоже кое-что передается. Говорят, мой прадед, Анкудин Ворожей, был истинный ведьмак. Вернее, чародей из рода балдуев, выползней. Вы про таких даже не слышали. Не зря он в ордер к товарищу Станкевичу угодил. Но не в первый, а уже во второй ордер. В первом-то как раз и была моя бабушка Василиса. Хорошо, успела мою матушку родить и своей бабке оставить на воспитание. Дед потом ее заживо спалил в лабазе.

— Какой дед? — опешили вдовы.

— Мой дед, товарищ Станкевич.

Это не укладывалось в их представление о Патриархе, обе отрицательно помотали головами:

— Такого не может быть! Вы что такое говорите?!

— Может! — с интересом стал рассказывать внук. — А вы и не знали? Он сначала бабку в воде утопил — вышла сухая! А вот в огне сгорела, бедная. Так любила моего деда!..

Они не желали этого слушать и опровергать что-либо не могли, это было выше их сил и представлений. Поэтому Екатерина перевела разговор на более приемлемый.

— Кто же ваши родители?

— Сиротой рос. Матушка тоже не пожила...

— А что так? — участливо поинтересовалась Елена Прекрасная.

— Судьба! Устроилась монтажником-электриком по комсомольскому призыву. ЛЭП-500 тянули. Помните, барышни, песню в школе пели: «Повернув выключатель в комнате, вы о нашей зимовке вспомните... ЛЭП-500 не простая линия...» Я спал в корзине, вместо детской кроватки. Матушка повесит корзину на крюк изолятора, а сама провода крутит. Было же время!.. Ее спалили на проводах.

— Кого спалили?!

— Матушку мою. Говорят, случайно врубили напряжение, а она заделывала скрутки... Мне хоть бы что в корзине, поскольку на изоляторе висела. Она же полтора часа горела, снять не могли. А на землю упала — как живая. Ведьма.

— Отец? — словно выныривая из услышанного ужаса, наседала Екатерина голосом следователя. — Кто ваш отец?

— Прохиндей, коих свет не видывал, — как-то легкомысленно произнес внук. — Звали только серьезно — Ульян Макарыч. Начальник участка восточных электросетей. Красавец, бабник и шалопут. Но ведьмы таких сильных любят... Матушка и нагуляла с ним. Потому фамилия моя родовая — Ворожей.

— Странную историю вы рассказываете, — усомнилась вдовствующая императрица. — Ее очень сложно проверить. Есть ощущение надуманности...

— Что делать, если ведьмы замуж почти не выходят? — Внук развел руками. — Им нужны мужчины соответствующие, как мой дед. Или как ваш муж — покойный академик.

— Мой?! — изумилась Екатерина.

— Ваш, физик-ядерщик. Мужчина такой, чтоб до самых ядер до-стал! А таких мало. Ведьминская любовь прет фонтаном! Не каждый такую выдержит. Вот они и бесятся на площадях. Вон голыми скачут! Феминистское движение... И остаются черными вдовами.

— Вы что хотите этим сказать? — вдруг напряглась Елена Прекрасная, и даже голосок зазвенел.

— Ничего. Вы спросили — я рассказываю. А вам удалось учредить награду «За борьбу со сталинизмом»? Сообщение слышал...

— Пока не удалось...

— Как удастся — я первый претендент! — вдруг заявил он. — Всю жизнь борюсь со сталинскими законами по отводу леса. Ну что такое — местному жителю палки не взять? Хворостины не утащишь! Ветровал гниет лежит, а не тронь!

Он или отвлекал, или хотел втереться в доверие к Елене, известному борцу со сталинизмом.

— Мы слегка ушли от темы, — заметила она.

— Да! — подхватился внук. — Нам пора сдавать анализ на ДНК! Вы же хотели удостовериться? Или необходимость отпала?

— Не отпала, — подхватила Екатерина. — Сейчас поедем! Еще один вопрос. Вы единственный внук?

— Единственный, — уверенно заявил косоглазый. — У ведьм их много не бывает. Это простые люди плодятся быстро. А высокоорганизованная высшая сущность формируется и созревает долго. И рождается редко.

Он обезоруживал своими внезапными глубокомысленными речами, но Екатерину даже этим невозможно было сбить с курса.

— Буквально вчера мы встречались уже с одним внуком, — заявила она. — И завещание у него есть. Как вы это объясните?

— Провели деда на мякине! — засмеялся лесничий. — Клон! Натуральный клон. В Америке у деда удаляли корни зубов и взяли клетки. Потом в Англии клонировали, англичане. Надеюсь, вы знаете, что в секретных лабораториях давно уже клонируют. Дед так возмущался, так крыльями хлопал! Левченко фамилия?

— Левченко...

— Но клон получился удачный. Этот Левченко — славный малый. Он хоть и клон, но получается мне как брат. Точнее, даже не брат, если от дедовского корня зуба. А получается — отец! Или дядька на худой случай. Пожалуй, возьму его помощником к себе, лесные делянки отводить. Ну, или мост строить.

— Вы рассказываете какие-то... — смешалась Екатерина. — Фантастические истории... А как же оставленное ему завещание?

Внук выставил свои зеницы на одну орбиту и поочередно взглянул на черных вдов.

— Все правильно. Но завещания уже нет, сегодня уничтожили. И вам об этом известно! — Он остановил взгляд на вдовствующей. — Вы же недавно от адвоката приехали?

— Клонировали — понятно, — чтобы снять его вопрос, заговорила Елена Прекрасная. — Но откуда он у нас появился? Как? Если его сделали в Англии...

— Передали по дипканалам в младенческом возрасте, — мгновенно ответил внук. — Как вы думаете, о чем говорят президенты, когда встречаются с глазу на глаз? Во-от! Договариваются о тайных, секретных политических и экономических действиях. Грубо говоря, торгуются, как на базаре. Вот этого клона и выторговали.

— А потом? Как потом?

— Хотите, расскажу?

— Любопытно послушать, — скованно отозвалась Екатерина. — Вашу версию...

— Это не версия. Насколько мне известно, самозванец исчез? Верно? А исчез, потому что провалил возложенную на него задачу. С треском! Вы же ему не поверили? Хотя он показал вам заключение экспертизы ДНК и вообще говорил убедительно.

— Не совсем еще поверили, — поправила Елена Прекрасная.

— Потому что у вас женская интуиция. Вы чувствуете клонированных людей. Все вроде верно, точные факты называет, события, а конкретики нет. Неубедительно. А потом вокруг подозрительные люди завертелись... Так?

— Откуда вам все это известно? — уже со скрытой истерикой спросила вдовствующая императрица.

— Да я и сам не знаю! — искренне признался он и отпустил глаза на волю. — Ну вот, например, гляжу на вас, сударыня, и думаю: ну зачем вам растранижировать наследство моего деда? Пускать его на распыл в вашем Фонде? Прав у человека от этого не добавится ни на йоту. Расфугуете все на встречи, презентации, приемы, поездки за океан. А тут будет стоять каменный мост! Веками соединять и разъединять два берега! Люди наконец-то разойдутся всяк на свою сторону. Будут жить и вспоминать деда...

Он выдержал долгую паузу и окончательно прищипил вдовствующую императрицу:

— И зачем вам, барышня, связываться с драгоценностями, природе которых вы не знаете? А если на этом золоте и камнях кровь? Человеческая? Многих людей? Права которых вы защищаете?.. И хуже того, если в золотых сосудах хранили ритуальную кровь! Вы бы хоть сперва узнали, откуда у деда завелась эта банковская закладка! А то с бухты-барахты... Грести к себе чужое, темное... Узнайте! Или у меня спросите!

6.

Он бродил по городу, наводненному красноармейцами, как голодный, одичавший волк, сжимая в кармане рукоятку револьвера. С неожиданной завистью смотрел, как скачут всадники в островерхих шлемах с синими звездами — тогда их еще не называли буденовками, и с ненавистью, когда видел картины грабежа лавок и богатых домов горожан. Палец сам ложился на спусковой крючок, и удерживало только малое количество патронов в барабане: револьвер был крупнокалиберный, но пятизарядный, и после мести за тетушку оставалось всего два. А случая разжиться никак не подворачивалось, хотя он вертелся и возле красноармейских обозов, и возле уличных бивуаков, где солдаты жгли костры на брусчатке, варили в котлах кашу и тут же ели, не особенно-то заботясь о сохранности боеприпасов. Но попадались все винтовочные, маузерные, английские пулеметные, но к револьверу «Гассер» не было. Он воровал другие патроны и уже пробовал вставлять, но они или не лезли в каморы, или оказывались длиннее барабана.

В то время он еще плохо разбирался в оружии и спустя годы, размышляя о своей судьбе, с замиранием сердца думал, как тонка грань между ее поворотами. Вот найди он тогда патроны, непременно бы открыл огонь по грабителям, когда застал их возле своего дома. Солдаты вытаскивали вещи, мебель, грузили все на телеги, и час был подходящий, вечерний, исчезнуть можно в два счета. Во временном безвластии, суе множества вооруженных людей и постоянных перестрелок его бы даже никто догонять не стал, а искать виновника среди гражданских и вовсе. Тогда бы он превратился в мстителя, и пусть нечестно стрелять из-за угла и в спину, однако когда ты один противостояшь целой русской армии, то подобное допустимо.

Старик еврей, у которого он скрывался после мести учителю музыки, был по профессии переплетчиком, и у него в доме скопилось великое множество книг, которые ему снесли еще в мирное время для ремонта или переплета, но не забрали. Горожанам оказалось нечем заплатить, да и теперь стало не до книг. И вот среди этих завалов Станиславу попала запрещенная имперской цензурой рукопись о борьбе польского народа за свободу и независимость. Все три месяца он читал только эту неизданную, но переплетенную книгу и словно огнем напитывался желанием постоять за свою страну или вовсе отдать за нее жизнь. Виноватой во всех несчастьях великого и просвещенного народа Польши была Россия и русские варвары, что приходили с востока, дабы терзать его родину.

Пришедшая в Белосток Красная армия вызывала у него противоречивые чувства ненависти и трепета перед силой одновременно. При первом столкновении с ней выяснилось, что грабили его дом не русские, а как раз латышские стрелки, которых он в то же мгновение возненавидел. Но не вытерпел, когда увидел, как выносят музыкальные инструменты,



среди коих оказался его альт. И попросил на польском, виновато, слезно, сдерживая рвущуюся злобу. Наверное, получилось убедительно: невозмутимые латыши посоветались между собой, кто-то понял, что хочет оборванец, и отдали ему футляр.

В футляре почему-то не было смычка, и его тоже оказалось негде достать, как и нужных патронов...

Красные власти отдали Белосток на разграбление: несколько дней не только солдаты, но и какие-то бандиты тащили все, вплоть до мучных мешков и уличных фонарей. Потом вошел какой-то серьезный отряд в островерхих шлемах, случилась стрельба возле ратуши и дворца Браницких, после чего грабеж прекратился, дворники стали мести улицы.

Станислав все еще бродил с альтом под мышкой, не в силах ни заработать, ни украсть, и за несколько дней поел один раз — каши из солдатского котла. Просить милостыню он не мог принципиально, да и таким, как он, не подавали: выглядел еще не парнем, но уже и не подростком, тем паче от природы был крепок, широкоплеч и руки на вид далеко не музыкальные. Даже если бы и был смычок, музыку в Белостоке никто слушать не хотел в эти дни, впрочем, как и читать книги. Только раз сыграл военный оркестр красных возле ратуши, но артиллеристы Пилсудского дали откуда-то залп по городу. Народ разбежался, и всякая культурная жизнь в городе надолго замерла. Люди выходили разве что на стихийные рынки и базарчики, куда крестьяне привозили съестное, чтобы обменять добро на продукты: деньги никто не брал.

Станислав и вертелся на таких торжищах, не примыкая ни к каким подростковым стаям и бродяжым артелям, которые добывали себе пропитание часто с боем, нападая на крестьянские повозки. А еще возле ратуши стоял пункт, где записывали в революционные солдаты будущей советской Польши: в Красной армии тогда еще служили по найму, за деньги, и, чтобы привлечь желающих, агитировали мало, но кормили дармовой кашей с салом и давали хлеба. Вот там Станислав и поел один раз, однако, чтобы подойти и попросить еще, надо было выслушать лекцию о революции и получить разовую карточку на полевую кухню. Записавшихся тут же, напоказ редкой толпе, переодевали в новенькое солдатское обмундирование, давали островерхий шлем со звездой, котомку с хлебом и немецкими консервами, которые все еще хранились в отцовских пакаузах и бдительно охранялись.

И у Станислава созрела мысль будто бы согласиться, получить солдатский паек, обмундирование и сбежать, поскольку наемников самостоятельно отправляли на сборный пункт, часто без всякого сопровождения. Он бы воплотил замысел, но вдруг услышал за спиной гнусавый, хриплый голос:

— Мальчик мой!.. Ты жив, ревнивый Отелло! Как я рада...

Он обернулся и не узнал тетушку. На лице были розовые струпья, нос замотан тряпицей, и знакомыми оставались лишь глаза да черная

шляпка с потрепанной вуалью. Она дернулась было обнять его, но сама и отстранилась.

— А я заболела... Но это не опасно, не бойся! Я лечусь французским лекарством.

— Слышал, — признался он. — Ты заболела сифилисом.

Станислав смотрел на нее с ужасом и тоскливым, полузабытым ощущением радости от прошлого, как будто бы они вместе когда-то жили в раю, но были оттуда исторгнуты. И вот эта память о прежней благодатной жизни их связывала, но никак не оживала и не могла ожить. Гутя пообещала накормить его и даже переодеть, потому что, когда солдаты грабили магазины, случайно нашла целый большой узел с мужской одеждой и обувью. Она повела к себе в жилище — заброшенный цех, где когда-то обжаривали семечки и давили подсолнечное масло. Там можно было топить огромную чугунную печь, возле нее жить и даже питаться. На складе лежало много мешков с плесневелым подсолнечником, среди которых находились еще не порченные.

Он был брезгливым с детства и в другой раз есть бы кашу из семечек не стал, тем паче из рук больной, однако голод пересилил. Да и Гутя утешала, что сифилис через еду и посуду не передается, а только одним путем, о котором он догадывается. И даже с удовольствием рассказала, как отомстила хозяину дома, где работала, некоторым его родственникам, кто облизывался, глядя на домработницу. Потом мстила солдатам Пилсудского, однажды затащившим ее в казарму, а теперь пытается отомстить красным. Беда только в том, что болезнь вылезла на лицо, сразу бросается в глаза, и красные даже бесплатно не хотят...

Августа накормила его и уложила спать, постелив тряпье на подсолнечную шелуху с другой стороны печи. Утром она обещала сводить его к озерцу, чтоб выкупался, отмылся и лишь после того надел чистую одежду. Разморенному и сытому Станиславу не хотелось двигаться, и он сразу же уснул. Причем так крепко, что не услышал, как к нему под дерюжку забралась тетя. Точнее, услышал и почувствовал, однако принял это за сон из прошлой райской жизни. И так хотелось его продлить!

Станислава спасло то, что от семечек и подсолнечного масла у него случился понос и в самый решающий момент, когда надо было и можно было овладеть тетушкой, его пронесло.

И сон превратился в явь!

— Возьми меня, — гнусавила она над ухом. — Возьми, и мы вместе унесемся на небеса! Я не оставляю тебя здесь, мой мальчик! Ты не должен жить в этом мире. В раю ты станешь ублажать своей божественной музыкой только ангелов. Люди недостойны ее слушать...

Самое ужасное было в том, что он наконец не сломался в решающее мгновение и мог бы сотворить с ней все, без дурацкой какофонии, как Вацлав. Но в этот миг его и пронесло. А тетушка хрипло засмеялась.

— Ты как всегда, мальчик мой! Ну кто же так делает?..



В его руке оказалась твердая рукоять револьвера. Он не помнил, как нажимал гашетку, и выстрелов не слышал под тяжелой дерюгой. Только сквозь вездесущий запах прогорклого масла почуял пороховой дым и еще как вытянулось и обмякло тело самой страстной из женщин, получившей наконец-то полное удовлетворение.

Станислав выполз из тряпья и в темноте еще не понял, что сотворил. Откинул дверцу печи и в свете от красных угольев увидел умиротворенное лицо тетушки и ее разбросанные волосы. Показалось, струпья в тот же миг исчезли с ее кожи и выправился, заострился отгнивающий нос. В полубезумии он даже попытался разбудить ее, содрал дерюгу и увидел лужу крови. И в тот же миг почуял мерзкую поносную гадость у себя в штанах!

Сначала он хотел застрелиться, однако револьвер, прижатый к груди, щелкал курком и не стрелял: в барабане остались пустые гильзы. Потом он пытался повеситься на потолочной балке цеха, сплел петлю из тряпья, надел на шею и прыгнул вниз. Веревка оборвалась, даже не защемив горла, и он упал на каменный пол, сильно ударившись лицом.

И только ползая на коленях, унимая хлещущую носом кровь, догадался, что это все спасительные совпадения: и понос, и отсутствие патронов, и веревка. Не было ему смерти! Не пришел его час! Значит, это знаки, что он должен остаться на этом свете, жить и не уходить туда, куда звала его Августа.

Он долго сидел над ее телом, думая о том, как и где ее схоронить, но не нашел лопаты, а земля во дворе маслозавода была утоптанной, как бетон, и руками даже не царапалась. Тогда он обсыпал топящуюся печь и подстилки вокруг нее сухой шелухой, а тело тетушки обложил заготовленными дровами, которых в цехе было с избытком. Он ничего не поджигал, загорелось само, пока Станислав отмывался в болотном озерце с донным илом и стирал одежду. Пропитанное маслом дерево пылало страстно и ярко, скоро пламя разбушевалось так, что близко не подойти, а ему хотелось посмотреть, как станет гореть тетя. В сплошном высоченном костре ничего не было видно, однако воображение рисовало ее пылающее обнаженное тело, и поэтому так велик был огонь. Одежда высохла на нем в течение часа — успевал только поворачиваться. Затлел даже покрытый сафьяном футляр, и чуть не сгорел сам алыт.

Пожар на брошенном маслозаводе видели из города, но никто не приехал тушить, прибежали лишь несколько беспризорников, и то из любопытства или погреться: август был холодным и дождливым.

Утром по Белостоку бродил уже совсем другой Станислав — не страдающий оборванец музыкант, а словно очищенный водой и огнем матерый муж. Он не испытывал такого возвышенного состояния даже после мести учителю музыки; он был уверен, что не убивал Августу, а помог перебраться ей из этого грязного мира в другой, чистый и светлый, которого она достойна. И весь ее путь соответствовал желанию уйти в него, и он, двоюродный племянник, исполнил этот завет.



Теперь тетушка Гутя ему благодарна...

Так он думал, бесцельно плутая по улицам, и все более приходил к мысли, что следует остановиться возле костела святого Роха и попроситься в монастырь. Наконец остановился и увидел десятки людей, которые ломились в храм, а их не пускали. Как выяснилось, голодные и обездоленные горожане были готовы принять иноческий сан и просились направить их в ближайшую обитель. Но там уже было полно таких, кто желал скрыться от невзгод, а не молиться Богу и посвятить свою жизнь служению.

Он тоже хотел скрыться от невзгод, поэтому ушел в парк дворца Браницких, где когда-то играл на виолончели, и сел на землю в излюбленном месте с альтом в руках, но без смычка.

Тут и подошел к нему Переплетчик, имени которого он тогда еще не знал.

— Как тебя зовут, музыкант? — спросил он, вдруг остановившись перед ним, и красноармейцы в шлемах предусмотрительно замерли за его спиной. Спросил по-польски, угадав в нем поляка.

— Станислав, пан.

— У меня был брат Станислав, — опечалился незнакомец. — Он умер...

— Сожалею, пан...

— Не называй меня паном.

— А как тебя называть?

— Просто брат. Все люди братья. Или товарищ Переплетчик.

— Ты тоже переплетчик? Но сейчас не читают книг...

— Я переплетаю не книги — рукопись нового мира. Ты же знаешь, от переплета зависит жизнь книги. Если он прочный, листы ее не разлетятся. Поэтому приходится использовать шило, иглу и суровую нить. Правда, французы придумали дырокол и скоросшиватель. Механизировали процесс, поэтому у них в каждом городе стоит гильотина...

— Которой обрезают поля после переплета? Я видел... Жил у одного переплетчика-еврея...

— Я поляк! — с гордостью заявил тот. — Гильотина, которой отрубают головы.

Станислав не уловил тогда связи, не узрел смысла и пожал плечами:

— Я тоже поляк...

— Тогда сыграй мне что-нибудь.

— Не могу...

— Почему? Может, ты играть не умеешь? А скрипку украл?

— Это альт — не скрипка.

— Мне все равно. Сыграй на альте.

— Нет смычка, товарищ Переплетчик, — признался Станислав.

— Принесите смычок музыканту, — тихо потребовал он у своих сопровождающих.



Смычок и в самом деле принесли! Причем очень хороший, нака-нифоленный и совсем свежий. Станислав примерился, однако струн не тронул.

— Играй! — жестко потребовал названный брат. — Музыка должна звучать!

— Сегодня не могу, — заявил Станислав и внезапно признался незнакомцу — сделал то, что рассчитывал сделать в монастыре: — Сегодня я застрелил свою тетю.

Высокая фигура товарища Переплетчика повисела над ним минуту и вдруг опустилась рядом на траву.

— Зачем ты мне в этом признался?

— Ты похож на ксендза, брат. Ты не похож на красного поляка.

Он помедлил.

— Да, у тебя редкостное зрение. Ты много видишь! И это мне нравится... В юности я мечтал получить этот священнический сан. И хотел научиться играть на органе. У меня неплохо получалось... Ты провидец?

— Я музыкант, но застрелил тетушку. Теперь у меня не поднимается рука со смычком.

Солдаты в шлемах предусмотрительно отошли подальше, чтобы не слушать.

— За что? — спросил товарищ Переплетчик. — Была причина?

И тут Станислава прорвало. Путано, перескакивая от события к событию, он поведал о своей страсти к приживалке Гуте, об их отношениях с отцом и учителем музыки. И о прошлой ночи, включая пожар на мас-лобойке.

Похожий на ксендза товарищ задумчиво, с каменным лицом, выслушал и вдруг признался:

— А я застрелил свою сестру. Ее звали Ванда. Я тоже любил ее. И у нас все получалось... Но я застал сестру со старшим братом, Станиславом. Это все равно что с отцом... И убил. Поэтому не стал ксендзом.

— Кем ты стал? — спросил Станислав. — Ты не похож на простого переплетчика книг.

— Стал теперь самым главным в Польше, которую мы скоро освободим от капиталистов. И вернем тебе виолончель. Как только возьмем Варшаву.

— Я не стану больше играть, — клятвенно заявил он. — Игра будет напоминать мне Гютю...

— Ты еще будешь играть, — не поверил товарищ Переплетчик. — Только другую музыку. И на других инструментах.

Он встал и ушел не прощаясь, но Станиславу стало легче. Подбежавшие красные солдаты в шлемах выдали ему карточку на питание в полевой кухне и сразу позвали во дворец Браницких, чтобы определить на ночлег, однако он отказался и с облегчением побрел вон из парка.



Это случилось в первых числах августа, а уже к середине Станислав почти освободился от тягостного бремени воспоминаний. На нем, как на молодом волке, раны заживали быстро, и способствовала этому чудодейственная карточка, полученная от товарища Переплетчика. Кроме просяной каши выдавали кусок мяса, двойную норму хлеба с немецким сыром или шпиком. И что бы там ни говорили, но пища примиряла его с окружающим пространством и людьми, им владеющими. Он часто ходил в парк усадьбы Браницких, надеясь встретить там названного брата, но ни разу больше не увидел высокой фигуры в простой солдатской шинели и фуражке.

Эта встреча запала ему в душу, как первое осознанное покаяние, хотя он не раз был в костеле на исповеди. И первое прочувствованное просветление, первые сытые дни и первое осознанное и скрываемое разочарование в самом себе: он понимал, что его прикормили, как звереньша, причем не только солдатской кашей, и от этого делалось тошно. Однако он уже прочувствовал разницу, когда тошнит нищего оборванца от голода и когда сытого от пищи.

Станислав в самом деле снова заиграл, и в месте, совсем не подходящем, чтобы заработать: возле дворца Браницких стоял караул и посторонних не пропускали даже в парк. Но его и тут спасала чудодейственная карточка. Он заиграл, когда в революционном польском штабе поднялась суматоха, на подводы грузили ящики, похожие на гробы, и как-то похоронно суетились. Низковатое звучание альты вписывалось в общую канву событий: он уже знал, что Красная армия потерпела поражение под Варшавой, виолончель осталась у нового хозяина и армия Пилсудского наступает на Белосток.

Заиграл и был услышан. Товарищ Переплетчик вышел из дворца, хотел сесть в автомобиль, но резко изменил направление и остановился возле альтиста. Послушал минуту и сказал:

— Хочешь играть другую музыку?

— Хочу, — признался Станислав, понимая, что сейчас названный брат уедет и все закончится. И снова будет голод. Польская гордость трепыхнулась в последний раз и умерла бы, но перед ним был тоже поляк, уже связанный единой, очень похожей судьбой, которому можно говорить все, как на исповеди.

— Поедешь со мной! — приказал товарищ Переплетчик. — Садись в автомобиль.

На железнодорожной станции их уже ждал готовый к отправке эшелон и мягкий командирский вагон под охраной молчаливых латышских стрелков. Когда поезд тронулся, стрелки отвели его в отсек с ванной, бесцеремонно раздели и заставили вымыться. Даже принесли ведро горячей воды и духовитое французское мыло. Затем остригли наголо, поскольку он завшивел, намазали голову вонючей жидкостью, дали русское белье и немецкую офицерскую форму, взятую наверняка с отцовских складов, запах которых он еще помнил. Френч оказался впору, но галифе велико-



ваты, и один из стрелков по имени Эдгар взялся их ушить. Так Станислав познакомился с Веберсом, который тогда служил в личной охране товарища Переpletчика. Эшелон пропускали без задержек, подавая свежие заправленные паровозы, колеса отбивали железнодорожный ритм, а он стоял в русских подштанниках, играл на альте музыку польских композиторов Огинского и Эльснера, взирая, как латышский стрелок подгоняет ему суконные галифе немецкого кавалериста.

Тем временем товарищ Переpletчик задумчиво играл его пустым австрийским револьвером «Гассер», после чего встал, открыл окно и выбросил его на железнодорожную насыпь.

— Придет время, и ты будешь учиться в консерватории, — пообещал он и вдруг, отняв альт, швырнул вслед за револьвером. — И будешь играть другую музыку. Я верну тебе виолончель из Варшавы. А пока вот твой семиструнный инструмент.

Достал из ящика семизарядный наган русского производства и сунул в руки.

Почти полтора года Станислав служил в личной охране товарища Переpletчика, сопровождая его всюду, куда бы он ни направлялся сшивать в один корешок рассыпавшиеся листы книги под названием Российская империя. У него и в самом деле открылось некое зрение. Он научился видеть руками, ногами, спиной и затылком, готовый в любой момент застрелить всякого нападающего или прикрыть брата своим телом. Однако Переpletчик был заговоренным, незримые ангелы висели у него над плечами и устрашали всякого, кто тешил мысль с ним расправиться. Обезоруживала сама его злоеющая фигура, безбоязненно стоящая над толпами народа, среди которого укрывались злодеи; эта фигура приводила их в трепет и оцепенение, заставляя отказаться даже от попытки в его присутствии вынуть оружие. Но брат все равно таскал с собой Станислава всюду, словно поджидая тот случай, когда его чары не сработают или окажутся слишком слабыми, чтоб защитить жизнь. Вероятно, он чуял эту ахиллесову пятую и прикрывал ее музыкантом, полагаясь не на опыт, разум и зрение — на стихийное начало всякого творчества.

И дождался рокового момента. В Харькове Станислав затылком почувал женщину с пистолетом в муфте и, резко развернувшись, глянул ей в глаза. Террористка дрогнула, выстрелила в упор и промахнулась, пороховым зарядом опалило немецкий френч на плече и щеку. Пуля должна была попасть в висок товарища Переpletчика и уж точно в голову Станиславу, но ушла по неведомой траектории. Зато его ответный выстрел был точно в цель.

Брат склонился над телом террористки, посмотрел в лицо.

— Ее и ждал... — проговорил отстраненно и многозначительно. — Только не знал, когда и где.

— Кто она? — спросил Станкевич.

— Посланница, — ушел от ответа.

Сразу же после нападения товарищ Переплетчик должен был бы наградить телохранителя, как награждал других, именным оружием, однако он отстранил Станислава от службы и самолично запер в тесном отсеке бронепоезда. Отнял оружие и сказал по-польски, словно приговор зачитал:

— Остынь. Ты сделал свое дело.

А Станкевича и в самом деле распяло внутреннее пламя так, что он представлялся себе огнедышащим драконом. Он горел, как брошенный маслозавод с телом Августы, бушевал, пожирая мертвечину, как пламя крематория. Примерно через сутки извержение этого вулкана начало спадать, и когда погасло вовсе, превратившись в осязаемый теменем дымок, товарищ Переплетчик отворил бронированную дверь и выпустил на волю.

— Ты исполнил свою миссию, — заявил он. — Получишь новое назначение.

— Я готов служить в охране! — клятвенно заверил Станислав. — Или я сделал что-то не так?

— Ты сделал, что должен был сделать, — был ответ. — Ты должен был узреть эту посланницу. И больше ничем мне не поможешь, будучи рядом. Я назначаю тебя начальником ООНа. А пока отдыхай. Приступишь через полгода.

В России тогда было много аббревиатур, однако о такой службе Станкевич не слышал. И никто тогда не слышал, даже латышский стрелок, знавший все явные и тайные структуры ВЧК, не так давно переименованной в ОГПУ.

Потому что еще не настало время и ООНа еще не существовало...

7.

Через полгода Станкевич получил новый мандат и секретную директиву создать Отряд особого назначения. Пока что без определенной задачи, но с требованием, в котором была подсказка: подбирать людей исключительно преданных делу революции, ярых безбожников, имеющих образование не ниже пятого класса гимназии и желательно прошедших школу нелегальной работы. Особое предпочтение рекомендовалось отдавать бойцам, знакомым с ювелирным делом, например некогда служившим в ломбардах либо на фабриках по производству украшений, кто на глаз мог отличить драгоценности от подделок и дешевой бижутерии.

Но все это при обязательном условии, чтобы подобранный кадр был какой угодно национальности, но только не еврей. И весьма ограниченно брать на службу чекистов из числа латышских стрелков. Следить за этим щепетильным условием следовало весьма строго, хранить его в строжайшей тайне, поскольку такая избирательность противоречила интернационализму и революционному братству народов. Особенно беречь этот

секрет нужно было от всемогущего товарища Троцкого, который может испортить замышляемую операцию или вообще отнять ее у ВЧК и провести только собственными силами.

Еще будучи охранником своего брата, Станкевич замечал почти невидимые глазу трения, происходившие между Переплетчиком и председателем Реввоенсовета, но, временно отставленный от всяких дел, не увидел, что от их взаимоотношений уже валит дым и вот-вот вспыхнет огонь. Да и по молодости лет он не стремился вникать в такие подробности бытия высшей власти и принялся исполнять директиву.

Станислав без всяких условий и по рекомендации названного брата взял с собой латышского стрелка Веберса и уехал с ним на конспиративную квартиру, выделенную специально для штаба ООНа. Набрать требуемых людей в отряд оказалось не так-то просто, в ОГПУ тогда кроме латышских стрелков, возглавляемых Петерсом, служили бывшие лихие рубаки-красноармейцы, в обилии петроградская матросня, недоученные гимназисты крестьянского корня и необразованные, но преданные подмастерья из бывших расклейщиков листовок и прокламаций. Интеллигентных и ученых было в обилии, особенно в столичной и Петроградской ЧК, и связанных с ювелирным производством тоже. Попадались даже эксперты по драгоценным камням и благородным металлам, специалисты-оценщики, но все до единого не годились как раз из-за своей еврейской национальности. Переплетчик, скорее всего, прекрасно об этом знал и поставил невыполнимую задачу, к тому же еще запретив брать в ООН людей с улицы, тем паче классово чуждых.

Станкевич перетряс огромную картотеку чекистов и с трудом выловил одного немца — бывшего студента Политехнического, который изучал ювелирное производство и носил музыкальную фамилию Шуберт. Потом в картотеках губернских ОГПУ отыскал татарина Абашева, потомственного казанского ювелира, Ли Суя, командира китайских наемников и в прошлом мастера по огранке алмазов. А из милиционеров подобрал своего львовского земляка Ежи Мазуревича, начальника угрозыска из Нижнего. Это был командный состав ООНа, по штатному расписанию — руководители троек. Товарищ Переплетчик список проверил, утвердил, и теперь предстояло каждому командиру найти по паре подчиненных. Здесь условия были попроще, но только касаясь образования и знаний, все остальное требовалось соблюдать строго. Станислав сутками сидел над картотеками и списками личного состава, как цыганка, ворожил над карточками, потом вел долгие опросные беседы с кандидатами, выявляя личные качества, и, прямо сказать, от такой работы осатанел. Самое главное, будущее никак не грело, поскольку он до сих пор не знал конечной задачи ООНа, порой терялся в догадках, но мудрый латышский стрелок и тут преуспел, однажды заявив, что отряду предстоит изымать драгоценности из московских и питерских храмов и монастырей, для того чтобы спасти голодающих Поволжья. Причем внезапно, в кратчайший срок и далеко не в самых богатых церквях — буквально за сутки! И не



из-за опасности, что попы спохватятся и начнут прятать сокровища — надо было опередить людей Троцкого, коему поручена вся операция по реквизиции ценностей и который формирует свои команды.

То есть с таким трудом собираемый отряд должен был выполнить единственную, точечную задачу и потом уйти в небытие, ибо подлежал немедленному расформированию.

Откуда об этом узнал Веберс, особой тайны не было: Эдгар всегда был молчалив и себе на уме, но Станкевич знал, что он дружен с Петерсом. Назначенный командиром тройки, он давно, по собственному выбору, нашел себе подчиненных, латышских стрелков, таким образом, исчерпав весь отпущенный лимит на соотечественников, и ждал сигнала к действию. Но вот откуда узнали про засекреченный ООН желающие в нем послужить чекисты еврейской национальности, было загадкой. А они пошли косяком, негласно перехватывая его в самых неожиданных местах. Однажды поймали в туалете, когда он сидел в кабинке и разговаривал с кандидатом, как с ксендзом на исповеди, через перегородку. Причем местечковый, грассирующий голос невидимого чекиста так и остался без ответа: выдавать себя не следовало даже в таких случаях.

Станислав относился к евреям с состраданием, поскольку видел погромы: сначала немцы, потом пришедшие к власти бузотеры Пилсудского, да и красные конники в Белостоке не прочь были пощипать их лавчонки. Отец дружил с еврейскими семьями, поскольку поставлял им кошерное мясо и вел какие-то совместные дела. К тому же Станкевич несколько месяцев скрывался у переплетчика с ветхозаветными взглядами на жизнь, вполне справедливыми, простыми и понятными. Поэтому тогда еще не понимал, отчего поляки, особенно родовитые, испытывают к ним крайнее пренебрежение.

Товарищ Переплетчик поторапливал, штат наконец-то был собран, и все получилось так, как предсказывал Эдгар Веберс. За несколько дней до событий ООН перевели на другую конспиративную квартиру на казарменное положение. Штаб теперь помещался в старой дворянской усадьбе деревни Ростokino, где были надежные каменные подвалы и такой же забор вокруг. Еще пригнали шесть отремонтированных автомобилей с крытыми кузовами марки «Руссо-Балт», один броневик при полном пулеметном вооружении, всех переодели в кожаные полупальто, выдали маузеры и мандаты. Перед операцией все нужные объекты взяли под негласное наблюдение ОГПУ, и ООН начал действовать на сутки раньше, чем люди Троцкого.

Шесть летучих отрядов, получившие специальные инструкции, разъехались по монастырям и храмам, согласно заранее составленному списку, в Москве, Петрограде и Нижнем Новгороде. Вышли на исходные рубежи и в назначенный час вскрыли пакеты, где конкретно указывалось, что и как производить, какие ценности изымать, и одновременно приступили к операции. Никакого сопротивления они



не встречали, ибо застали священнослужителей и местные власти врасплох. Реквизировали не только золотые и серебряные изделия; был приказ, например, изымать все имеющиеся ритуальные чаши и сосуды, в том числе бронзовые, медные и даже оловянные. Это не считая прочей церковной утвари, окладов икон и книг, имеющих историческую и художественную ценность.

Перепуганные насмерть, поднятые из постелей старосты и дьяконы, не понимая еще, что происходит, сами выдавали требуемое, а если кто упрямылся, применяли допрос с пристрастием. Однако в некоторых храмах уже была милицейская охрана, выставленная по приказу Троицкого. Она тоже ничего не понимала, пропуская чекистов с мандатами, и только в Нижнем случилась перестрелка, поскольку милиционеры приняли тройку ООНа за грабителей, но потом разобрались. За ночь и последующий день отряд успел снять сливки в трех крупных городах и незаметно исчезнуть по заранее намеченным маршрутам вместе с реквизированными драгоценностями.

Отряды Троицкого начали операцию на сутки позже, и не сказать, что пришли к шапочному разбору. Церкви накопили огромное количество драгоценных предметов, стоимость которых исчислялась в миллиардах золотых рублей, поэтому изъятие продолжалось несколько месяцев по всей стране. А параллельно с ним — массовое закрытие храмов, монастырей и аресты священников, которые пытались поднять прихожан на бунт либо прятали сокровища.

Троицкий получил головную боль и ореол кровавого палача во всех церквях, поскольку изъятие производилось не только в православных храмах, но и в костелах, мечетях и синагогах. Говорят, председатель Реввоенсовета рвал и метал, узнав, что Переплетчик его опередил всего на сутки и собрал будто бы самое ценное, однако сделать уже ничего не мог, даже пожаловаться Ленину, поскольку ОГПУ было задействовано в операции на законных основаниях. Только вот о существовании подготовленного и правильно сориентированного ООНа Троицкий узнал много позже, самоуверенно полагая, что он держит конкурентов под контролем.

Отряд, как и предсказывал Эдгар, тотчас же расформировали, как только реквизированные ценности доставили в Ростокино и поместили в специальное хранилище. В штабе остались Станкевич, Веберс и два латышских стрелка, исполнявшие обязанности охраны, а еще автомобиль и броневик, ощерившийся пулеметами у входа в подвалы усадьбы. Переплетчик все же опасался нападения и в течение полутора месяцев напряженного ожидания дважды менял дислокацию штаба и хранилища. Оставшиеся ооновцы сами грузили ценности в машину и броневик, после чего под покровом ночи окольными путями переезжали к новому месту дислокации. Последним пристанищем остатков отряда и его добычи стал бронированный железнодорожный вагон, стоящий в тупике подмосковной товарной станции.



И опять Станкевич сатанел от тупости существования и своей службы, оставаясь в неведении, что же будет дальше. Он составлял подробную опись изъятого, рассматривал церковные сосуды, оклады и книги, оставаясь совершенно равнодушным к сокровищам. Уж лучше бы люди Троицкого напали на вагон и была возможность активного действия! Был приказ не подпускать никого на выстрел и держать оборону до подхода подкрепления, кто бы ни напал. Кроме телефонной связи придумали даже систему оповещения о нападении: в наверху отопительной трубы вагона закрепили гранату, которую можно было взорвать и тем самым подать сигнал неким дежурным, находящимся в отдалении.

Говорили, Троицкий лихорадочно ищет изъятые ООНом сокровища, его агенты переворачивают столицу и пригороды, но перехитрить мудрого Переплетчика еще никому не удавалось. Нападений не случилось, и единственной отрадой оставалась конфискованная где-то виолончель, доставленная ему в вагон специальным порученцем. Тогда он от великого безделья и начал сочинять музыку. Первая неоконченная симфония у него называлась по тем временам выпрэнно, однако соответствовала реальности звуков, которые он слышал в последнее время — «Звон храмовых чаш».

Наконец через спецнарконого его вызвал к себе Переплетчик, обязав захватить с собой опись. Показалось, он давно уже забыл об операции, которая столько времени готовилась, а теперь спохватился и делал все походя. Тут же, у себя в кабинете, читая опись изъятого, разделил сокровища на три части — две малых, по четверти, и одну большую, половинную, в которой оказалась вся церковная посуда и кое-какая утварь. Обязал Станкевича одну малую завтра же официально сдать в Гохран, остальное передать ему лично и повторил фразы, которые уже произносил однажды:

— Ты исполнил свою миссию, брат. Больше вряд ли чем поможешь... Поэтому пойдешь учиться в консерваторию!

Удалился в комнату отдыха и вынес виолончель — ту самую, дорогую, что была продана Августой варшавскому музыканту! Переплетчик умел делать подарки и награждать тоже умел. Станислав даже не стал спрашивать, каким образом удалось выручить инструмент из плена, и тут же, подстроив его, проиграл отрывок из собственной неоконченной симфонии. Брат почти его не слушал, куда-то спешил, однако при этом уловил суть, поскольку, прощаясь, сказал:

— Так звучат золотые чаши. — И, вдруг засмеявшись, добавил: — А может, вовсе и не золотые. На пиру у Сатаны!

Станкевич вернулся в вагон, чтобы исполнить поручение Переплетчика, и обнаружил в бронированном хранилище лишь ту часть сокровищ, которая была отпущена Гохрану. Всего остального уже не было, и он, обрадованный, что службе конец и впереди музыкальное будущее, даже попытаться у Эдгара не стал, куда вывезли все остальное. Да и вряд ли приехавшие за ценностями люди Переплетчика об этом Веберсу сказали.



Станислав распрошлся с латышским стрелком, сдал в Гохран ценности и с облегченной, крылатой душой отправился в консерваторию, где его уже ждали и устроили чисто формальный экзамен. Однако профессор, выслушав его игру, всерьез заинтересовался Станкевичем и, как некогда расстрелянный учитель Вацлав, пообещал ему великое музыкальное будущее. Станислав был почти счастлив и хотел поделиться с братом, но выяснилось, что Переплетчик выехал за рубеж и там пропал на целых два месяца — будто бы находился со своей семьей, которая жила за границей.

Тогда он не придал этому значения, ибо снова увлекся музыкой и наконец-то зримо увидел конечную цель. Еще будучи в охране Переплетчика, Станислав получил отдельную квартиру на Поварской, которая все это время стояла пустой, а он мотался по конспиративным. И вот принес туда возвращенный инструмент и обжил чужие стены, напитав их музыкой. Вольноотпущенный, порвать с ОГПУ он при всем желании не мог, поскольку был на содержании Политуправления и Эдгар строго раз в месяц привозил ему деньги и даже продукты — пайку комсостава: в Москве все еще было голодно. И, всезнающий, попутно рассказывал последние новости.

А спустя несколько месяцев к нему среди ночи заглянул сам Переплетчик, переодетый в гражданское и почти неузнаваемый. И заявил Станкевичу, что отныне он секретный хранитель ценной закладки, которая находится в одном из самых надежных банков Германии, что все действия по ее применению он будет получать от людей-инструкторов, которые его в нужный момент сами найдут и вручат соответствующий пакет с подробными инструкциями либо передадут их устно. При этом предупредил, что могут пройти годы, прежде чем эти люди объявятся, и что они могут быть самого неожиданного вида: иностранцы, священнослужители, артисты или вовсе невзрачные на вид бродяги. Однако в экстренных случаях он может сам обратиться к инструкторам, назвав пароль, и получить руководство к действию.

Столь мудреная конспирация вызвала у него тогда приступ несколько грустной веселости: увлеченный учебой в консерватории, он относился к прошлому, как остепенившийся, отягощенный семейными заботами бывший уличный хулиган. Память о службе в ОГПУ как-то стремительно отмирала, отторгаемая творчеством, и все, что было прежде, уже, казалось, было не с ним. Однако при этом каждый месяц прошлое напоминало о своем существовании и присылало латышского стрелка с нескончаемым выходным пособием, которое позволяло ему безбедно жить и учиться.

Первый сигнал возможной опасности он получил от Эдгара, когда тот между прочим сообщил, что погиб бывший командир тройки Шуберт. Чекист без всякой видимой причины покончил жизнь самоубийством, причем не застрелившись, как это делают люди с оружием и характером, а бросившись с моста в реку, будто бы на глазах у прохожих.



Станкевич слишком хорошо знал жизнерадостного недоученного студента, чтобы поверить в такую версию гибели. Шуберт мечтал не о музыке — о геологических экспедициях в Якутию, где он предполагал несметное количество ископаемого золота, начитавшись какой-то литературы по теории происхождения драгметаллов. Он искренне хотел своими открытиями осчастливить молодую советскую республику.

Вторым сигналом стала смерть еще одного ооновца — татарина Абашева, который, будучи в крымской командировке, угнал где-то мотобот и попытался уйти в Турцию. Будто бы следствие установило, что он раскаивался за службу в каком-то отряде, сослуживцы заметили, начал тайно молиться своему богу и якобы хотел в Турции поступить учиться в мусульманское духовное училище. Но не доплыл и был убит в перестрелке с морской погранслужбой. Станкевич тогда еще сомневался, однако в случайность уже не верил. И когда Эдгар сообщил, что китайский товарищ Ли Суй, отправленный в Туркестан, погиб от ножа в драке со своими же солдатами, стало понятно, что ООН истребляют, дабы не оставлять свидетелей.

У Станислава была индульгенция — обязанность секретного хранителя банковской закладки, но в тот момент и она показалась защитой хлипкой, если ОГПУ чистит свои ряды не само, а кто-то другой, со стороны. Кто-то вырывает еще не прошитые, не переплетенные листы книги, дабы скрыть подлинную историю. Например, Троцкий либо даже Петерс, поскольку Эдгар живет и служит совершенно безбоязненно и бесстрашно, как и прежде, и однажды сообщил, что третья малая доля от реквизированных ценностей передана его покровителю.

После гибели китайца Станкевич явился со своими соображениями к товарищу Переплетчику, как всегда открыто их изложив. И тут услышал то, что никак не ожидал услышать от своего брата.

— Никакой чистки не производится, — заявил он как-то самоуглубленно, словно решал для себя сложную внутреннюю задачу. — Такое ощущение, будто на командиров и бойцов ООН наложили проклятье. Порчу навели. Или наказание божье.

И рассказал то, чего не знал даже латышский стрелок. Оказывается, их соотечественник Ежи Мазуревич, вернувшись в свой Нижний, запил горькую, после чего сбежал в Великий Устюг, там принял православие, сразу же монашеское пострижение и обет молчания. Отправленные же в Туркестан вместе с Петерсом рядовые бойцы отряда почти все погибли от рук бандитов, причем не от пуль — смертью лютой, как будто басмачи знали, с кем имеют дело. Кому-то отрезали голову, кому-то вспороли брюхо и оставили умирать в пустыне, а кого-то закопали живьем в песок.

Перед роспуском ООН все бойцы были тщательно проинструктированы, получили легенды прикрытия, где служили и чем занимались, особо предупреждены о соблюдении собственной безопасности, однако жили словно зачарованные. Беззаботно гуляли по ночам в кишлаках, си-



дели в чайханах с местным населением и даже участвовали в агитационной театральной самодеятельности: все погибшие в Туркестане ооновцы были похищены и потом умерщвлены.

Переpletчик тем самым не настрашал — еще раз предупредил об осторожности и посоветовал забыть об отряде вообще. Не вспоминать ни событий, ни людей, ни даже мест дислокации, дабы освободить память от навязчивых мыслей. Убедить себя, что никакого отряда не было и реквизиции ценностей в храмах тоже. Все это проделал Троцкий, и вся ответственность, в том числе и перед Богом, лежит на нем.

О существовании Бога Станкевич услышал от Переpletчика впервые и вспомнил, кем он мечтал стать в юности. Слова несостоявшегося ксендза утихомирили разгулявшуюся было фантазию о тайной чистке, поскольку невозможно укрыться от своих. Но от прочих сил уберечься было можно, последовав советам брата. Сейчас бы это назвали аутотренингом, а тогда он просто твердил себе, что ООН не существовало, предавался полностью учебе и музыке, которая напрочь лишала его действительности. Он даже на Эдгара стал смотреть как на чужого, не сразу вспоминая, кто пришел и что принес. Однако вместе с тем со Станиславом начали происходить вещи странные, которые сначала заметил профессор, послушав однажды его игру на виолончели.

— Вам следует заменить инструмент, — после долгого молчания вынес он приговор. — Неужели не слышите, у него пропал голос, звучание! Вы что, уронили его? Намочили в воде?

— Не ронял и не мочил, — ошеломленно произнес студент.

— Но играете как скоморох на стиральной доске!

А ему чудилось, будто драгоценная, выреченная из плена виолончель играет превосходно! Он даже готов был поспорить, доказать обратное, и стал играть неоконченную симфонию собственного сочинения «Звон храмовых чаш». Профессор выслушал сам, затем пригласил коллег и заставил играть еще. Станиславу показалось, он привел людей, чтобы погордиться успехами ученика, возможно, похвастаться, однако консилуум после исполнения так же надолго замолчал.

— Что с вами случилось, юноша? — заботливо спросили консерваторские мэтры, помня его прежнюю игру.

Один же взял виолончель, произвел несколько движений смычком, извлекая звуки, и поставил диагноз:

— Ваш инструмент умер. Это немудрено, молодой человек. В мире, где вместе обитают живые и мертвые, умирает все.

— Вчера опять на Сушевском валу видели покойников, — вдруг встрял другой. — Стрельцов с алебардами. У всех отрубленные головы под мышками. Вероятно, жертвы Петра...

Профессор брезгливо замахал руками:

— Полно! Вы опять о мертвецах! Давайте говорить о жизни!

— Как говорить о жизни, если все мертвеет? Причем на наших глазах!

Станкевич тогда ничего не понял и рассказу о мертвых стрельцах не внял, ибо взирал на свою виолончель как на покойника.

— Если он вам дорог, юноша, повесьте на стену, — посоветовали мэтры. — Или поставьте в угол. И вечная ему память... А нет — снесите на толкучку. За старого поляка можно получить немного денег. Но не показывайте товар лицом. Сошлитесь на неумение...

Тут же принесли другой инструмент и предложили сыграть на нем. Станислав сыграл, храмовые чаши зазвенели и сорвали аплодисменты.

Виолончель он продавать не понес, поставил в угол, где стоял прикрытый тряпкой, заряженный и всегда готовый к бою ручной пулемет, выданный ему для собственной защиты. Однако эти два предмета вместе стали напоминать ему об ООНе, и пришлось их разъединить, расставив в разные углы.

Жалованья от ОГПУ ему хватило, чтобы приобрести другую виолончель: музыкальные инструменты тогда тащили на толкучки в избытке, за малую цену купить можно было все что угодно, на любой вкус и любого мастера. Молодая советская республика тогда не особенно-то нуждалась в старорежимной музыке, и казалось, ей вообще приходит конец. Люди пытались избавиться от громоздких бесполезных вещей, захламляющих тесные, уплотненные квартирки. Он долго выбирал, пробуя голоса, и взял отреставрированный инструмент Антонио Страдивари, для тех времен вовсе не диковину: вместе с виолончелью продавали еще и скрипку с набором родных смычков, но не хватило денег.

Новый инструмент радовал его и слух профессуры около месяца, но на сей раз что-то стало происходить с руками, точнее ладонями. Было полное ощущение, что ему ночью, во время сна, забивают гвозди. Сначала вколачивали маленькие, колкие, словно иглы, и он даже слышал стук молотка, но приглушенный. Так на складах мясных лавок приколачивают деревянными гвоздями куски мяса, чтобы остудить, выдержать до мясной зрелости. Эти гвозди были железными и становились все крупнее, пока не превратились в железнодорожные костыли, не позволяющие пальцам держать смычок и струны. Точнее, держать можно — играть нельзя, мешают.

Через месяц этих странных ощущений во сне профессор послушал игру Станкевича, вероятно, не поверил своим ушам, сел к виолончели и сыграл сам — инструмент звучал безукоризненно.

— Может быть, вам следует купить новые руки? — уже сердито спросил он. — Или уши?

Он вел себя так вольно лишь потому, что не знал ничего из прошлого Станислава: ОГПУ в консерватории боялись как огня. Вероятно, профессор уловил взор пламенного чекиста и слегка поправился:

— Помилуйте, молодой человек! Надо заниматься больше музыкой. Играть днем и ночью не с девицами, не в карты и кости, а на инструменте! Год назад вы играли лучше, чем сейчас! Вы живой или покойник?



Станкевич ничего не мог сказать о гвоздях в ладонях, о том, что он живет с ощущением распятого на кресте, не может от этого избавиться и сказать вслух не может, отчего это происходит. Его положение становилось тупиковым, безвыходным: можно было легко переубедить себя, что ООН не существовало в природе, но подделать что-либо с физическим недостатком рук, с приключившейся болезнью оказалось невозможно! Если раньше раны от гвоздей ощущались, когда он подходил к инструменту и брал смычок, то теперь они ныли круглыми сутками. Все жалование он тратил на платных лекарей, дорогие лекарства от подагры, мази, примочки, но лишь усугублял страдания.

А внешне на ладонях не было даже признаков болезни!

Станислав потерял сон, лежал с открытыми глазами, бродил по квартире, пробовал играть и спал иногда только в полусидячем положении, разбросав руки по спинке дивана: так боль раздвигалась и ныла каждая рука по отдельности, а это казалось терпимым.

И вот однажды, в утренней усталой полудреме, он подсмотрел, кто их вколачивает! Едва он полузакрыв тяжелые веки, как услышал шорох в углу, где стояла умершая виолончель, покрытая сверху серым, пропылившимся саваном. Постоянная жизнь в напряженном ожидании возможного покушения отслоила от общего сознания и держала в уединении мысль о защите. Автономная и почти неуправляемая, мысль эта потянулась в другой угол, за пулеметом, но рука за ней не поспела.

Край савана отвернулся, и на свет вышла Гутя в деревенском холстяном платье, но с молотком и двумя самоковными гвоздями: один она, как плотник, держала в зубах, другой в руке. Глаза ее были закрыты, из проваленного носа торчал пучок шерсти, и двигалась тетя, как лунатик по карнизу крыши, щупая пространство ногами. Она подкралась к дивану и в тот миг, когда Станислав хотел крикнуть и схватить ее, вдруг вскинула веки. И он обомлел, обмер! Голос замерз сосулькой и застрял, едва высунувшись изо рта, а мышцы ослабли, и тело потеряло чувствительность. Не сводя с него глаз, Августа мастерски вколотила ему гвозди в ладони, пришили таким образом к дивану.

— Теперь играть буду я, а ты слушай!

А сама выволокла труп виолончели на середину комнаты, села и принялась издавать жуткую какофонию! Какой-то обвал отвратительных скрипучих, шаркающих и скобящих звуков, как если бы чистили сковороду, огромный жестяной противень или выдирали ржавые гвозди. У Станислава от такой игры выворачивало душу, хотелось зажать уши, спрятаться, убежать, но руки прибиты намертво!

— Хватит! — беспомощно попросил он. — Перестань играть...

— Слушай! — засмеялась Августа. — Это твоя неоконченная симфония «Звон храмовых чаш». Хотел узнать, кто забивает гвозди, подглядел за мной сквозь щель — слушай!

И тут условно зазвонил ручной звонок двери: пришел единственный человек, который приходил к нему регулярно и рано утром, пока в



доме все спят, — Эдгар. Значит, начинался «день чекиста», когда приносили жалованье. Гутя услышала, вырвала гвозди из ладоней и исчезла в углу, откуда появилась, но на полу остался ее молоток и инструмент посередине комнаты! А еще нестерпимая боль в ладонях. Станислав, однако же, облегченно открыл дверь и вместо латыша увидел немца Зигмунда Шуберта! Смутился от неожиданности, забыл о его самоубийстве, поэтому разочарованно спросил, где стрелок Веберс.

— Уехал в командировку! — радостно сообщил тот, вручая деньги и продуктовый набор в честь Первого мая. — Теперь я буду приносить жалованье.

Зигмунд всегда говорил с акцентом, а тут и вовсе коверкал слова. Энергичный и подвижный не в пример латышу, он как всегда спешил и забыл дать ведомость, чтобы расписаться в получении. Посыльный замешкался, охлопал карманы и засмеялся:

— Вспомнил! Теперь расписываться не надо, — и вынул жестяную табличку, которые обычно крепят к могильным тумбам, но без надписи. — Оставь отпечаток указательного пальца.

— Отпечаток? — слабо удивился Станкевич.

— Дактилоскопический оттиск, — поправился Зигмунд. — Новые порядки для тех, кого перевели в секретные сотрудники...

Станислав приложил палец к жестянке, Шуберт спрятал ее в карман и уже взялся за ручку двери, занес ногу на порог, но что-то почуял или заметил.

— У тебя все хорошо? — спросил настороженно и глянул на молоток возле дивана.

— Да, все в порядке, — отмахнулся Станкевич и выдал то, что первое пришло в голову: — Занимаюсь ремонтом, заколачиваю гвозди.

— А мне показалось, ты играл на виолончели. Я услышал божественную музыку, через дверь. И даже остановился...

— Тебе показалось...

— Да я что, глухой? Ты же играл неоконченную симфонию «Звон храмовых чаш».

Об этой симфонии он знать не должен был, но отреагировать Станкевич не успел.

— Давно не проветривал квартиру. — Зигмунд потянул носом. — Покойником пахнет! Говорят, по Москве днем и ночью теперь ходят покойники.

— Погоди! — опомнился Станислав. — Ты ведь тоже покойник...

Шуберт жизнерадостно рассмеялся:

— Как видишь, жив и здоров! Перевели в другую службу, сочинили легенду. Меня зовут теперь... Впрочем, мое имя тебе знать не обязательно.

И ушел.

Все это видение можно было бы отнести к бреду воспаленного бессонницей сознания. Мертвый инструмент он мог вытащить сам, но как



объяснить появление молотка?! Даже появление Шуберта можно понять: чекистов изредка переводили в разведку, сочиняли легенду, даже демонстративно хоронили и за пустой могилой ухаживали. А он природный немец из Лотарингии, занесенный в Россию ветром революции, могли отправить назад под новым именем. Там провалился, вернули, и вот теперь вместо латыша разносит жалованье и продуктовые пайки, раз не выдержал испытания нелегала.

Но молоток?! В квартире, кроме музыкальных, не было вообще никаких инструментов, и если приходилось заколачивать гвозди, то он делал это чугушной гранатой, предварительно выкрутив запал.

Виолончель он вернул в свой угол, но саваном покрывать не стал, чтоб там невозможно было спрятаться. А к молотку долго не мог прикоснуться и рассматривал его на полу, двигая ногой: обыкновенный, побывавший в работе, с серой, захватанной рукоятью и изрядно побитым клювом...

Тут ему впервые пришла мысль попросить товарища Переплетчика, чтобы дал путевку в санаторий ОГПУ, где сотрудники отдыхали и лечили нервы. Причем решил сделать это не откладывая, задвинул молоток под диван и стал собираться.

Но в это время в дверь опять условно позвонили, и Станкевич определил: Переплетчик явился сам...

9.

В течение двух дней внуку сделали две экспертизы ДНК. Одну в закрытой клинике, где любое вмешательство извне было исключено, другую по договоренности Екатерины в американском посольстве, где в банке данных хранились образцы ДНК бывшего эмигранта. И обе почти на сто процентов подтвердили кровное родство Ворожея и Станкевича. Черных вдов это не разочаровало, напротив, вдохновило: они как-то сразу поверили, что первый внук, Левченко, и в самом деле подослан спецслужбами, где могут состряпать любую бумагу, в том числе экспертизу, и ввести в заблуждение даже такого опытного человека, как Патриарх. Это было нетрудно — сказывался возраст и пошатнувшееся в последнее время положение. Поэтому на появление внука сразу откликнулся, поверил и начал с ним тайно встречаться.

Теперь надо было разработать линию поведения. Решить, каким образом дело обставить так, чтобы видящий на три метра под землю внук ведьмы Ворожей не сам занялся оформлением прав на завещанное наследство, а доверил черным вдовам. Несмотря на свою лесную жизнь и внешнюю простоватость, он оказался цепким на все новое, схватывал на лету принцип любого, юридически тонкого и сложного мероприятия и уже был готов отправиться во Франкфурт-на-Майне, чтобы предъявить свои права на банковскую закладку. А согласно завещанию, сделать это он мог в любой момент, предъявив доказательства в виде кодов и мудре-

ных шифров, вымаранных в копиях. Стать полноправным распорядителем и под залог ценностей брать любые кредиты либо вынуть какую-то часть закладки, преспокойно продать с аукциона и получить еще больше. Однако он и сам еще толком не знал, какие конкретно драгоценные предметы хранятся в банковских ячейках и сколько все это стоит. Но, войдя в права, мог легко потребовать полный отчет банка по каждой единице хранения.

Сейчас пока он мог даже не ездить в Германию, а обратиться в московский филиал Дойче банка, получить все необходимые справки и завтра же приступить к оформлению наследства. Отпускать его из своих объятий и оставлять без призора не следовало даже на несколько часов: мало ли что взбредет в его темную и одновременно ясновидящую голову? Узрит подвох — и поминай как звали!

Вдовы решили дежурить возле него по очереди, отвлекать, забавлять разговорами и лихорадочно искали подходы. Лесничий Ворожей между прочим как-то сам обронил, что приворовывал государственный лес, продавая лесобилеты на порубку за литр водки. Однако спиртного на дух не переносил и, когда между экспертизами зашли пообедать в ресторанчик и вдовы заказали себе вина, прочитал целую лекцию о вреде алкоголя и пользе здорового образа жизни. Посмотришь — совок совком, конченый халдей, а рот откроет — профессор. А еще хуже, когда косить перестанет и смотрит на тебя прямо, в упор: лучше тогда все свои мысли спрятать, затушевать их, вымарать, как номера банковских ячеек в завещании. К женщинам он тоже относился скептически, и подсунуть ему какую-нибудь офисную кралю, чтоб отвлекла на несколько дней, тоже было почти невозможно.

Случись это полвека назад, Елена Прекрасная сама бы обольстила лесничего и таких чар навела, что проснулся бы через полгода без штанов, но время ушло. Внук и на молодых красавиц-то смотрел как на мыльные пузыри и все больше не нагел, а хамел: сначала попросил позволения называть черных вдов бабушками, дескать, по возрасту подходите, а мне по-деревенски привычнее, и, не получив позволения, все равно стал звать уже не ласково бабушками — бабками. Потом и вовсе засмеялся, хлопнул себя по лбу:

— Ба! Вспомнил! Вас же дед звал бабами Ягами? Ну а я стану кликать бабками Ёжками. Вы уж не обижайтесь, но вы такие забавные, честное слово! Прямо сказочные! Вам еще платки с рогами на головы да в пыльные драные юбки обрядить — хоть в кино снимай!

Высокие государственные чины перед ними прогибались и заискивали, дабы заслужить доверие, дабы во влиятельных западных кругах политиков за них замолвили слово; известные на весь мир журналисты в очереди стояли на интервью, готовые писать целые толкования к их коротким фразам. А тут явился хрен моржовый из лесу и помыкает правозащитницами, как хочет! И они вынуждены терпеть такое хамство! Поскольку лихорадочно искали средство, чтобы укротить дикий нрав лесничего, и пока не находили.



Он же чуял эту свою незримую власть над ними и еще сильнее хамел. Когда с анализами и экспертизами было покончено и сомнений не оставалось, что перед ними истинный внук Патриарха, он вдруг содрал с себя непривычный галстук и пиджак. Шмякнул все на пол и достал из сумки тощую пачечку мелких денег.

— А не отметить ли нам это событие? Я ведь тоже сомневался, вдруг не внук, только похож? Вдруг люди наврали и зря обнадежили?.. Цыган я люблю! В них есть еще стихия духа, хотя они прохиндеи и наркодельцы. Травят, суки, народ. Но вот люблю! Особенно цыганок. Эх, какие они горячие! Кино «Табор уходит в небо» смотрели? Вот! Там, правда, молдаванка снимается, но здорово!.. Где снять кабака с цыганами?

Черные вдовы не знали, где снимают кабаки с цыганами, но быстренько навели справки и нашли нужных людей. А к его пачечке денег тайно добавили еще сорок раз по столько: внук вообще не разбирался в столичных ценах. Затем по требованию внука наняли «кадиллак», который обычно свадьбы возит, и отправились по Ленинградскому шоссе в ближнее Подмосковье. Там свои люди обставили встречу как надо, с рюмкой и песнями «К нам приехал, к нам приехал...», потом «Пей до дна!», чтобы взять его на короткий поводок. Внук сделал вид, что выпил, многие будто видели возле его рта фужер с водкой, однако в последний момент, скорее всего, схитрил, выплеснул содержимое за свое плечо. Елена Прекрасная стояла позади, и на нее попали брызги, причем в накрашенные глаза — даже защищало. Возможно, выпил не все, только пригубил, но главное было начало положить, потом сам запросит.

В общем, приложился слегка и пошел танцевать с цыганками! Что только не выделывал: у матерых цыган из ансамбля «Ромалы» глаза на лоб лезли. Змей-искуситель в пляске, а не лесничий! Обе черные вдовы, чтобы еще пуще раззадорить, тоже в круг выходили, испытывая невероятный позор, но скоро притомились, годы не те, да и не пристало им танцевать пошлую цыганщину. Вышли-то, чтоб раззадорить внука, и запыхались, ноги подкашивались, перед глазами яркими шаями круги заплясали.

Среди танцовщиц и певуний цыганок как таковых не было, все больше хохлуши, молдаванки и еврейки, однако все предупреждены были: на которую глаз положит, не отказывать, исполнить всякую его волю. Главное, задержать его в загульном состоянии хотя бы на двое-трое суток, за каждый день сверх нормы — отдельная плата. Черным вдовам требовалось время на консультации, возможное привлечение нужных людей, подготовку адвокатами доверенности, которую можно подсунуть ему на подпись. В присутствии всевидящего внука ничего этого не сделать! Но и глаз спускать нельзя, чтобы не проявлял излишней инициативы.

Пока внук плясал с цыганками, вдовы посоветались и решили: лесничий — излеченный алкоголик! По манере поведения все точно: нравоу-

чения, лекции, здоровый образ жизни, а чуть попадет за воротник — не удержишь. С такими уже встречались...

На одну цыганку внук сразу глаз положил, натанцевался в кругу, напелся их песен и, несмотря на ранний час, поволок в заранее приготовленный домик на отшибе у кабацкой усадьбы. Бабки Ёжки лишней раз убедились в своей догадке — алкоголик в прошлом и бабник еще! А избушка хоть и была на курьих ножках в прямом смысле, но доверху заряженная едой и напитками — месяц любой бы москвич оттуда не выходил. Черные вдовы первый раз с боязливым облегчением вздохнули: орел сидел в клетке! И надо было начинать действовать.

Вызвали в срочном порядке своих адвокатов, офисных служащих, сняли номер в кабацком отеле и принялись составлять текст доверенности. Мозги себе к вечеру вывернули — не получается такой, чтобы позволяла все и со всеми последствиями. А Дойче банк — организация серьезная, малейший прокол — и документ даже к рассмотрению не примет. Колебались долго и все же вечером сняли с судебного процесса и вызвали к себе Генриха, адвоката, одно имя коего навевало страх на самых принципиальных судей. Где Генрих, знали они, там истина, там воля или, наоборот, неволя государства. Иначе пойдет отраженная волна цунами и всех сомневающихся в истинности адвокатских суждений поднимет в обратном порядке, как поднимается вода в забитом унитазе.

Перед приездом Генриха послали одну цыганку, то бишь хохлушу, в разведку, спросить, не надо ли чего. А заодно посмотреть на состояние Ворожея и его избранницы, дабы определить, когда можно нести доверенность на подпись. Вдовствующая императрица сама проинструктировала прелестную танцовщицу и пустила, как опытные кинологи пускают собаку по следу. Девица приблизилась к избушке, постучала и, не дождавшись ответа, вошла. Вошла и канула бесследно, даже не подав знака, и Елена Прекрасная сразу поняла: внук в ударе и оставил разведчицу себе, ибо в этом случае у конченных развратников третий не лишней, третий — запасной.

Так ясновидящий Ворожей попался на том, на чем попадались все мужчины без исключения. Генрих приехал с опозданием, быстро вошел в курс дела и сочинил доверенность, которую примет любой банк Европы. Если бы назвали ему истинную сумму вопроса, он бы выкупил кабак и не уехал никогда, но черные вдовы подготовились к приезду и озвучили цифру, в миллион раз меньшую. И то он что-то почуял, завертел носом, но, более ничего не вынюхав, исполнил свои обязанности, получил наличными и раскланялся с многозначительными пожеланиями успеха, чем заставил вдов насторожиться.

Поздно ночью Елена Прекрасная сама вызвалась узнать, что происходит в избушке, но, соразмерив возможности, отказалась от затеи, поскольку оттуда обрывками доносились визжащие женские голоса, стоны и звон битой посуды. Выпивший и развратный внук мог вполне оставить у себя и черную вдову — для разнообразия ощущений. Извращенцы не-



предсказуемы, их маниакальные фантазии не имеют границ. Жалели, что избушка не оборудована видеоаппаратурой, но теперь ее уже не поставишь.

Черные вдовы переночевали в гостиничных номерах кабака, позавтракали, дали возможность двум засланным цыганкам развеселить внука и ближе к обеду послали третью, дабы уточнить сроки подачи доверенности на подпись. Жительница из города Бельцы постучалась, вошла и скоро вышла, почему-то призывно и даже панически размахивая руками. А по условиям должна была лишь спустить с плеч кашемировую шаль, чтобы знак подать.

Прибежавшие черные вдовы обнаружили голых цыганок, спящих друг у друга в объятьях. Внука не было и следов пьяного разгула тоже: ничего не съедено, не выпито, не разбито, но девицы в изнеможении и не могут проснуться. Когда их добудились и потребовали объяснений, цыганки ничего толком сказать не могли и ужасно стыдились своего вида и состояния, поскольку, имея правильную ориентацию, никогда не были замечены в лесбиянстве. Кое-как удалось допытаться, что внук исчез еще вчера и с первой цыганкой только пил кофе и читал наизусть «Челкаша» Максима Горького. Когда пришла вторая цыганка, он как-то странно посмотрел на них, свел глаза и словно лишил девушек разума и сознания. Гастарбайтерш тут же уволили из ансамбля, после чего гордые цыгане «Ромалы» сели в микроавтобус и уехали.

Дабы привязать внука к своей квартире, Елена Прекрасная отдала ему запасной комплект ключей, поэтому черные вдовы застали его дома, в окружении сразу трех служащих Дойче банка, о чем свидетельствовали золотые вышивки на офисных пиджаках и манеры поведения. Внук при появлении черных вдов не изронил ни слова о делах, мгновенно свернул совещание, и служащие удалились. Сказал только, что проводил консультации с банком, и тут же спохватился и всплеснул руками:

— Что же вы так рано приехали? Погуляли бы еще, порезвились, бабки Ёжки! Для вас же старался, чтоб отдохнули. И так от дел отвлекаю... Но ничего, с завтрашнего дня открываю офисное помещение возле Дойче банка. Там вывеску должны поставить и деревянные двери заменить на сейфовые, только из бронированного стекла. Туда и переберусь, сниму обузу с вас...

Черные вдовы не знали, что и ответить. Но на удивление скоро нашлась Елена Прекрасная:

— Вы можете жить у меня сколько угодно!

— Ну нет, обременять вас, — скромно замялся внук. — Ко мне станут ходить люди, много людей. А как и где стану хранить ценности и документы? Нет, под офис взял отдельный особнячок, поставлю надежную охрану...

Отпускать его было нельзя!

— Тогда в квартире Патриарха! — осенило Екатерину. — То есть вашего деда! У меня есть ключи, а дверь не опечатана... Там будет удобно! Как-то мы сразу не догадались... Жить в офисе очень неудобно!

— Да мне везде удобно! Меня каждый кустик ночевать пустит.

— Нет, вы обязаны поселиться у родного деда! — заявила вдовствующая. — Это весьма символично и справедливо!

— И у деда не могу, — заупрямился тот. — Это будет квартира-музей. Станут водить экскурсии. У меня весьма заслуженный дед. Он даже в ООНе служил... Разве можно жить в музее?

Черным вдовам предложить было нечего, а Ворожей устало потянулось, зевнул, хотя солнце только клонилось к закату.

— Сутки на ногах, спать пора! Пристал я, бабки. Делянки в лесу отводить легче. Наследство — такая канитель... Кто-нибудь из вас умеет делать массаж шеи? Легкий, ненавязчивый?

Ошалевшие черные вдовы все еще таращили глаза. Внук стащил с себя деловой пиджак.

— Чему вас только учили? В университетах... Эх, потерянное поколение!

И уплелся в гостевую комнату отдыхать.

Внук, будто уж, ускользал из рук, и надо было принимать кардинальные меры! Паники у черных вдов еще не было, но и готового, приемлемого решения не находилось. Требовались срочные консультации с сильными мира сего, причем говорить уже надо было открытым текстом, жертвуя частью наследства Патриарха. Черные вдовы посоветовались в ванной комнате и остановились на том, чтобы с утра вдовствующей императрице ехать к Генеральному прокурору. И сначала надавить на него, что слабо ведется розыск похищенного старца, пригрозить прессой и в зависимости от реакции действовать дальше. Или в открытую помощи попросить, чтоб посодействовал Фонду, или только рассказать про внука, наследство, завещание и обсудить возможные выходы из положения.

Первую газету с собственными фотографиями Екатерина увидела у водителя-частника. Обе черные вдовы танцевали с цыганками! Причем все крупным планом, с деталями и наводящим вопросом — куда уходят деньги Фонда защиты прав человека? На отдельном снимке — фотокопия ресторанный счет в долларах с четырьмя нулями...

Ведь предупреждали своих людей, чтоб позаботились о безопасности, чтоб никаких журналистов и папарацци близко не подпускали! Хорошо, бомбила попался невнимательный, не узнал и довез до Генеральной без лишних вопросов. Вторую газету вдовствующая увидела в киоске, на самом видном месте: опять фоторепортаж, танцы с цыганками, и хоть бы на одном снимке попался внук. Будто его и не было в кабаке! Рядом с черными вдовами, наряженными в белые костюмы, плясал сам руководитель ансамбля «Ромалы» — то ли грек, то ли гагауз. А на месте, где в то время отбивал подошвы лесничий, цыганская шаль.

И тогда голову Екатерины ожгла зловеющая мысль, которую она произнесла вслух:

— Это война.



Кто-то узнал о замыслах черных вдов относительно наследства Патриарха и теперь старательно топит Фонд. Пресса была желтой, но это еще хуже, поскольку сумасшедший народ давно был сбит с толку, больше читал цветных, красочных газет, думая, что это газеты, как некогда была «Правда». Ноги вдовствующей не подкосились, не дрогнули — напротив, обрели жесткую поступь, когда она шла коридорами к Генеральному. Тот уже посмотрел газеты и даже не спрятал их, оставив у себя на столе.

— Мои эксперты проверили, — сразу пояснил он. — Это не фотомонтаж. Снимки натуральные. И как вы так могли подставиться, многоуважаемая?.. Что делать? Свобода слова и печати, за которые вы ратовали.

Было чувство, что он беседует сам с собой, точнее, проговаривает речь, готовясь к встрече с вдовствующей. И ничуть ее не боится!

— Ну ладно выйти плясать в театре, — продолжал размышлять Генеральный. — Даже на площади, с народом... А то в кабаке, с цыганами! За которыми дурная слава... Так что ничем помочь не могу! Вы же пришли за помощью?

— Нет! — отрубил Екатерина. — Я пришла потребовать от вас конкретных действий. В розыске Станислава Юзефовича!

— А его розыск прекращен, — вдруг заявил Генеральный. — Как выяснилось, Патриарха никто не похищал.

— То есть как прекращен?! На каком основании?

— На основании его личного заявления.

Перед Екатериной очутилась бумага, причем оригинал заявления, заверенного нотариально и написанного собственноручно Патриархом. Станислав Юзефович требовал прекратить всяческие его розыски в связи с тем, что он добровольно уехал на жительство в деревню Замараево Костромской области и просит его не беспокоить хотя бы месяц. А все текущие дела решать с его уполномоченным, внуком Ворожеем Дмитрием Ульяновичем, в Москве либо с главой сельского поселения Замараево Христофоровым, которые ответят на любые вопросы.

— Я решил, вы в курсе дел, — пожал плечами прокурор. — Коль не скорбите, а веселитесь с цыганами...

Это прозвучало как издевка.

— Вы послали туда человека?! — вскинулась вдовствующая императрица. — В это Замараево?

— Еще позавчера, — преспокойно отозвался Генеральный. — Пока вы танцевали... Вчера он вернулся и все подтвердил.

— Что подтвердил?!

— Что Патриарх находится на заимке близ Замараева и жизнью на природе вполне доволен.

— А внука?.. Ворожея допросили?

— На каком основании?.. Вы же знакомы с Уголовно-процессуальным кодексом. Я позвонил ему по телефону и получил исчерпывающий ответ.

Раскрывать перед ним замыслы относительно наследства и Фонда, переходить на открытый текст не имело смысла: вероятно, внук успел убедить даже Генерального прокурора, и эти его вскрывающиеся способности дава цепенили и обездвигивали сознание.

Уставшая уже с утра вдовствующая императрица вызвала к прокуратуре служебную машину — скрывать свои разъезды и адреса теперь не имело смысла, — и отправилась к Елене Прекрасной на квартиру, почти готовая выбросить белый флаг. Но по пути позвонила экстрасенс и попросила срочно заехать, поскольку, мол, есть потрясающая информация. У этой ведьмы все было потрясающее, и сама она, растолстевшая до безобразия, тоже тряслась, как студень, и вызывала отвращение. Однако офис гадалки был по пути, и Екатерина все же завернула к ней, не питая никаких надежд.

И застала там всемогущего Генриха! Адвокат, словно медиум, сидел в кресле, прикрыв глаза, и нюхал дымок сжигаемой индийской соломины.

— Ваш Патриарх находится между небом и землей, — заявила колдунья и выложила перед вдовствующей каменную плиту. — Читайте сами: он между жизнью и смертью. Такое бывает в состоянии сомати. За свою практику я это вижу в первый раз...

Руки, голова, грудь и необъятная задница экстрасенса — все тряслось, причем каждый член самостоятельно и в своем ритме. Екатерина глянула на отшлифованный камень и узрела там некое водянистое изображение, отдаленно напоминающее Большой Каменный мост.

— И что это значит? — тупо спросила вдовствующая императрица.

— Это значит, что Станислава Юзифовича необходимо спасать, — заявил Генрих, все еще нюхая дым. — И в срочном порядке. Он между двумя мирами.

Они оба с ведьмой сейчас напоминали пациентов психиатрички, ибо искренне верили в то, о чем говорили. Их бред был навязчивым и лип не к разуму — к телу, как наэлектризованная юбка. Еще бы минута, и Екатерина поверила бы во все — в местонахождение Патриарха, состояние сомати и параллельные миры, презрев убеждения и долгую жизнь с физиком. Но пробудил и вернул в реальность голос Генриха:

— Я работаю за пятьдесят процентов от суммы вопроса. И готов вернуть его в наш мир. Сколько там означено в евро? По курсу на восемьдесят девятый год?

У колдуньи на лице затряслась улыбка...

10.

Переpletчик никогда не приходил к нему открыто, а тут явился, словно забыв все предосторожности, коим учил: фигура заметная, могли узнать встречные соседи на лестнице. И проследить, к кому это наведалься зловецкий человек в длинной шинели. После несостоявшегося покушения в Харькове он вообще страх потерял и ездил без личной охраны. Вид у



названного брата был сердитый и задумчивый, будто обидел кто, и после веселого Шуберта в квартиру внеслась облаком тихая, разъедающая, как кислота, печаль. В таких случаях сразу задают вопрос — что случилось? Станкевич ничего спрашивать не стал, отступил в сторону и запер дверь. Во второй раз он видел Переплетчика нерешительным, даже сломленным: в первый раз это было в парке дворца Браницких, когда он подошел, попросил поиграть на альте и тем самым решил его судьбу.

Переплетчик молча подал ледяную руку мертвеца и, не снимая фуражки, присел на стул — туда, где недавно еще сидела Гутя.

— И у тебя этот же запах...

— Какой? — насторожился Станислав.

— Хвойный, как от похоронных венков. Кто у тебя был?

Вываливать на его печальную голову новость о визите убитой им тетушки Станкевич не решился: сразу примет за психа и вместо санатория запрет в дурдом. И он выбрал для начала малое зло, одновременно думая проверить свою версию, поэтому обронил мимоходом:

— Шуберт. Он сейчас под псевдонимом...

— Все ясно, — неопределенно, без эмоции отозвался Переплетчик и глянул на часы. — Уже время, а колокола не звонят. Не договорился Троцкий. Хотел у тебя посидеть и послушать. Когда мы перенесли столицу из Петрограда, к заутрене вся Москва звенела... Как ты думаешь, почему?

— Не знаю. — Станислав запнул молоток подальше. — Я не прислушивался. Внимания не обращал...

— Чекист обязан на все обращать внимание, — назидательно проговорил Переплетчик. — Даже на незначительные мелочи. А звон колоколов далеко не мелочь. Вот и шастают Шуберты...

Станкевич присел на край дивана, поглаживая ноющие руки.

— Что-то я не понимаю тебя, брат...

Переплетчик резко встал, отошел к окну, заслонив распахнутой шинелью половину света, и, раскрыв створки, стал усиленно дышать, словно вынырнул из воды.

Отдышался и сказал обреченно:

— Нет, не звонят. И, видно, не будут...

Свежий воздух из окна слегка взбудрил Станислава, по крайней мере, кислотная печаль вроде бы выветрилась. Он редко встречал гостей, да их и не было, если не считать латышского стрелка. Спихнулся и предложил чаю, хотя знал, что в доме нет заварки и тем более сахара: давно уже сидел без денег, потратившись на лекарства. Но теперь в кармане лежало месячное жалованье, а в праздничном наборе мог быть и чай, и сахар. Станкевич хотел вскрыть бумажный пакет, но был остановлен непривычным голосом гостя. Переплетчик вдруг заговорил резко, со звонким и легким польским акцентом, который вырывался во время сильного волнения.

— Ты что, не понимаешь? Мертвецы по Москве ходят! Вот и Шуберт из могилы встал...

Огненная боль в ладонях мгновенно погасла.

— Он разве... не живой?

— Будто ты не помнишь! Шуберт прыгнул с моста! Его зарыли... Он встал, вылез! Вся нечисть повывлазила из своих нор! И бродит.

Станислав сунул руку в карман, нащупал и потом осторожно достал деньги. И только сейчас увидел, что они не советские, а керенки, выпущенные еще Временным правительством и туго свернутые в несколько раз. Теперь просто ненужный мусор, фантики. Тогда он кинулся к пакету из крафтовой бумаги, перекрученной шпагатом: вместо продуктовой пайки к Первому мая там оказалась обыкновенная земля, скорее всего с могилы, потому как в ней оказались листья и лепестки бумажных цветов...

Переpletчик ничего этого видеть не мог, ибо стоял спиной, однако усмехнулся и сказал:

— Убедился?.. Сначала я подумал, у меня затмение, помрачение ума. Ванда стала являться, сестра моя... Думал, это мне знак, проклятье. Или перетрудился на службе. Надо в санаторий или за границу... А потом пошли доклады, доносы самых разных людей. Покойники разгуливают по улицам Москвы. Многие видят чертей, леших, русалок. Ходят какие-то уроды, двухголовые, многорукие. В общем, нечисть... Сначала по ночам, редко. Теперь и днем, после третьих петухов... Ну что скажешь? Я сумасшедший?

Он так же резко развернулся и вообще заслонил окно.

— Ко мне сегодня приходила Гутя, тетка моя, — признался Станкевич. — Которую я...

Переpletчик не дослушал:

— Что делала?

— Играла... Что-то скверное, ужасное...

— А Ванда поет псалмы. — Он ушел со света и снова сел. — Благозвучные, как песни Лорелеи... Думаешь, мы только двое таких? Дежурные части ОГПУ завалены доносами и свидетельствами. Милиция отлавливает, задерживает трупы! Мы пока секретим... И все потому, что перестали звонить колокола! Неприкаянные мертвецы встают из могил. Нечисть хлынула из лесов и болот в Москву. А в Питере что творится!..

— Хотел попросить у тебя путевку в санаторий, — вспомнил Станкевич. — Надо лечить нервы... Нам обоим надо лечиться. Это болезнь. Давай поедem вместе?

Переpletчик словно не услышал:

— Сокольников ходил по ночам купаться в Александровский сад. Русалки чуть не утопили. Хорошо, охранники заметили, отобрали. Все тело в синяках... Одну поймали, заперли в Комендантской башне. Наутро лужа осталась, в середине что-то вроде гриба или медузы... Ему тоже надо лечиться? От Прошьяна каждую ночь покойную бабушку выносят,

у Гуковского в квартире мертвецы в карты играют... Знаешь, почему Ленин все время в Горках? Врачи доложили, что-то вроде раздвоения личности. Но это так, отговорка. Вселилась какая-то сущность и мучает... Это что мы знаем. Многие сидят, как ты, и мечтают подлечиться. Троцкому по ночам кто-то косички плетет, мелкие — он молчит. На заседание однажды так и пришел нечесаный. Мне стало известно, о чем он молчит. В его голове родился план, как избавить Европу от капиталистов, как двинуть в ее просторы мировую революцию. Ее понесут на штыках миллионы убитых солдат. Легионы покойников двинутся к Ла-Маншу, а потом в Англию. Там сядут на захваченные корабли и отправятся в Северо-Американские Штаты... Легионы уже убитых, поэтому неубиваемых солдат! Сейчас Лев Давидович проводит эксперименты с управлением мертвецами. Колокольные звоны в Москве — часть его грандиозного опыта. Боюсь, что найдет способ. Потому молчит и не расчесывает волосы... Только Кобу ничто не берет. Молится он, что ли?..

— Все сошли с ума! — стряхнул липкое очарование Станислав. — Просто все мы тут сумасшедшие!

— Церкви закрыли, колокольни опечатали, — подытожил Переплетчик. — А что теперь хотели? И это ведь все Лев Давидович, в душу его!..

Но продолжать обвинять своего извечного конкурента не стал.

— Мы тоже руку приложили, — вставил Станкевич.

— Хотели разрушить старый мир, а разрушили мироустройство, — не услышав его, заявил Переплетчик. — Все перемешали!.. Мы не можем разобраться, где теперь мир живых. Покойники тоже запутались, не найдут своего мира. Вот и бродят... А раньше в колокола звонили! И все знали: где звонят, там живые. Звоны — это мосты между мирами. Мосты и одновременно границы. Рубежи!.. Теперь мосты разрушены, живые и мертвые перемешались, а тут еще звонить перестали. Колокола то ведь не церковники придумали. В каждой крепости на башнях висели медные била. И не только чтобы народ собирать. При них часовщиков держали, отбивать час дневной и ночной. Как ты думаешь, для чего? Попов тогда и в помине не было!.. Троцкий быстрее всех догадался. К нему профессор приходил, в прошлом духовного звания. Должно быть, надоумил... Притомился по утрам косички расплетать. Сегодня ночью звонарей собирал по всей Москве, договаривался, чтоб заутреню звонить. Звонари почуяли, в чем дело, и взбунтовались. Не желают исполнять «Интернационал». Да и не умеют... И сейчас еще сидят, думают, какую музыку играть. К вечерне, поди, договорятся, опыт проведут. Трое суток по всей Москве звонить станут, как в прошлые времена. Если поможет, оставят звоны...

Он встал, закрыл окно и запахнул шинель, собираясь уходить. Станкевич тоже вскочил, встряхнулся.

— Погоди, брат!.. А мне что делать? Я больше не вытерплю! Если она снова придет? — Станислав потряс руками. — И будет влоачивать



гвозди?! Я не выдержу! Я уже играть не могу! Раны на руках! Каждый день распинать меня и уродовать слух!..

— Тебе и в самом деле в санаторий бы, — посетовал и посоветовал Переплетчик. — Но сейчас некогда. Сиди дома, слушай звоны и наблюдай. Ты музыкант, ты чуткий, ты с глазами и ушами, не то что другие. Можешь видеть и слышать сразу оба мира! Ты всегда стоишь на умозрительном мосту... А я по тебе стану определять, помогают колокола или... Это тебе задание такое!

И ушел так же, не скрываясь и не соблюдая конспирации.

Спустя час наконец-то явился латышский стрелок с жалованьем и продуктовым набором. Пришел, как всегда, невозмутимый и бесстрастный: наверное, Эдгара тоже ничего не брало, как Сталина. Станислав принял деньги, расписался в ведомости и получил паек.

— Ты ничего особенного на улицах не замечаешь? — будто между прочим спросил Станкевич. — Что-нибудь необычное?

— Суета и шум, — проронил Веберс, но отвел глаза. — Трамваи эти гремят, звук и скрежет — душу выворачивает. Особенно на поворотах... Хочу на свой хутор. Или как ты, сидеть дома.

Он что-то замечал! Но, как всегда, скрывал свои чувства.

— Чекист должен замечать все, — передразнивая Переплетчика, сказал Станислав. — И быть внимательным.

Вероятно, Троцкий не уговорил звонарей и к вечеру, потому что колокола молчали до сумерек. Все это время Станкевич стоял у раскрытого окна и прислушивался к затаенному шуму вечернего города. Вместе с темнотой у него опять заныли ладони, не помогли даже поздно загоревшиеся электрические фонари, тогда еще редкие в Москве — сэкономили электричество. В предчувствии грядущей ночи он все больше испытывал беспокойство и, разумеется, спать не собирался, а хотел, как вчера, притвориться спящим и, когда явится Августа, не дать ей забивать гвозди. Поэтому он заранее достал из-под дивана молоток и, выбрав момент, когда на тротуаре никого не было, выбросил в окно. Однако не прошло и четверти часа, как в дверь позвонили, судя по всему чужие. Станислав не хотел открывать, но пришедший гость проявлял настойчивость, и пришлось отворить. За порогом стоял незнакомый мужик с кнутом за поясом, вероятно извозчик.

— Из вашего окна выпало, — и протянул молоток. — Прямо моему коню меж ушей. Конь понес, разбил коляску. Прошу заплатить.

Можно было бы вытолкать его взашей, но от извозчика разило покойником! И прикасаться к нему было выше всех сил. Станислав вынул принесенные латышом деньги и протянул гостю с того света. Тот отсчитал какую-то сумму и лишнее вернул.

— Нам чужого не надо. Мы берем свое.

И удалился.

Станкевич слегка отодрал фанеру, которой была заколочена смежная дверь с чужой соседской квартирой — доходный дом после революции



перекроили, засунул туда возвращенный молоток и снова забил гвозди, теперь уже незаряженной гранатой.

Ровно в полночь, когда он уже изготовился к встрече с Августой, раскинув руки по спинке дивана, вдруг ударили колокола и тягучий, басовитый звон влился в растворенное окно. То ли почудилось, то ли внезапный звук как-то отрезонировал в корпусе виолончели, но она слегка загудела, потом взвизгнула, словно от ожога, и умолкла. Станкевич еще подумал, что надо встать к окну, чтобы услышать, как это звучит на улице, и посмотреть, что там творится, однако, несколько ночей не смыкавший глаз, внезапно провалился в сон, безбоязненно оставив руки на спинке дивана.

Проснулся так же внезапно, утром, опять же от колокольного звона. И понял, что Гутя не посмела явиться, не вколачивала гвозди: руки не болели! В квартире все оставалось как есть, только умершую виолончель кто-то трогал: развернул ее поперек, словно хотел вынести и не успел. Шпиль оказался загнут, одна струна оторвалась и свернулась в пружинку, а другая, басовая, завязана в узел, хотя конец ее оставался на колке. Станислав хотел вернуть инструмент на место, но едва прикоснулся, как почувал тошнотворный запах гниения, исходящий из резонатора. Он заглянул сквозь струны, попробовал на вес — внутри что-то было и смердело оттуда!

Стараясь не трясти, он вытащил виолончель на середину комнаты, за неимением топора взял пулемет и разнес прикладом сначала переднюю деку. Резонатор оказался пустым, освобожденные от натяжения струны извивались, как живые. Потом перевернул инструмент и добил его, искрошил в щепки. Ни грибов, ни медуз не нашел, даже мокрого места не осталось, но оборванная струна вдруг сама снялась с привязи, выпрямилась, дернувшись к окну, улететь хотела! Однако там скрутилась от колокольного звона в пружину, укатилась к порогу и, нащупав рваным концом замочную скважину, медленно выщедилась и уткнулась за дверь.

Останки виолончели он сложил в мешок, смел мусор и, только когда понес на помойку, узрел, что Москва просветлела. Так все пасмурно было, а тут ярчайший, до рези в глазах, солнечный свет. Он вернулся домой в слезах, в этот же день попытался испытать руки и поиграть на инструменте Страдивари, но едва занес смычок, как ударили полуденные колокола.

Он и в самом деле раньше не обращал внимания, когда и сколько они бьют — это пока не закрыли церкви: звон никак не ложился на его музыкальный слух, не вдохновлял, но и не раздражал. Прежде он существовал как фон общего городского шума, как скрежет и лязг трамвая, дребезг тележных колес по мостовым, басовитое карканье ворон. Колокольный звон относился к природным звукам, коим ухо тогда еще не внимало, ориентированное на звучание инструментальной музыки, скрипичных струн или даже оркестровых барабанов. И теперь он вдруг оценил, точнее, определил место колокольному звону: и в самом деле нечто пограничное,



серединное, существующее между музыкой и природными шумами как между мирами.

Весь день он простоял у окна, вытирая слезы: солнечный свет теперь резал глаза даже в квартире, хотя попадал отраженным, рассеянным: мешали дома напротив. Но почему-то испытывал счастье и облегчение.

Вечером он даже не думал играть, а дождался вечернего звона и долго его слушал, отыскивая доказательства своему предположению. Звон в вечерних сумерках словно тоже пригас и напоминал ему звучание органа в кафедральном соборе Белостока. И тогда он поставил вместе — колокола и орган, окончательно вычеркнув их из перечня музыкальных инструментов.

Переpletчик неожиданно оказался прав: тот и другой существовали не для того, чтобы улаживать душу и ласкать слух. Оба они служили для обозначения границы миров, дабы разделять живое и мертвое.

Тогда в течение трех суток над Москвой, а говорят, и многими другими городами, как в добрые старые времена, раздавались колокольные звоны. Массового бега вставших из могил и заплутавших в пространстве покойников никто не наблюдал, рассказывали отдельные эпизоды, но заметили: в столице и Питере заметно поубавилось чиновников и милиционеров. Будто восставшие из праха облюбовали себе эти виды занятий, успели поступить на службу и с началом опыта со звонарями бесследно исчезли. Однако в донесениях сотрудников ОГПУ, которых обязали отслеживать, что происходит, отмечалось, что на окраинных улицах Москвы и на вытекающих из города реках, речках и даже в канализациях по ночам наблюдалось заметное оживление, звуки торопливых шагов, стук копыт, странные всплески, напоминающие удары бобровых хвостов и бурлящий шум весел невидимых лодок.

Через три дня по директиве Троцкого количество звонарей сократили вдвое и звонили еще сутки — обстановка не изменилась. Разве что небо задернуло перистыми облаками, и, соответственно, вернулся наполовину солнечный фитиль, и глаза пообвыклись, присмотрелись к свету. Тогда закрыли и опечатали еще половину звонниц и таким образом нашла грань, которая была заметна и живым и мертвым. Только было непонятно, удался ли эксперимент Троцкого, нашел ли он способ управления легионами покойников, чтобы засылать в Европу.

Колокола теперь стали едва слышны, и Станкевич начал играть, думая на днях поехать в консерваторию, чтобы поставить профессора перед фактом приобретения новых рук и ушей. И так уже было пропущено более месяца, впрочем, в те мрачные дни посещения особо и не требовали. Переpletчик не появлялся: должно быть, и без свидетельства музыканта, слышащего миры, стало понятно, что покойники оставили Москву. А условия, что Станислав сам придет на доклад, не было.

В это время к нему в дверь и позвонила Лиза, точнее, ее домработница, приведшая девицу.



— Мы все время слышим музыку из вашей квартиры, — скромно призналась Лиза, глядя почему-то на свою сопровождающую со скрипичным футляром. — Между нашими квартирами есть заколоченная дверь, и через нее очень хорошо слышно. Не смогли бы вы давать мне уроки?

Она была в модной тогда, красной косынке, но подвязанной не обычным шалашиком, а плотно охватывающей головку, и только на нежную шейку спускался треугольный шлейфик. Приталенная кофточка отрисовывала изящную и по-юношески еще незрелую фигурку. Лиза не походила ни на одну девицу тогдашней Москвы, набирающей комсомольский задор и открытость; она словно выплыла и соткалась из того яркого света, что пылал над столицей все три дня колокольного боя.

И он неожиданно для себя согласился: это была первая живая гостья, переступившая порог его квартиры. Тогда он просто ей любовался и не помышлял ни о каких отношениях, тем паче на уроки она приходила с домработницей. И однажды в паузе между занятиями, тая свой болезненный еще интерес к нашумевшей теме о гуляющих покойниках, Станкевич спросил, что Лиза думает об этом. Она была наслышана о мрачных событиях, но имела свой взгляд.

— Все, что мы видим и чувствуем, все живет в нас и все исходит из нас, — неожиданно по-взрослому мудро произнесла она. — Наше сознание рождает и прекрасное и чудовищ. Это как скрипка, из которой можно извлечь божественную музыку и безобразную лавину звуков.

И сказано это было так просто, что он запомнил каждое ее слово, думая потом повторить все Переплетчику, когда тот потребует отчета по заданию.

— Да люди просто с ума сошли! — не согласилась простоватая домработница. — Вот и чудятся им покойники! Я и ночью ходила — никого не видала...

— Нет-нет, Матрёна, покойники были! — не согласилась Лиза, зазвенев колокольчиком. — Их было много!.. Люди начали думать о смерти. Днем и ночью только о смерти... И почти не думали о жизни. И выпустили из себя толпы мертвецов! А когда услышали звон, вспомнили и обрадовались. И покойники исчезли, ушли в свои могилы. Нужно все время думать о жизни, даже если ты умираешь.

А Станкевич слушал ее, смотрел и мысленно произносил слова, которых прежде и в голове не было, не то что на языке: «Она божественна! Она — оживший цветок!»

И даже тогда у него не возникло мысли как-то сблизиться с Лизой, завязать романтические отношения — смотрел, восхищался и ни разу не подумал, что сейчас оказывается в роли ненавистного красномордого Вацлава.

Уроки он давал через день, поскольку Лиза была дочерью ответственного советского служащего и исполняла обязанности его секретаря. И все это время жила в соседней квартире, через стену с замурованной в полкирпича и заколоченной фанерой дверью, которая когда-то соединя-



ла комнаты и была забита при уплотнении жильцов. Их разделяло пространство в ширину ладони, и могли бы давным-давно встретиться — хотя бы случайно, на лестнице или во дворе. Нет, проскакивали мимо, не замечали друг друга или час встречи еще не пришел и он не рассмотрел ее? Потому что ему из конспиративных соображений запрещено заводить знакомство, а тем паче дружеские отношения с соседями. И давать уроки он согласился на свой страх и риск, нарушая инструкции. Но ведь должен был обратить внимание и запомнить необычно обтянутую косынкой головку!

Вероятно, Переплетчик был прав, укоряя его в невнимательности...

Это восхищение Лизой оживило и подвигло к походу в консерваторию, дабы сдать на милость профессора.

Тот же с порога заметил его преображение и сразу простил пропуски занятий. Он сам был почти счастлив, и у Станкевича возникло подозрение, что учителя тоже изрядно помучили покойники. Но спрашивать ничего не стал, сел играть и его порадовал. А профессор вдруг спросил об умершем инструменте, дескать, неплохо бы достать его из почетного угла и опробовать — вдруг ожил? Признаться, что виолончель разбита в щепки и давно снесена на свалку, он не стал и ответил неопределенно, мол, попробую. Однако это напоминание о прошлом его покорило и заставило вспомнить о сорвавшейся и улетевшей в замочную скважину струне. Только сейчас ему пришло в голову, что злключения с покойной Августой не закончились и непременно еще как-то отразятся на его жизни. Не следовало отпускать на волю эту струну...

После нескольких уроков Лиза стала приходиться без сопровождения. Он заранее становился возле своей двери и слушал, когда откроется соседская. И когда она открывалась, сердце стучало в горле, отбивая ее мелкие шажочки. Их было ровно семь — таково расстояние между дверями квартир. Станислав без ее звонка распахивал свою дверь, и она всякий раз тайно радовалась, что он ждал, и это вселяло надежды. Их нахождение вдвоем в одном пространстве как-то сразу сняло преграду, стоящую между ней и его чувствами. А желание пока было единственным — развязать косынку и посмотреть, какие у Лизы волосы. Из-под плотного и тугого покрова не выбивалось ни одной прядки и лишь чуть выглядывали нежные мочки ушей, к которым хотелось прикоснуться губами или даже осторожно прикусить. Сама же она косынки не снимала, и Станкевичу однажды приснилось, что головка ее украшена золотыми вьющимися локонами. Вероятно, она скрывала свою красоту, чтобы не выглядеть прекрасной, что совсем не приветствовалось среди комсомольской молодежи.

Желание он испытывал и на мочки ушек смотрел с вожделием, но всякий раз откладывал даже попытку дотронуться до ученицы, если не считать необходимых движений и прикосновений, когда он показывал, как пальчики должны лежать на грифе, смычке и как прижимать скрипку подбородком.



Станислав ждал Лизу на урок, когда в дверь позвонил латышский стрелок и официально вручил предписание немедля явиться к Переплетчику. При себе иметь штатное оружие, запасное белье, теплую одежду и запас продуктов на три дня.

Станкевич положил в футляр из-под виолончели пулемет, наградной маузер, боеприпасы и в сопровождении Эдгара по указанному адресу. Тайно от него, нарушая инструкции, он написал записку Лизе, что вынужден срочно уехать на гастроли и что будет помнить ее каждую минуту, играть для нее самые нежные, тоскующие и пронзительные соло в симфоническом оркестре, ждать встречи и мгновения, когда она сама снимет косынку и явит ему свои золотые локоны. Написал, перечитал, отогнал мысль, что записка похожа на предсмертную, и втайне же от Веберса вложил в створ двери.

Латыш всю дорогу помалкивал, на расспросы лишь гримасничал и дергал плечами, ибо сам пребывал в неведении относительно задания. Они приехали на конспиративную квартиру в Лужниках, и сразу стало ясно, что скоро отсюда не вырваться: повсюду лежали старые, явно добытые в патриархии, книги, брошюры и листовки, общий смысл которых сводился к борьбе с ересями, раскольничеством и сектантством. На конспиративных квартирах никогда не хранили чего-нибудь случайного, если и были библиотечки, то их заряжали соответственно, для выполнения предстоящего задания.

Переплетчик в этот день на встречу и постановку задачи не пришел, поэтому Станислав выждал, когда латышский стрелок преспокойно заснет в одной из четырех комнат, послушал редкий бой полуночных колоколов и, прихватив маузер, отправился домой. На случай обнаружения отлучки он придумал легенду, будто впопыхах забыл в квартире наградное оружие, а это ведь талисман, оберег! И вот будто сбегал и забрал. Он даже в квартиру заходить не собирался; хотелось узнать единственное — как откликнулась на его пылкие речи Лиза, придя на урок? И оставила ли хотя бы несколько слов в ответ, которые станут греть его в долгой будущей командировке?

Его записка торчала в двери так, как он оставлял: специально заметку сделал, если вынимали — будет видно. И все равно он достал бумажку — ни строчки, ни слова... И вдруг стало так обидно уходить ни с чем! Его пылкие слова прозвучали как глас вопиющего в пустыне!

Обидно и странно: могла же по каким-то причинам не прийти на урок, но записку не увидеть никак не могла! А на ней крупно написано: «Для Елизаветы!» В любом случае должна бы выдернуть и хотя бы прочесть... Прежде чем позвонить в соседскую дверь, Станкевич долго стоял на площадке и решил: в любом случае дверь откроет домработница, а не сама Лиза, и можно передать ей свои извинения, что не дал урока.

Несмотря на поздний час, дверь ему открыли — зевающий и уже знакомый мужик с кнутом за поясом, тот, что приносил молоток! Он никак не походил на ответственного совслужащего и даже на прислугу.

— Чего тебе, кум? — спросил развязно.
— Я ваш сосед, — признался Станислав.
— Ну видал... Дальше что?
— Передайте Елизавете мои извинения.
— Какой Елизавете?
— Лизе, которой даю уроки.
Мужик прищурился и зевать перестал.
— Ты не мертвец? — и пощупал рукой предплечье.
— Нет, я ваш сосед, и живой...
— А чего спрашиваешь как покойник? Нету у нас никакой Лизы!
— Как же нету? — обескуражился Станкевич. — Юная, в красной
косынке. Берет у меня уроки...
— Сказано, нету!
— Где Матрёна, домработница? Позовите Матрёну!
— И Матрёны нету. Ты что, мужик? Ты не из этих? Которые коло-
кольного звуку боятся? Ну посмотри: откуда у меня домработница? Я сам
ночным извозом промышляю!
И захлопнул дверь.



Ольга АНИКИНА

СЕРЕБРО ГИПЕРБОРЕЙСКОЕ

ИЗ БЕЛОМОРСКОГО ЦИКЛА

1.

Беломорье, белокамень,
белочаячий приют.
В молоко под облаками свет
золотые ливни льют.
А в отлив коса — отрезками,
а в прилив — едва видна...
Серебро гиперборейское
поднимается со дна.

Скалы колотые, битые,
и пестры бока камней.
А печалей Север видывал
и больней, и солоней.
...Воздается ли по вере нам,
правды много ли в былом?..
...И белым-бело над берегом,
и в душе белым-бело.

2.

За острым берега изгибом,
за желтым мысом великаньим
живут доверчивые рыбы
с лазоревыми плавниками.



И бурою травой донной
опутаны глухие скалы,
и солнце утекает сонно
сквозь пальцы тонкие кораллов

за медный край морской лохани,
и вздохи чаек сиротливы,
и время — просто колыханье
воды на высоте прилива.

3.

Над контуром ельников черных,
у кромки высокой воды,
в полярных полуденных горнах
янтарные плавятся льды.

Пока к побережью прикован
пленный, соленый борей,
возьми его голос и говор
для маленькой песни своей.

* * *

Мокрой тряпкой размазаны лужи,
святой дух воспарил над водой.
Моют в храме полы перед службой,
как в больничной палате пустой.

Вверх по стенам смещаются тени
от скелетика талой свечи.
Подожмет Преподобный колени,
чтоб сандалии не промочить.

И, укутав дитя покрывалом,
оглядит Богоматерь углы
и припомнит, как тоже, бывало,
подметала и мыла полы.

Вот и топчешься, шепчешь у входа:
не покинь, дескать, грешного мя...
И пройдет из апостолов кто-то
мимо, ведрами грозно гремя.

ВОЛЫНЩИК

прислушайся — услышишь: на лондонском мосту
стоит, стоит вольнщик и дует в пустоту.
коленки ниже юбки, улыбка на усте.
из деревянной трубки нет хода пустоте.
а где-то в переходе, в Москве, на «Вешних вод»,
другой, нестарый вроде, мужик гармонь дерет.
о, хриплая мембрана, привет моей тоске.
и вышел из тумана.
и ноет в глыбоке.

* * *

приберусь, посуду вымою,
помолюсь: «Господь, спаси» —
и пойду за нелюбимого,
как ведется на Руси,

от усталости и старости,
одинокого житья,
от бывшего горсть останется,
похоронная кутья.

на столе бутылъ стеклянная,
пей до донца, исполать.
я пойду за нежеланного,
чтоб иного не желать.

не суди и не жалея меня,
а не то поди решишь
деревянными коленями
обнимать чужую жизнь.

отгорит, отколобродится,
стану доброю женой.
и простит мне Богородица
гвоздик в балочке сенной.



* * *

благодарю тебя, время боления,
время молчания и обнуления,
время окна с капиллярами веток,
время шлагбаума, красного света,
ртутной стрелы. высокоамплитудные
пестрые сны, одеяла лоскутные,
жар, полубред декабря, к декабрю
время причалило, благодарю

тающий сахар, в кульке шоколадные
слепки, проекция света на штору,
время беления флагов. палатные
тени плывут по пустым коридорам
к небу, от запаха хлорки и старости,
чтобы сгореть в искровом переплясе,
и, согреваемый их благодарностью,
мир ослепительно бел и прекрасен.



Дмитрий РОМАНОВ

ТЕПЛОРОД

Р а с с к а з ы

ЧИСТЫЙ ЛИСТ

О романе «Преступление и наказание» я узнал в первом классе. Когда к нам приезжал из Рязани дядя Андрей и пыхтел за столом, как толстый самовар — шутками да прибаутками.

— Знаете, — говорит, — отчего у рязанского мужика пузо накрень? Потому что топор из-за пояса подпирает.

Я говорил, что хочу топор на день рождения. Он сулил мне разбой на большой дороге. И добавлял между прочим:

— Сразу видно — корни старообрядческие.

А то было верно, и знать о том я начал с пеленок. Первые воспоминания мои касались затертых лестовок прабабки, читающей толстую пахучую книгу на малопонятном языке. Она крестилась в пол на черные лики с красного угла, хлебные тела святых в тяжелых окладах; дядя Андрей макал горбушку в шпротное масло, и я вспоминал горбатые их тела. И прабабкино: «Ешь, не балуй, Боженька накажет!»

— А почему топор и старообрядцы? — спрашивал дед.

— Ну раскольники же, — и пыхтел красным надсадом. И все пыхтели.

В романе «Преступление и наказание» господин Свидригайлов сравнивал ад с деревенской баней — «закоптелой, а по углам пауки». Этого я знать в ту пору не мог, а позже ощутил дистанцию между взглядом господина Свидригайлова и нашими корнями.

Общественная баня тогда доживала последний год. Фарфоровый завод умер вслед за Страной Советов, как раб, закланый вместе с почившим фараоном. И так выходило, что работягам вроде как больше и не нужно было мыться. Закрыли баню: дров-то сколько жрет! А так — она вовсе не была закоптелой, и не было никаких в ней пауков. Те селились в уютных домах, охраненные поверьем, что убьешь паука — отсохнет рука.



В четверг день рыбный, и мылись бабы. В пятницу мужской разгуляй таял в парах, и жар останавливал от иной рюмки или забирал в сон, когда мозолистая усталая рука обычно тянется к бутылю. Выходило, что муж домой и чистый и трезвый — всем хорошо, и кобыле легче.

Дед с большим тазом, я с венником, гул и шорох... И уж раз речь пошла о воспоминаниях, то скажу так: ничего я не помню, кроме...

Тяжелая дверь отворяется с плевком — и следом растворяется в пару десяток лиц: кто щерится из-под венозного лба, кто расплывается, смеется шепотом, кричат и матерятся. Это там парилка, место мне совсем не по душе. И я остаюсь в большом тазу, в углу моечного зала.

Пахнет мылом, и бороды на лицах, и гораздо ниже — стекают, тянутся и пенятся. Я тут самый младший и даже будто не существую, потому весь внимание.

Ходит жердистый, до потолка, дядя Степан, милиционер. Один раз самолет летел так низко, что если бы дядя Степан встал на нашу крышу — достал бы его рукой. Он молчун, и наш сосед Князьков уносит свой таз с его лавки, удрученный, что не нашел в нем собеседника. Находит его рядом — в лице деда Еропланова. Мне видно, как его сильный кадык рвет кожу на горле в надсадном смехе. И Князьков, стараясь его до конца задушить, травит новый анекдот. В моечную заходят трое братьев, швыряют мочала в ведра, чешутся с вечерних комаров, и уже их нет — растворены в парилке. А из нее выползает дед Гриша. Ползет ко мне, и мне страшно, что он меня задавит. Оказывается, моя купель у самого крана с водой. Пока он дышит, набирая воду и забирая воздух, мне вдруг становится понятно — воздуха тут не хватит, ведь зал невелик, а дышат все. И все боятся сквозняков, закрывая двери и окна. Дед Гриша растет и упорно пучит ноздри, красный, с лиловыми наколками на плечах — «Кавказ», гора и солнце морщинистых лучей.

— А я ему, слышь, двести с утра — и чтоб, говорю, духу твоего не стало вечером...

Большой красный рак, зачем ты хочешь нас всех задушить?!

Он ставит ногу в таз, и смородиновые гроздья на его икрах — последнее, что я вижу перед тем, как дед забирает меня в парную.

Все голоса, чтобы не держали открытой дверь, и мне приходится быстро принять решение — шагнуть через порог. Как огромные мокрые куры, сидят мужики на ярусах, облепленные листвою. Бурый свет лампы почти не доходит к ним. Из полумрака кричат и стонут мне, чтоб смелей заходил.

И я вижу главную силовую точку всего пространства. Это то, чего так испугался Свидригайлов, который никогда не ходил в баню, — черный зев печи. Лепестки сажи исходят из него на белые кирпичи.

Жухлая лампа за решеткой светла, полати с сидящими мужиками — тоже. А между ними — тьма и бездна сухого невидимого огня. Там в ней ничего нет, но само это ничто — есть. Мой дед, три брата, Еропланов, прочие — сливаются в одну массу, задор которой так сложно вяжется с мукой испепеления.

— Ну проходи, чего мерзнешь! **Ща** мы для затравочки-то... давай ковш... иди садись, Митька.

Возносят ковш на длинной, в лохмотьях, ручке. В нем трясется кипяток, и сучковатая рука уже тычет им в адскую пасть. Я забираю последнее дыхание — больше его не будет, все отнял красный великан. И прыгаю впритирку к деревянной стене, к полалям, навстречу чьим-то рукам. Меня подхватывают, и уже воет в ухо драконова пасть. Я не закрываю глаз и краем заглядываю в ничто — и там ничего нет. А через миг оттуда вырывается свист, и все ему рады. Их лица сводит мука, оскалы ярче, вены толще, и две руки сажают меня в безопасный угол внизу. С потолка черный человек летит на двух пылающих вениках, осыпая чужие жилы брызгами.

Ничего я не помню, кроме...

— Дедушка, а почему у дяди сиси?

Беломясы́й Савелий, смущенный, уходит в другой конец раздевалки. За свекольными щеками его раскосое лицо ничего не выражает. Хлопая полотенцами, смеются мужики, из трехлитровой банки сливают в ковшик квас.

А что до мира насекомых... Баня — это дыхание. Она распаривает. Дух распирает, как дверь. Выстроили собственную, с просторным предбанником, где, лежа на скамье, я подолгу мог наблюдать капель конденсата с полотка. Ядро тепла в сугробах трескучей ночи. Раз в глухозимье у лампы со стены затрепетала тень. Совершенным чудом отогрелась бабочка, с осени, должно быть, дремавшая где-нибудь в углу. Согретые крылья вынесли крапивницу на порог. Она то и дело мелькала рядом, появлялась и исчезала из поля моего зрения. Собравшись пропахать горячим телом снег, я отворил дверь на улицу, и мороз по ту сторону потянул теплый воздух из бани. На волне этой тяги вынесло за дверь и маленькую психею. Она взяла бойкий разлет на свободу, к звездному небу. И там летнее дитя попало на иглы колючих звезд. Не душная, не вишневая ночь позвала ее — но мертвый январь.

ПТИЦА

Имя легкое тает, оставляя образ в тенистой листве — высокий лоб и каре песочных волос. Время — песок, звук рассыпается в шуме имен. Повторения раз за разом отдаляют вещь от ее названия, и лист уже не зеленая, остро пахнущая прядь куста, но белый и прямой — плоский муравейник букв.

Ее высокий ясный лоб — бурый след молочных зубов в неспелом яблоке. Высокие скулы бархатисты красным боком. Маленький плод в тенистой листве. Коленки и локти в побелке со ствола — от вредоносных насекомых. Деревья стоят в белых чулках, и в похотливых усиках садовой земляники шевелится ручей, гудит насос, и над колодцем вторит ему шмель.

На дачу ее привозили в конце мая. Лето наступало, когда «газель» с брезентовым кузовом поселялась на обочине их дачного дома. Из кузова выскакивали раскладные стулья, пика радужного зонта, выползал круглый садовый стол и неизменный уличный торшер. Все что нужно для долгих душевных вечеров в саду. Ее отец был отставным военным и все время сидел дома. Мать в купальнике и косынке бродила днем в малине с тляпкой и секатором. А купаться они ходили вечером: у отца была аллергия на жару.

Мы с ребятами сидели кучкой и пытались согреться, презрительно поглядывая на воду, подернутую вечерним туманом. Когда она с родителями появлялась на том берегу и, не достаивая нас хотя бы взглядом, спускалась к песку, кто-то кидал:

— Во птица! — и пускал лягушку по воде — камень скакал далеко, и каждый пытался переплюнуть.

Иногда кто-нибудь бомбил ряску с мостика, таскал со дна моллюсков, геройствовал до сизых губ. Она не смотрела даже, и дрожащие подростки с тычками в затылок и росхлестом прутьев уходили. Звонки велосипедов ярились в ее адрес. Но никто не признавался, что птица эта свила гнездо в сердце каждого из нас.

Моя семья завела знакомство с ее. Как и большинство okazji в нашем мире, все началось с яиц, потом носили им за копейку молоко. Однажды с бидоном к ним на дачи отправили меня.

Я постучался, опасаясь собаки, но той не было, а из окна карточного домика ее мать махала рукой, приглашая отворить незапертую калитку. На крыльцо вышла не мама, а сама она. Руки наши не встретились на проволочной ручке бидона — я поставил его на ступеньку и молча взял бумажку. Руки наши не встретились даже на бумажке.

В сто раз громче обычного скрипел мой велосипед. Он скакал по луговым колеям, и вишневым сумрак гнал его по щебню, гнал мимо станции, по шоссе, за церковь, за чужое и незнакомое. Липовый дух уносил голову, и я смотрел на пальцы — не пошла ли носом кровь. Без руля и без ветрил, как цирковой акробат, я наращивал крылья. Куда меня несло? Чужая дорога в чужую деревню лилась ровно вдоль молочного ячменя, и тень летела крестом с двумя овалами колес. Из-за валежника, где к ночи засыпали трактора, потянуло сладкой мертвечиной. Небо смочилось звездами, и Южный Крест указал дорогу обратно домой, в дрейфе и безветрии, без весел — летучий корабль над скошенной травой.

— Господи, ты где был?

— Пиво пил...

— А кому поливать было велено?

Хотя мои быстро смекнули, в чем причина. Жар в щеках вызвало упоминание ее имени, которое теперь растаяло.

Мой дядя с отставным военным ходили на рыбалку и скоро сошлись на шашлыки. Конечно, позвали меня и ее. Уйдя на луг, я рассказывал ей про улиток, которые дышат боком, смотрят рогами, что их разводил приезжий итальянец, а потом они разбежались по всему лесу, и если насоби-

рать их ведро — можно продать в ресторан. Она просила не делать этого, а идти есть шашлык. И добавила, что подобные выдумки не приводят ни к чему хорошему.

— Так мой папа говорит.

— А что тогда приводит к хорошему? — спросил я, щурясь на нее через улиткины рога.

— Болеро, например.

— Какое болеро?

— Приходи пить с нами чай, и я покажу.

И я пришел на следующий же день. Родители ее оставались дома, любезно предоставив нам стол, лампу и целый сад. Только раз в окне проступило суровое красное лицо.

Строгая красота ее черт выступала свидетельством строгого отцовского воспитания — авторитет главы семейства окаймлял каждую ее линию и фразу. Ясность и четкость речи ввела меня в смущение перед моим костяным языком.

— Ты замолчал, потому что я на два года тебя старше, — заключила она, — так что давай я лучше научу тебя играть в преферанс.

Она сбегала за колодой. Мы сыграли, и я провалился.

— А зато я умею гадать, — сказал я, ерзая на рыбацком раскладном табурете, — меня крестная научила.

Она загорелась и попросила погадать. На что? На любовь, конечно.

— Только, знаешь что, — повелительно сказала она, — ты погадай себе, а я посмотрю.

И вышел червовый валет, и вышла червовая дама. И когда остальные карты показали мне роковую комбинацию, встал вопрос: сказать как есть или дальше фантазировать про улиток?

— Это я, — ткнул я в усатого валета, — а это какая-то девочка. Тут еще известие и дом, только чужой.

— А что за известие? — Она нависла над столом, раскачивая его, и мне не верилось, что она старше меня на годы.

Время не властно над освещенной кроной яблони, не властно над фарфоровым разливом гжели, над испитой чашкой чая и бахромой обожженного им неба, оно не уместится на круглом столе, не ляжет красной мастью, не вырвет из груди нервной радости песочных волос. Время растопит ее имя, но не властно над образом. Времени подвластно лишь безобразное.

— Это про меня. Любовь к кому-то.

— К кому же тут любовь? — Она откинулась в кресле за чашкой, сняла с нее божью коровку и поставила обратно.

— Может быть, к Майку? — предположил я.

— Это кто?

— Это так собаку нашу зовут. А может быть, к маме. Но ее в раскладе нет... и собаки нет. Даже бабушки нет, и вообще, тут чужой дом. Значит, я еще кого-то люблю. — И я понял, что если скажу еще хоть слово в этом полубреду, то сердце выскочит у меня прямо изо рта.

— Погоди, — она сорвалась с кресла и снова побежала в дом, — я тебе хотела Болеро показать.

Роса покрыла стол, липкие карты, сандалии, и мокрое седло велосипеда предательски звало меня покинуть чужой дом, пока не озвучено роковое известие. А я все сидел и хмурился, и вдруг теплая волна изнутри заполнила каждую клетку тела, захотелось вприпрыжку поскакать на луг, закричать и засмеяться. Я ждал, пока она выйдет на крыльцо, чтобы схватить ее за горячую руку и растаять с ней в тумане у ручья. Сейчас!

Она вышла и резко обернулась. Замерла, прислушалась и медленно прикрыла за собой дверь. В руках у нее был длинный тряпичный сверток и яйцеобразный магнитофон. Она позвала меня за угол дома, в темнеющую малину.

Там, меж двух рядов перехваченных проволокой кустов, она села на корточки и развернула сверток. Я тут же рухнул на колени — передо мной на тряпицах лежала казацкая шашка.

— Можно? — прошептал я.

— Только потрогать.

Пальцем я попытался приподнять ее за кончик клинка. Шашка оказалась тяжелой и острой. Засечки от точила тянулись вдоль всего лезвия.

Она велела мне отсесть подальше, утвердила на тряпице магнитофон и взяла шашку. На эфесе поместились обе ее руки.

Сначала мне показалось, что кто-то идет. Но вот в размеренном ритме я уловил первые ноты приглушенной музыки. Кассетник разматывал пленку; ровный мотив, треск барабанов. Звездное небо втягивало звуки, и под куполом вскоре образовалась целая перина флейт и кларнетов.

Она вытянулась во весь рост с грудью колесом и с жаром прошептала:

— Позвольте вам представить мадемуазель Болеро!

Уткнув шашку в черепичное крошево тропинки, она обошла вокруг, вышагивая как королевская лошадка. Мелодия Равеля наращивала плотность и на самом пике вновь рухнула в пустоту барабанного треска. Затишье перед сменой сцены. Она подняла шашку обеими руками, все так же острием к земле, словно собиралась заколоть кого-то, кто валялся у ее гарцующих ног. Я заметил, как закатываются ее глаза, и не знал, куда направить восторженный взгляд — на лицо или на отблески клинка.

От следующего движения я отполз назад. Она, спружинив, уткнула острие в палец левой руки, придерживая эфес правой и постепенно спускающая ее по плоскости. Шашка стояла у нее на пальце! Снизу этот маленький пальчик она поддерживала правой ладонью. Но вся громада наточенной стали сосредоточила свой чудовищный вес в одной точке. Я бы мог вспомнить наши упражнения с палками, которые обязательно срывались с вытянутого пальца после минуты-другой. Но все сожгла улыбка сжатых до белизны губ. Она прошла до меня, и я почувствовал, как гильотина рушится, срезая ее прелестные пальчики, срубая мою большую и выжженную солнцем головушку. А ритм болеро уже уводил ее назад, к темной малине. И она танцевала с шашкой на конце указательного пальца.

— Хочешь, — она почти не размыкала губ, не отрывала глаз от лезвия, — я тоже тебе погадаю?

Я хотел.

— Мой папа сказал, — шашку повело вбок, и она отшатнулась, но удержала ее, — что не допустит, чтобы я стала актрисой. Все эти выдумки и фантазии и весь этот «болеро» — ни к чему хорошему не приведут. Поэтому тебе выпала пиковая дама.

Шашка с лязгом приземлилась у ее ног. Она сдула со лба приставшую прядь и села русалкой. Музыка оборвалась, вернув ночи собачий лай и затаенных птиц. Я стоял перед ней как набитый мешок, не зная, что сказать и как себя вести. Лезвие укрывлось в кокон ветоши. На коконе осталось темное мокрое пятно от ее пальца.

— И чего ты встал? — бросила она снизу. — До свидания.

Велосипед бряцал по кочкам. Садиться на мокрое седло не хотелось, и треск коростеля затягивал туманный мотив.

Много лет спустя я увидел ее в пригородной электричке. На коленях ее сидел мальчуган, впривалку спала девочка лет пяти с песочным каре. Сама она казалась довольной, с пухлыми молочными руками в крупных перстнях, с лошадиным хвостом волос, перехваченным кислотно-зеленой резинкой. Напротив читал газету молодой, но уже седеющий мужчина. Он оправлял очки и вскоре заклевал носом. Она улыбнулась и аккуратно сложила газету, лицо ее растеряло свою былую строгость...

Боже правый, это была не она!

МУЗЫКАНТ

Бычий череп в меду. Из широкого окна закатная весна поливает комнату под россыпь барабанных тарелок.

Тёма потянул за ребристый рог:

— Вроде не упадет.

Из-за бас-гитары выглядывает Аркадий, красноглазый и весь — улыбка.

— Да, мучачо, тут теперь пустыня.

И пустыня шнуров ширится в треске динамиков, сурдин и белом шуме тишины. Мексиканская пустыня в корпусе бывшего фарфорового завода. Сотню лет сотни деревенских получали здесь право на труд. Ближний лес разевал пасти рвов, питая его глиной и песком. Те сказочные дома, что теперь стали экзотикой, с резными коньками и ставнями на слуховых оконцах, получали газ, свет и даже воду. А деревенские стилиги — субботние танцы в заводском клубе.

Минуло полвека. Знают ли о том таинственные азиаты, заселившие ныне гетто прогневших ангаров?.. Тёма и его команда ютятся в одном из них. Отделанном свежей вагонкой, пластиковыми окнами и пятизвездочным санузлом с вытяжкой для потребления курений.

— Вы слышали о деревенских «Роллинг Стоунз»? — спрашивает Тёма родителей. — Так вот, это мы.

Так проще и понятней — старики не в курсе, что такое «инди».

— Главное, не ширяются и за воротник не кидают, — заключает седоусый дядя Паша.

Долгие скитания молодого коллектива провели их через местный клуб. Но очень быстро база обросла бывшими одноклассниками, что в морозные ночи искали теплого места под водочку. Дальше было здание школы, куда пустила их директриса с памятью о пионерской самодеятельности. А однажды вечером, проходя потертыми коридорами, услышала все трубы Иерихона в одной камерке. На следующий же день школьный сторож развернул ребят с гитарами от ворот и только велел прийти очистить стены от кощунственных плакатов на изолене. Идите-тко, мол, себе подобру-поздорову со своей самодеятельностью.

Репетировали даже в бане дяди Паши. А каково сочинять в дядь-Пашиной бане, где аплодируют веники?..

Совершенно очевидным вставало из похмельной лужи будущее без музыки, в неритмичном пространстве умирающего села, где как грибы росли дачные угодья, а местным оставался ларек и мечты о городском.

— Так, погоди, откуда черепушка-то? — спрашивает Аркан.

— Да батя на скотобойне проводку делал. Там этого добра — тьма. Остальное в холодицы.

— Ништяк смотрится. Аккордеон дедовский рядом повесим.

Когда где-то рубят лес, этот единый организм чувствует брешь каждой своей жилкой от горизонта до горизонта. Тогда приходит болото, и сосны падают от первой же бури. Их корням нужна твердь. Но на упавшем стволе растут новые деревья, и торжество жизни славословит солнце на трупах. В скелете кита живут крабы, сердца пульсируют из праха.

Ритм барабанов ускоряется, в ужасе и восторге паренек сокрушает медь и пластик. Дергает головой с широким зрачком. Тёма отпускает струны и подходит к окну. Музыка замолкает, и жалким клеточком стучат в стекло камушки. Четверо прилипают, выглядывая в пятнах пара. Там внизу стоят азиаты и шумно машут руками.

— Тише! Спать не даете! Как шумите, э!

— О, повыползали.

— Давай номер Сергеича, — решает Тёма, — ща разберемся.

Сергеич — бывший гэбэшник, если бывают бывшие. Он сдает в аренду восстановленные своими руками корпуса мертвого завода. Ребята вроде ничего, спокойные, и музыканты — божьи дети. Им лучший корпус, за двадцатку. В остальные набивают приезжих.

Тёма звонит Сергеичу — и тот, разбуженный или «с рогов», шипит в трубку по-матушке.

— Сейчас приедет.

Азиатов и музыкантов разделила черная «нива», из которой выбрался краснолицый, с белыми бровями, Сергеич. Собственно, разделять было уже некого: к его приезду все попрятались по нарам, и искать зачинщиков бунта в бытовках среди заводских пустырей, обнесенных железобетоном забора, не было смысла.

Сергеич поймал только одного — тот крался с пакетами снеди из магазина. Долго махал над ним руками, пыхтел, а вольнонаемный молчал знакомым вопросом, пугался и вскоре побежал по своим.

С тех пор музыкальный гром не вызывал в них бунта, а громовержцы продолжили репетировать в теплой, дышащей деревом каморке. С тех пор арендная плата выросла на черной ниве в два раза.

Ребята курили на крыльце, не глядя друг на друга.

— Ну и чего делать будем? Как платить? — спрашивал с горы дров Аркан.

— Не знаю, — сплевывал Серафим-барабанщик, — у меня ни копыя лишнего.

— У меня соответственно.

— Короче, выжили нас гастарбайтеры!

— Да не гастарбайтеры выжили, а эти гэбэшники бывшие, — спрыгнул с дров Аркан и заходил под фонарем. — Сначала заводы из страны выжили, развалили все на хрен! Теперь музыку выживут.

— Ну а чего шуметь-то, пацаны? — устало вмешивается Тёма. — Не получится у них. Чего там кого... Музыка сама выживет все и везде.

Никто не смотрит друг на друга. Но все ждут.

В понедельник утром на работу Тёма поехал с гитарой. Расчехлив инструмент в головном тамбуре, он перекинул ремень через плечо и вошел в вагон. Он всегда считал ходящих по вагонам людьми самой незавидной судьбы, но регулярно давал монетку — кто знает, на чем месте можешь оказаться завтра сам? Теперь эти монетки возвращались к нему.

Понедельник, среда, четверг. Освоившись, он перевелся на пятитдневку. Входил в знакомый полусонный вагон и затягивал лихое: «— А на хрена нам война, а пошла она на! — сказали старый солдат и матрос».

Вечером, сидя на старом диване под бычьим черепом, он поглаживал струны, преодолевая тягу к лишнему алкоголю, экономя даже на сигаретах.

— В деньгах и есть зло, — тянул он. — Нет денег — нет выпивки, нет сигарет. Здоровый и свежий, пальцы шустрые, мысли ясные.

— Да, мучачо, теперь тут пустыня.

Аркан последовал его примеру, и группа обрела новое, трезвое звучание. По выходным Аркан начал ездить в районный центр на калым. С покупкой нового усилителя решили повременить. И отбили первый месяц по новой таксе.

К маю вагоны пригородных электричек зацвели рассадой, залепетали о важном.

— У вас медведка есть?

— Есть, куда она денется...

— Отчего у малины в лесу такой дух, а у моей нет — потому что лес каждой жилкой все чувствует, что с чем рядом сажать.

— Универсальная пудра-клей... На-а-асочки вязаные, хорошие на-а-асочки!



— На хрена нам война...

— Позвольте вам представить сильнейшее средство! Сетка для комаров!..

— Дама была, давай даму!..

— Следующая остановка — «Хмелищево». Осторожно...

— Хватит этой кровавой войны за мир!..

Тёма замечал одни и те же лица, живущие в электричках по шесть часов в день, досуг коих в большей степени проходил именно тут. Они сплывались в компании, находили друзей, хотя жили на разных станциях, от Туголесья и Конобеева до московских задворок. Они годами садились на свои клейменные брючными пуговицами места, протертые ложа, травили анекдоты утром, чтобы разлепить улыбкой глаза, а вечером расстилали бумажные массмедийные скатерти под карты и закуску. Их дети дружили в электричках по выходным, а жены знали, кому набирать, если мужа нет к ужину.

— Это Гриша? Гриша, это Света... Ну вы с Васей моим ездите на одной электричке... Ты не знаешь... а, уже? Ну ты его разбуди ближе к делу, чтоб не проехал.

Они встречали зимние рассветы и провожали закаты над ртутным полотном путей. Они плакались суровой слезой и иногда сражались в тамбуре, чтобы на следующее утро снова рассказывать друг другу анекдоты.

Тёма пел за копейку от них, хотя они не слушали, но все было веселей крыть козырем под «Уйдя с войны, но не дойдя до дна».

И вот как-то раз на том конце вагона выросла, как из болотной гущи, камуфлированная бригада с гитарами наперевес. Трое в небесного цвета беретках. Тёма допел свое и заметил, как один из них, медный, в серебристой щетине, долго сверлил его глазом из-под шрама. Остальные обращались к пассажирам от лица всех участников афганской войны, а тот все сверлил, молча и угрюмо. Они крепко и сипло запели про звезды над Кандагаром.

Тёма ждал, свесив инструмент, понимая, что не пролезет с ним мимо. Как не разойдутся две отары на горной тропе Кавказа. Он присел на свободное место и слушал, как все ближе звенит мелочь в их гитарные чехлы, слышал крепкое сиплое «спасибо». Впрочем, ему было не жаль уступить им обход.

Но трое в беретках не прошли мимо, а присели рядом. Поначалу они молча смотрели на него, и он уже собирался встать и продолжить путь трубадура. Но один заговорил:

— Про войну поешь? Чья песня-то?

— Да... знакомая написала. — Тёма улыбнулся.

— Нормально. А сам служил? А чего волосы такие? — Служивый тоже улыбнулся, и Тёме показалось, что в этой улыбке не было ни угрозы, ни упрека, но только затаенная грусть отжившего человека.

Тёма пожал плечами, опустив глаза. Тогда заговорил медный, со шрамом.

— Чтоб такие песни петь, надо самому через это пройти. Слышь чего... Ты на меня-то смотри.

Смотреть на медного было трудно, и черные его зрачки пустели звериным холодом. Хотя двое его товарищей продолжали кривить улыбку где-то на периферии, но сам он занял центральное место.

— Ты служил?

Женщина, сидевшая рядом, заерзала.

— Не, учусь.

— А чего тут забыл? — Медный повел плечами и поднес лицо ближе.

— Да вот... Подкопить мальчика... — голос его треснул, будто у попавшегося в самоволке.

— Слышь чего. — Медный перешел на хриплый шепот. — Тебе еще пушок растить. А то по шрамам не растет.

Он почесал стянутый от уха до подбородка бугор, и там действительно не серебрилось.

— Ты нам песни-то не глуши, слышь!

— Хорош, Сань. — На его матроску опустилась рука.

Медный и глазом не мигнул, но замолчал.

— Ну и как, много насобирал, патлатый? — спросил служивый с пустым, перевязанным в узел рукавом.

Он мотнул подбородком на гитарный кофр, и Тёма помрачнел: из расстегнутого зева предательски посматривали бумажки. Екнула мысль о возможной расплате, и он ей не поверил. Он сжал челюсти и распахнул чехол.

— Ого, — однурукий присвистнул, — хорошо поешь, патлатый!

Даже медный убрал свои сверла и томительно уставился в окно. Они сидели молча и не глядели друг на друга.

— Пломбир, рожок, пиво, вода, семечки!.. Осторожно, двери закрываются...

С хмельным душком трое в беретах вышли в тамбур, и Тёма даже не сразу это заметил. Переждав дрожь в руках, он зачехлил инструмент и решил взять перерыв. А через неделю снова появился в головном тамбуре, снова закинул ремень на плечо, и когда под лязг железа проверял строй, знакомый сиплый голос подошел со спины.

— Вот он, пропащая душа.

Перед ним стояли трое в беретах. И в этот момент он смирился со всем прошлым и будущим.

— Думали, сдался. А нашли мы твою песенку, слышь чего.

Это было обычное утро, когда рабочий класс привычно затирает места в сонном вагоне, засыпая и рассыпая колоды дураков, щурится на лучи или следит за каплями по стеклу, когда травят байки или бают о травле и встают по щебню высокие тени сосен и заводских труб.

Трое в беретах вытолкали патлатого в вагон и, положив ему на вислое плечо руку, крепко и сипло грянули:

— На хрена нам война, пошла она на!

Тёма, перебирая три немудреных аккорда, успокоенно кивнул сам себе:

— Да я ж говорю — выживет музыка.

КОТЕЛОК

Иные ученые мужи теперь говорят, будто Вселенная наша — котел, где все варится на огне времени. Перетекает форма в тигле, поры и жилы как продолжение облаков и тростника. Нет телесных границ, и все — течение. Китайское дао небесного котла или чугунок с кашей. Такой висит на заборе, его доставали из печи еще при царе. Добротный, ржавчина не съела. Тяжелый, издалика похоже на человека или гриб. Когда мне сказали, что в голове моей каша, я порадовался — варит, стало быть, котелок-то. И облака над лесом принимаю за горы.

Прабабушка моя была из староверов. Бежавшие некогда от огня Никона в Новгород и Поморье, раскольники рассаживались обратно по земле предков. Так и называли свои кланы — кустами. Читали свои книги, от коих отрещивалась новая церковь, строго постились, низко челом били — и вообще, вершили свой собственный обряд в собственных молельниках. И еще — не крестились «фигою».

Каждый может вспомнить первый образ из глубокого детства. Какое самое раннее мое видение? Да вот, пожалуй, швейная машинка с кожаным ремнем, за которой она работала в перерывах между молитвами. Затертые лестовки и пахучие страницы незнакомых литер. Об их значении довелось узнать уже в институте, как и о самом церковнославянском языке.

До сих пор остался красный угол, где черные лики в золоченых подрамниках, медь лучей, стущающих строгую угрозу над телесами святомучеников, хлебные горбушки в шлейфах тел. А вокруг скалы да сухие деревья. «Праздники», «Преображение», «Успение Богородицы», «ИНЦИ»... Теперь там лоток с нитками, пыль газет и вербных веток. Электрические диоды в лампадке.

— Что такое фитиль и масло? — первый намек ребенку на капиллярность самой жизни, в которой каждый — проводник излучения непознанной еще любви, агни и тепла.

А над всем этим — выцвет ликов, в котором и глаза угадать сложно. А над ними — потолок, а дальше — шифер, а там — небо (дед взводит палец к чердакам). Атмосфера слой за слоем в капиллярах дыр, платоновские пещеры. Дальше — разреженное пространство, вакуум и сферы, в коих вращение — голографическое разделение «ликов». Там шлейфы миров, отраженных один в другом, как день — в часе, а минута — в секунде. Как липкие узелки лестовок меж ее пальцев.

Еще дальше — сети, стянувшие звезды в галактики к черным дырам. Удаляемся — столпы творения, гены миров. Вечная швейная машинка. Вечные мозоли, старые изначально. Сшивают плетеницы клеток. Ткани, течения потоков миллиардов в миллиардной степени лет текущих. Детские страхи, восторг, крики боли в обожженных легких, глаза, рассеченные светом. Бесконечный акт, от коего плодами нисходят новые миры... Миры-атомы, миры-колоссы, где ты да я да Бог, и нет разницы, по существу. И это все порастет грибами и мхом. Тянутся ростки новых деревьев



к солнцу. Просят прекратить испепелять все живущее, складывают они ладони-лепестки в жесте мольбы. Ламентируют листья и тугие грозди манифестацией родовых мук, искушенных смертью на вечное продолжение самих себя. Мистериум тремendum или простое смирение?..

Колесо тянет кожаный ремень в приводе иглы. Стежок за стежком сшивает оно материю.

Еще выше — пустота. А из той пустоты глядит на меня лик прабабки, обрамленный синим звездным платком.

Жизни ей было восемьдесят семь лет. Что там — революция, гражданка, кулаки... А отец — батюшка из беглопоповцев. Великая война оставила без мужа: пропал без вести. В две тысячи восьмом нашли в Сети, что захоронен, мол, в братской могиле близ Кракова. Дед ездил. Было и красное колесо, и колхозные грабли, и совхозные вилы, и еще четверо детей. Да, в общем, что... Обо всем понаписано, порассказано, снято — сами знаете, у своих и спросите. Помяните.

Из деревни ее увезли в квартиру дедовой сестры — отходить. Когда навещали, сказала: «Простите». И на следующий день отошла. В тот день я поймал первую в своей жизни щуку в пожарном пруду.

Фотография: на фоне тазов с мытыми стопками, в растянутых тренировочных, голова выгорела, худые черные локти, и с мистериум тремendum держу рыбину. Неглубоко под жабры, чтоб не уколоться.

Кило восемьсот. Зубищи, что у твоего бобика.

На всех трех поминках отсидел с интересом. Рис, мед, кутья, компот — хоть залейся... Как бабушка рассмеялась, когда плакальщица перепутала слова в «Вечной памяти».

Все зеркала в доме завесили, и над кроватью усопшей картина с трубящим ангелом.

— Ба, а что это за труба?

— А вот верят, что наступит день, когда все умершие, которые нам дороги, придут в виде ангелов. Их надо поэтому помять и никогда не говорить о них плохо.

— А что будет с теми, о ком никто вспоминать не будет?

Бабушка поправляет скошенную рамку.

— Не знаю. Злодеи, значит... чего им у нас делать?

— Они призраками станут, да? Будут нас пугать?

— Нет никаких призраков. Телевизора нагледелся.

— Нет, мне дед Саша говорил, что есть.

— Есть... там что угодно скажут. Уроки надо учить, а не по сторонам разевать.

Она рассердилась и выпроводила меня из комнаты.

Икона осталась. Но, когда в зале все снова налегли на белую, я вернулся, чтобы рассмотреть ангела.

— Дед, а почему вот так выходит: ангелы вроде как люди, а крылья им рисуют птичьи, с перьями. Я читал про самолеты, и там вот писали про подъемную силу. Что ветер должен крылья обдувать, и как бы...

Он долго щурится из-под берета.



— Э, брат. Они на неведомой силе летают, — и, возведя палец, добавляет: — И топлива, понимаешь, не несут.

Про «неведомую силу» я уже понимал, про топливо — чуть позже. Но все же, почему именно перья? Тогда я выловил в коридоре крестную, которая знала семь языков.

— Вот видишь, вокруг него пустыня и скалы?

Действительно, пейзаж вокруг тревожил. Сухие русла и черные кусты. На горизонте кровавой полосой запеклось светило.

— Это грехи наши. Горячие и тяжелые. Но вот ангел, — она поднесла мизинец ко рту, — безгрешен, потому у него нет тяжестей — и достаточно простых крыльев, как у голубя, чтобы нестись над пустыней. А когда летишь, — она положила ладонь на мою светлую голову, в которой все смешалось, — знаешь небо, знакомишься с Богом, и умереть не страшно.

— Но, когда он умрет, он же упадет на камни? — спросил я, отводя голову от ее теплой ладони.

— Нет, он поднимется за облака. Видел марево над асфальтом? Так и он будет.

— В космос?

— Нет, космос — это то, что видим мы, люди. А для него все — Божии угодья.

— Но... то есть он все-таки тоже умрет?

Крестная смотрела в стену.

— Кто умрет?

— Ангел.

На месяц комната оказалась для меня закрытой.

Мы болтались в тот вечер вдоль слободы с Костей, который ныне Костяк Жигалов из бывших люберов, другом детства, и прислушивались к гомону поминальной свиты. Начнется у Семён Яковыча с дядей Олегом драка или зальют? Но уже темнело, драки не было, и мы утопали в поле, довольные уже тем, что никто о нас не вспомнит до ночи.

Костя смотрел в небо над лесом. Солнце садилось в густую вату. Феб вот-вот сверкнет упряжью в последний раз — и до утра скроется его колесница о семи лучах в Тартаре. Или даже Юпитер, каким его писали на гравюрах, восседающим на вершине вершин — с лучезарной бородой, с лучом молнии в броши облачной тоги.

Там были пещеры, из которых драконы взирают на священные леса, где бродят друиды-чернокнижники. Их плащи поросли грибами, их магия в серых камнях. Стылые слизи под их стопами, над головами — паутина в росе. Там над ручьями парят-позвякивают тонконогие существа. Пальцы пляшут на тростнике. Глаза раскосы и...

— Слушай, а вот ты когда-нибудь думал, что там, за горой? — спросил Костя.

Он указывал на толщи облаков.

— Это не гора.

— А что? Вон за нее солнце садится.

- Но это не гора, — пожал я плечами.
- Да ты слепой, что ль? За ней — море. Наверное, Черное... хотя не, — он мнет подбородок, — Каспийское.
- Это облака, а не гора.
- Нет. — Костя теперь глядел не в небо, а в мой нос.
- Ну и думай что хочешь.
- Спорим?
- На что?
- Букашову поцелую, если выиграешь?
- Ну а чего... — Я засмеялся.
- И нет у нее бородавок.
- Нет.
- Нет.
- Посмотрим. Если завтра гора будет тут, то я проиграл. Если не будет — ты.
- Не будет чего?
- Горы.

Мы пожали друг другу руки — впервые, наверное.

Нет, не целовался Костя с Букашовой. Тем летом он ее вообще не видел. Да и лета оставалось всего ничего. Потом пахнул сентябрь, и меня свезли в город. А Костя так и остался со своей горой над туманным бором.

ВЛЕЧЕНИЕ

Однажды утром он открыл глаза, а все горы были в снегу. Границы исчезли, твердь небес сшилась туманом с плотью камней. Или то опустились облака, и можно было уткнуться в них головой. Тридцать четвертый день пути к краю света. Он боялся увидеть себя в зеркале. Мечтая о сухом и теплом, варил чай на горелке.

Завалы на козих тропах значили еще неделю задержки. А через неделю снова пошел снег, и некоторые монахи начали что-то пошептать. Русский принес зиму — унеси ее обратно.

Они разрешили ему жить при монастыре, спать в холодной комнате, питаться за одним столом с общиной. Идти дальше опасно. То, что ты слышишь — не гром, это катятся в пропасть камни. Он вообще хотел остаться у них, нюхом да брюхом ощутить обиход дикого тибетского монастыря. Тридцать четыре дня по тропам сбили спесь романтизма. И вот день тишины.

Коптят в печи ячи лепехи. Юные монашники жарят на кизяке баклажаны, лепят из ячменной муки фигурки. Сопливые, со свекольными щеками. Он вспоминает пятый класс, как ушел из дома, и его укусила собака.

Утром силлая малышня вопит молитвы. Завтракают на крыже, с ошметками снега под циновками. Соленый чай с маслом — очень много. Самый младенец носит термос по кругу. И день тишины.

В седилах что-то вьется, но что — не разглядеть. Винторогий череп, можжевелевый костер, осязаемый шелест колеса — и масло. Так много соленого чая.

Он сидит лицом к стене, чуть дыша в мигрени. Ему вырвали глаза снежные львы. Его глазницы обглаживают муравьи. Это горная слепота, потому что не надевал очков и обжегся о снег. Когда зрение вернулось, багровые мантии двигались в ночном небе. Оно было чистое, как в первый день.

Расстроенный хор. Ужин на веранде. Бирюзовые от снега пики и мерцание звезд. Небо — черный экран в проколах. За ним — сплошное поле света. «И небесная твердь была создана во второй день, дабы не ослепли люди», — пишет он в книжечку. На него поглядывают десятки монголоидных глаз: что-то там царапает. Смеются дети, склоняются головами в шепоте.

Трапезе конец, звонят в колокольца, утробно затягивают благодарность. Гелонги надевают красные шапки, как петушиные гребни. Расскачиваются в мерцании, протапливают бирюзу.

«Но больше всего я скучаю, — пишет он в книжечку, — по рассветам, по закатам. Да, это больше всего».

— Что там, на западе?

Он находит молодого ламу, знающего язык. Лама отвечает, что на том утесе ступы — могилы учителей. Издали похоже на бочонки фарфоровых изоляторов, которые он ребенком таскал с деревенских столбов. Откручивал прямо с крюками. Глянцевый фарфор, цокает о блюдечко вьюжная гжель. Пуховая прабабушка из вечности за расшитым платом. В росяном лугу, где затянула треск птица коростель, показывает она ему оплавленный закатом горизонт. И кладбищенские дубы.

— Ба, а почему хоронят на западе?

— Куда солнце — туда и человека снесут. Увлекает солнышко листочек-цветочек, увлечет и нас с тобою.

Винторогий череп маслится в шелесте колеса. И много-много соленого чая.



Иосиф БРЕЙДО

«И ВПОРУ СОЧИНЯТЬ РОМАН...»

* * *

Февраль. Синичка за окном
Косится глазом.
Мы думаем с ней об одном:
Нам хочется с зимой давно
Покончить разом.
Мне холодно, а ей вдвойне:
Мороз да голод,
Но эта птичка на окне
Напоминает о весне
В февральский холод.
Я из последних сил терплю —
Уже граница.
Не верь, пичуга, февралю,
Давай я о весне спою
Тебе, синица...

* * *

Хорошо зимой быть рыжим:
Рыжим солнце светит ярче.
Летом, когда солнце выше,
Рыжий в тень веснушки спрячет.
В бархатный сезон у моря
Рыжий с пляжем гармоничен,
И на солнечном просторе
Рыжий цвет вполне приличен.
А весной солнце горстью
Раздает веснушки рыжим,
Рыжих приглашайте в гости
И знакомьтесь с ними ближе.
Пересудам вы не верьте —
Это солнышкины дети.

* * *

И наступили времена,
Когда в потерях и утратах
Ни правых нет, ни виноватых,
Коль забываешь имена
И лица, близкие когда-то:
Река забвения темна.

Непроницаемый туман
Окутывает силуэты,
Что не узнать уже портреты
И впору сочинять роман
О тех, чьи не слышны ответы
Из вечных или дальних стран.

Такая черная тоска
Накроет с головой порою,
Когда вокруг давно чужое
И ноша жизни нелегка.
Но веришь все-таки в иное,
Во всяком случае, пока.

* * *

Необъятные дали и просторы степей,
Что ложились покорно под копыта коней
Орд, прошедших сквозь степи огнем и мечом,
Их следов не осталось нигде и ни в чем.
Где номады Турана поднялись на крыло,
Там владения ныне ковылей да орлов,
А где бился с врагами кочевник-кипчак —
Саксаулы, полынь, овсецы да типчак.
На вершинах курганов могильных трава,
Кто лежит там, не помнит людская молва...
По заросшим могилам бродят вольно стада,
Захватить степь возможно, победить — никогда.
Ослепительно солнце над степью горит,
Помнит всех только небо и, может, Тенгри.

* * *

Переходя из праха в прах,
в коротком, в общем, промежутке
испытывал, случалось, страх
и временами ужас жуткий.

Но на извилистой тропе
хорошее встречалось чаще,
тогда я в полный голос пел,
а жизни аромат пьянящий
сводил с ума, и потому
смеялся, за такую малость,
когда я видел свет сквозь тьму,
мне многое легко прощалось.
И снисходительно хранил
меня мой ангел неизвестный,
он, может, — из последних сил,
а мне — всю жизнь с ним интересно.

* * *

Прости за все, что не сбылось,
За то, что будто получилось,
За необузданную злость
И унижающую милость.
За равнодушие прости,
А за навязчивость — тем паче,
Когда я на твоём пути
Порой назойливо маячил
И вовремя не уходил,
Неловко перекрыв дорогу.
Прости, коль был тебе не мил,
Или оставь прощенье богу.

* * *

Ночью приснится, что богом отмечен,
и летишь, бед не зная.
Утром свинцовое небо на плечи
давит, виски сжимая,
отдаешь долг за ночные полеты
коварному Морфею,
или же это капризы погоды —
выбери, что милее.
Что бы ни выбрал, вначале лекарство
пьешь, запивая водой,
на голодный желудок. Где полцарства,
обещанные судьбой?
Так бывает страшно порой, до жути,
в наше время лихое:
за что оставила на перепутье
наедине с собою?



ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ

(1911—1943)

«СЕРДЦЕ НЕ ГРУБЕЕТ НА ВОЙНЕ...»*

Владимир Михайлович Чугунов родился 5 мая 1911 года на станции Иланская Красноярского края, в семье железнодорожного врача. Шести лет остался без отца. Еще подростком пошел работать на одну из шахт Анжеро-Судженска. Был коногоном, забойщиком, а после окончания Анжерского горно-промышленного училища — машинистом врубовой машины. Учился в Томском геологоразведочном институте. В 1936—1937 годах жил и работал в Новосибирске. И некоторое время — в Казахстане.

Стихи В. Чугунов начал писать еще в детстве. Печатался в газетах «Борьба за уголь», «Большевистская смена», «Советская Сибирь». В 1939 году в Новосибирске вышел поэтический сборник «Горячий камень». Писал он также очерки, рассказы, повести. Многие так и остались в рукописях.

В 1942 году добровольцем ушел на фронт. Воевал лейтенант В. Чугунов в составе 585-го стрелкового полка 213-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии на Воронежском фронте. Командовал стрелковым отделением, взводом. В минуты затишья продолжал писать стихи о подвигах фронта и тыла.

В. Чугунов погиб 5 июля 1943 года, поднимая взвод в атаку, в сражении на Курской дуге. Похоронен в деревне Белюдовке Белгородской области.

* Материалы предоставлены Городским Центром истории Новосибирской книги. Публикацию подготовил Алексей Горшенин.

ПОСЛЕ БОЯ

Хорошо, товарищ, после боя,
Выдыхая дым пороховой,
Посмотреть на небо голубое —
Облака плывут над головой.

И в затихшем орудийном гуле,
Что в ушах моих еще звенит,
Вся страна в почетном карауле
Над убитым воином стоит.

СВЕТЛАНА

Я друзей обманывать не стану:
Сердце не грубеет на войне —
Часто дочь, трехлетняя Светлана,
Мысленно является ко мне.

Теплая и нежная ручонка
Норовит схватиться за рукав...
Что скажу я в этот миг, ребенка
На коленях нежно приласкав?

Что не скоро я вернусь обратно,
А возможно, вовсе не вернусь.
Так закон диктует в деле ратном:
«Умирая, все-таки не трусь!»

Может быть, в журнале иль в газете,
Желтых от событий и времен,
Дочь моя, читая строки эти,
Гордо скажет: «Храбро умер он!»

А еще приятней, с нею вместе
Этот стих короткий прочитав,
Говорить о долге, славе, чести,
Чувствуя, что был тогда ты прав.

Я друзей обманывать не стану:
Сердце не грубеет на войне —
Часто дочь, трехлетняя Светлана,
Мысленно является ко мне...



ПЕСНЯ О ВИНТОВКЕ И ШИНЕЛИ

Солдатская слава сурова,
И жизнь боевая проста.
Лети, задушевное слово,
До дому, в родные места!
Шинель и винтовка — подруги
В походе, в бою у меня:
Одна сберегает от вьюги,
Другая — спасет от огня.

Три дня в обороне сидели,
В сугробах плясала метель.
От лютой окопной метели
Меня защищала шинель.

Когда мы в атаку ходили
К исходу четвертого дня,
Подруга-винтовка разила
Врагов, выручая меня.
В морозе и огненном дыме
Шагает родная семья —
Шинель и винтовка, и с ними
Солдатская слава моя.
Всегда и повсюду мы вместе
Любой выполняем приказ.
И нас не ревнуют невесты,
А жены скучают без нас.

СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ

Прошлой ночью вокруг месяца
Было желтое кольцо.
Нынче злая вьюга бесится
И швыряет снег в лицо.

Замело тропинки узкие,
Все дороги замело,
И мороз в просторы русские
Бросил синее стекло.

Мимо дымных, ладно срубленных,
Хлебом пахнущих домов
Земляки в тулупах дубленых
Шли в буран без лишних слов.

Шел обоз. Копыта цокали,
Пели скаты у саней.
— Земляки мои, далеко ли
Вы торопите коней?

Что ни дальше, тем морознее
И убродней зимний путь.
Вы устали, время позднее,
Не пора ли отдохнуть?..

Ударяя рукавицами
О тулуп, сказал старик:
— Не должны остановиться мы,
А поедем напрямик.

И взглянул вперед спокойно,
Щелкнул смерзшимся бичом.
— Вещи теплые для воинов
Красной армии везем!

— Путь счастливый вам, товарищи!
И в разгар родной зимы
Нас зовут войны пожарища —
Сокрушаем немца мы!

ПЕРЕД АТАКОЙ

Если я на поле ратном,
Испустив предсмертный стон,
Упаду в огне закатном,
Вражьей пулею сражен,

Если ворон, словно в песне,
Надо мною круг сомкнет, —
Я хочу, чтоб мой ровесник
Через труп шагнул вперед.

Пусть ускорит он походку
Среди выжженной травы,
Пропотевшую пилотку
Не снимая с головы.

Янга ТОДОШ

«КОГДА МОЙ ЧЕРНЫЙ КОНЬ ПАДЕТ...»

Стихи из фронтового дневника*



Творчество Янги Тодоша уникально для алтайской художественной литературы: это единственный пример фронтовой поэзии, которая рождалась непосредственно в пылу сражений, в передышках между боями, в госпиталях. С другой стороны, стихотворения Янги Тодоша являют собой редчайший образец запечатленной на бумаге традиционной воинской поэзии тюркских народов. Большинство стихотворений выполнено в жанре «кошонг» (песни в форме парных строф) и имеют классический четырех- и пятистрочный семисложный размер. Неслучайно сам себя поэт именовал по-алтайски «кошончы», что значит певец. Эти песни содержат древние формулы воинской присяги «шерть», ритуального проклятия врагу «каргыш», благословения воину «алкыш». В то же время стихи Янги Тодоша несут явственный отпечаток революционного духа, советской песенной образности, соединяя в себе национальное алтайское и общероссийское культурное наследие.

Стихи и песни Янги Тодоша из чудом уцелевших дневников начали возвращаться в оборот алтайской письменной поэзии с 1970-х годов. В 1984 году, к 40-летию Победы, был издан первый сборник стихов. В 2005 г. в Горно-Алтайске вышла в свет книга «Песни Янги Тодоша» на алтайском и русском языках. И вот, к 70-летию Великой Победы над фашизмом, навечно в строй возвращается поэт-воин, герой Великой Отечественной войны, алтаец-ойрот и советский солдат Янга Тодош.

Елена Королёва

* Публикация Егора Плитченко и Бронтыя Бедюрова. Перевод с алтайского Елены Королёвой.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВОИНУ — АЛКЫШ

Мои пальцы, как прутья решетки — аткыс,
Не ослабнут в боях на германской войне.
Голос мой, как маралий манок — амыргы,
Никогда не заглохнет в чужой стороне.

Мои пальцы, как прутья стальные — эмик,
Не ослабнут в смертельном и честном бою.
Голос мой, как манок для косуль — эдиски,
Никогда не затихнет в далеком краю.

Даруй мне, воину, отвагу, о, Кайракан, Алтай-Кудай!
Даруй мне силу богатырскую, великолепный Каан-Алтай!***

* * *

У истоков горного ключа
Воду пьем, ладонями черпая,
Не колеблясь, будем день встречать,
В бой с врагами Родины вступая.

У истоков чистого ключа
Мы напьемся, русло углубляя,
Без оглядки будем бить врага,
В смертный бой за Родину вступая.

* * *

Не страшатся схватки кони боевые,
Скачут лихо, давят лютого врага.
Крепко держат сабли руки молодые,
Рубят лихо и в бою удалы всегда.

Словно ветер мчатся кони боевые,
Скачут лихо, пляшут в сече под седлом.
Крепки духом воины наши молодые,
Без печали рубятся на войне с врагом.

*** Кайракан, Алтай-Кудай, Каан-Алтай — Всевышний, Владыка — эпитеты Бога. — Прим. пер.



* * *

Алтай мой с белыми цветами
Окутан снежным покрывалом,
Моя супруга золотая
Объята грустью небывалой.

Алтай мой с синими цветами
Окутан снежной пеленою,
Там смуглолицая подруга
В печали встречи ждет со мною.

* * *

Когда мой черный конь падет,
Отыщет ли ворона кости?
Когда мой смертный час придет,
Кому скажу о смертной грусти?

Когда саврасый конь падет,
Найдет ли кости ворон в поле?
Когда мой скорбный час придет,
Кому скажу о тяжелой доле?

* * *

Из дягиля стеблей упругих
Огонь в сухом логоу разжег.
Оплакивая гибель друга,
Тяжелым шагом мерил лог.

Взяв палую листву в охапку,
Костер на поле запалил.
Сражен товарищ верный в схватке,
В тоске я по полю бродил.

* * *

Хвост пегого коня-трехлетки
Как травы в поле распустился.
Мой брат родимый сгинул в схватке,
Со мной навеки разлучился.

Хвост черного коня-трехлетки
Как куст весенний стал кудрявым,
Мой брат единственный, любимый
Пал на войне в бою кровавом.

* * *

Хоть сколько грей пустую воду —
Не наварить в воде каймака.
Хоть сколько ни стругай полено —
Не воротить родного брата.

Хоть сколько грей сырую воду —
Не наварить густого супа.
Хоть сколько ни руби полено —
Не возвратит милого друга.

* * *

Лисью шапку истрепал я,
Лучше б и не надевал,
Друга в битве потерял я,
Лучше б и не оставлял.

Истрепал из выдры шапку,
Лучше б вовсе не носил.
Брат родимый пал, сражаясь,
Лучше б с ним я рядом был.

* * *

Крутая черная дорога
Когда же снова зарастет?
Мой брат родной с войны далекой
Когда на родину придет?

Едва заметная тропинка
Когда же снова зарастет?
В печали брат меня покинул,
Когда он в дом родной придет?

Пётр ДЕДОВ

СПОЛОХИ*

Из записных книжек и дневников

Воспоминания из детства

Идем как-то с внуком в магазин за хлебом, и трехлетний Ванюшка всю дорогу пытается меня переубедить:

- Купи, деда, «сникерс»! А хлеб не надо.
- Это почему?
- Хлеб несладкий...

А мне вспоминается военное детство, нищая деревушка, затерянная в снежных кулундинских степях, наша избушка с глинобитным полом и крохотными бельмастыми оконцами, затянутыми бычьими пузырями вместо стекла, — и в ней мы, четверо голодных и холодных сирот мал мала меньше. Мне, старшему — восемь лет.

Сестренка канючит жалобно, на одной ноте, просит хлеба или картошки. А я стараюсь отвлечь ее:

— И что тебе дался этот хлеб? Вот погоди, вырастешь большая, отдадим тебя замуж за Ивана Царевича, дак ты этот хлеб собакам кидать будешь, а сама одни конфеты да сахар ешь.

Сестренка замолкает, ее сотрясают судорожные всхлипы, она долго соображает и наконец решает:

- Нет, лучше мне хлеба. Сахаром ведь не наешься.

...Мы с внуком заходим в хлебный магазин. Народу здесь негусто: как известно, сейчас вполонину сократился спрос на продукты из-за их дороговизны. У кондитерского отдела толкуются оборванные дети — сироты или из беженцев: много сейчас в городе таких, все к ним привыкли.

— Мозолят весь день глаза, — ворчит пожилая продавщица, — спасения от них нет.

Однако хоть и редко, но кое-кто из покупателей дает детям то дешевую конфетку, то пряник, а те тут же с жадностью поедают.

— От настали времена, — словно бы оправдывается перед покупателями продавщица, — в войну такого не было.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2015, № 3, № 4, № 5.

Ну почему же не было? Было. Наша старенькая учительница Анна Константиновна даже на хитрость пускалась, когда дело касалось сладостей. Бывало, начнем решать в классе задачку по арифметике, а не дай бог, если в ней там фигурируют пряники или те же конфеты — все, считай, урок сорван. Ударимся всем классом в воспоминания, кто и какие сладости ел — тот лампасейки или подушечки, другой — овсяные печенья или халву, да так и прокричим, глотая слюнки, весь урок.

И вот в один прекрасный день исчезли из задачек сладости, их заменили солома, сено, опилки, даже кирпичи!

— Хозяин купил 12 килограммов соломы, девять — сена, — диктует Анна Константиновна задание на дом.

Кажется, зачем покупать сено, когда его косят сами, а солому дают на трудодни? Ан не проверишь: задачник на весь класс один, у Анны Константиновны.

Собственно, особого значения я этому как-то не придавал, а разоблачил ложь учительницы случайно. Как-то заболел, не ходил несколько дней в школу, и Анна Константиновна принесла мне на воскресенье задачник, чтобы я порешал задачки самостоятельно и не отстал от класса. И вот, когда учительница ушла, а я стал листать затрепанную книжку, тут-то и обнаружился обман. Оказывается, в задачках все было как прежде, на своих местах: пряники и конфеты, яблоки и груши, халва и варенье. И это уж Анна Константиновна, диктуя нам задачки, заменяла их на сено и солому, поленья и кирпичи.

Вот и подумал я столько лет спустя при виде голодных и оборванных детей: а не положили ли нынешние власти в их ручонки вместо обещанных сладостей солому и кирпичи?

7 апреля 1996 г.

* * *

Трудное военное деревенское детство... Оно нас приблизило к природе, откинув на столетия, а может, и тысячелетия назад... Только что лопухами не прикрывались вместо штанов, а остальное все так же было, как у диких предков.

И даже нужную травку себе инстинктивно находили от той или иной болезни, как зверята.

* * *

В детстве я много претерпел горя, но редко плакал. Чаще плакал не от обиды и даже не от побоев, а тогда, когда меня жалели: «сирота». Казалось бы, надо плакать от боли, а от добра?..

* * *

Из людей с трудным детством порой вырастают жестокие, черствые, самовлюбленные люди, которые кичатся этим детством до старости, как заслугой, и желают, чтобы всем окружающим было тоже трудно, нехорошо. Надо иметь большую душу, чтобы, пройдя через трудное детство, наоборот, проникнуться состраданием к людям.

* * *

Мы — ущербное поколение.

1. Мы росли без отцов и не видели примеров мужества, бесстрашия, силы, прямоты... Матери могли нас научить только работать да исправно подчиняться (сами были забиты).

2. Мы не видели положительного примера у окружающих мужиков — колхозами руководили подонки, коим при настоящих мужиках ничего не перепадало, а теперь они «наверстывали»... Или — кто спрятался за бронь... Кто в войну выживал из мужиков?

3. Я поздно узнал Есенина, Бунина; в самом восприимчивом возрасте я не имел нужных книг.

4. У нас не выросли мускулы, как у деревьев в засуху — годовые кольца.

5. «Война меня обидела» (из замечаний преподавателя в мой адрес).

6. Мы запуганы «начальством», всю жизнь выдавливаем из себя раба, как Чехов.

Но мы многое вынесли из детства. Мы видели жизнь настоящую, а не по играм и учебникам. Я умею пахать, косить, строить и прочее.

* * *

Неистребимо живут во мне звуки и запахи детства! Живут чувства, картины.

Осталось детство золотым, хоть и горечи были, но смотрел ведь на мир чистыми глазами ребенка.

* * *

Первый раз за много дней выглянуло солнце, и засияло все, и поднялось настроение, и как результат написалась эта новелла. Прав великий Бунин: «Первобытно подвержен русский человек природным влияниям».

Осеннее утро

На листьях деревьев и разноцветных кустов, что подступают к самому окну моей комнаты в Переделкине, — сахаристый налет инея. Распахиваю форточку — и вот они, листья, на расстоянии дыхания! Был

крепкий утренник, но листья живые, или это только кажется? Взошло солнце, желтый лучик стал перебирать листок за листком, — и они отпотели, глянцево заблестели и обвисли, отягощенные тяжелыми каплями, а некоторые, не выдержав, стали срываться с ломким хрустом и бесшумно падать во влажную, удивительно зеленую траву...

А запахи, запахи! С чем сравнить лесные осенние запахи? Это и аромат тронутой утренником зелени, и запах яблок, куда вплелась еле уловимая струйка сладкого дымка, бог весть откуда занесенного в этот дикий, неприбранный парк. Жгут ли где осенние листья или рыбацкий костер потрескивает на берегу недалекого озера, и так хорошо становится на душе, и сразу припоминаются костры детства, ночная степь под ясной луной, вся сверкающая, будто снежная равнина, голубыми искрами росы.

Но вот солнце набирает силу, и, просвеченный насквозь, сияет каждый древесный листок. Особенно хороши кленовые листья — большие, трехпалые, лимонно-зеленые, с красными, как кровеносные сосуды, прожилками.

Но всех затмевает рябина, растущая против моего окна, среди кустов тальника и молодых березок. Раньше ее не видно было совсем, а теперь, когда облетели с соседних деревьев листья, рябина словно выступила вперед, алая смугло-багряными листьями и алыми гроздьями ягод. Я не знал, что рябиновые ягоды так любят вороны. Собралась их целая стая, но не так-то просто взять рябиновую ягодку, пучками висящую на тончайшей, колеблемой от малейшего прикосновения веточке. Вороны пытаются достать кисти с крепких, растущих от ствола веток, выцеливают ягоды с налета, но не тут-то было: легче поймать что-нибудь живое и летучее в воздухе, чем ухватить трепетную ягодку, ускользающую от малейшего прикосновения взмахивающих крыльев.

И тогда какая-то из ворон придумала... Я отошел от окна, занялся своим делом, а когда выглянул снова, то немало удивился: на рябиновой ветке вниз головой висела большая ворона. Висела неподвижно, сложив крылья, словно мертвая. Что за чудеса? Попала лапкою в настороженную кем-то петлю? Но почему не бьется, не машет крыльями, не орет? Да и остальные вороны спокойно сидят под рябиной и с выжидающим любопытством посматривают на «повешенную».

Но вот ворона делает рывок, взмахивает крыльями — и вниз летит большая рябиновая кисть, и сидящие на земле мигом кидаются к упавшему лакомству, так что трудяге, пока она кружит над стаей и громко орет, уже ничего не достается...

«Так вот оно в чем дело, — догадываюсь я, — чтобы добыть крепко соединенную с веткой рябиновую кисть, вороне нужно прицепиться и схватить ее в лапищу, а потом, то взмахивая крыльями, то повисая вниз головой для отдыха, попытаться ее оторвать».

1989 г.



* * *

Чтобы писать пейзаж, надо чувствовать его сердцем. Если включен только разум — ничего не почувствуешь, не услышишь и не увидишь. Это — как картина и фотография...

* * *

Пустой день. Впредь нельзя себе этого прощать!..

* * *

Чтобы писать о своем народе — нужно ведь обладать интуицией, языком, внутренним зрением и знанием...

* * *

Был утренник. А сейчас разгорается солнечный, яркий день. Все желто за окном; кажется, и в комнате желто. Солнце движется, серебристая от инея тень отступает, становится темной и сырой...

* * *

Сибирью и сейчас пугают, а мы здесь живем...

* * *

Всякий раз садиться писать надо с чувством, что ничего еще не сделано, а что сделано — чепуха, и вот только сейчас напишу самое главное, для чего и на белый свет-то родился... Или так: будто пишешь последнее, последний раз в жизни, и потому нужно сказать все — и о мире, и о себе...

* * *

Вчера пошел по «столовой» дороге и на людной поляне чуть не наступил на тетерева: он взорвался из-под снега прямо у дороги, в метре от меня. На этом месте обнаружил пещерку под снегом, примерно один метр от входной ямки до вылета. Посередине — дырочка: видно, высовывал голову, наблюдая за мной. Глубина снега — около 20 сантиметров, так что дно пещерки — земля. Но почему один и почему у дороги?

Декабрь 1989 г., Ерестная

* * *

Отзываться худо о другой нации — безнравственно. Это — как понятие о красоте: у некоторых азиатов, например, образец красавицы — круглое лицо, маленький нос, раскосые глаза и т. д.

* * *

Каждая былинка и букашка достойны тщательного изучения и исследования, а тем более человек. Жизнь коротка, а человек стремится увидеть плоды своего труда, вот и гонит вороных, а это очень опасно, если он у власти.

* * *

Я обладаю не очень-то уютным для окружающих свойством: обрастаю моментально книгами, журналами, газетами, будь то дома, на даче, даже в командировочной гостинице. С годами жадность к книгам растет, становится не только увлечением, но и болезнью.

* * *

Беден не тот, у кого мало, а тот, кому мало.

* * *

Наступает осень. Порывами идет дождь. Ветрено, только береза во дворе, кажется, не обронила ни листика, лишь стала совсем лимонной, и клубится, и волнуется под ветром сплошной, вытянутой кверху золотой шар! На это кипящее золото можно смотреть без конца, как на огонь или на море: все движущееся, изменяющееся всегда влечет к себе.

* * *

Поздний вечер. Только что помыл на улице ноги, пробив пленку льда в тазу (с прошлой ночи не растаяла). Хорошо-то как! Ноги горят, и аж в голове посвежело. Ночь звездная, тишина, и в этой тишине — крики диких гусей, усталые, печальные... Даже не верится, что еще они где-то есть и до сих пор летают на фоне ползающих между звезд спутников и ракет. Это не сбивает их с пути?

Ах, какие стоят ночи! Морозец легкий, звезды такие крупные, что от них светло... И водная гладь — далеко-далеко...

* * *

Морозно. Вокруг солнца — сияющий круг — ни дать ни взять лик Богородицы в нимбе.

* * *

Ночь. Мороз. Столбы света, как от прожекторов, от фонарей уходят в черное небо.

* * *

Истинному охотнику не нужна дичь на блюдечке, если ей не оставлено шансов на спасение, на уход от преследования. Соревнование с дичью в смекалке, храбрости, выносливости, силе — вот что отличает честного охотника.

* * *

Стали нежно-розовыми от «загара» тончайшие кружева березовых крон, и грачиные гнезда на них чернели особенно резко и грубо...

* * *

Грачи: тополя и ветлы вокруг села — все в черном. Громадные стаи грачей тянутся в одно и то же время — черная полоса на розовом закате. Будто дым пожарища. Чем они питаются? И в детстве так — нигде столько не видел.

* * *

Дышит жаром степь, все пропахло полынью и клубникой, даже одежда... А ночи, лунные ночи...

* * *

Березы тут — как судьбы людей: изверченные бурей, скотом, людьми, изувеченные.

* * *

В окно вагона — березовый лес. Стволы мелькают, как березовый ливень. Серебряные струи, когда дождь пополам с солнцем! И в глазах рябит...

* * *

Древние звуки деревни. Заржала лошадь, ей отозвался в лугах жеребенок, скрипнул колодезный журавль, залаяла собака, заблеяли овцы... И древние запахи — древесного дыма, овечьего катуха и снега...

Ветряк

Где сейчас увидишь ветряки? На картинке, и то нерусской книжки, как Дон Кихот сражается с мельницей...

Раньше русским пейзажем были церкви и ветряки. Ветряки делали без гвоздя (восьмигранные, правила, конфигурация крыльев, жернова).

Я еще застал, как возили хлеб молоть, подводы, я чуть не надорвался, а потом, в юности, слушал посвист ветра в крыльях. Соревновались: кто выше поднимется на крыле.

* * *

Для чего природа создала человека? Чтобы через его посредство познать самое себя? А зачем ей, природе, это нужно? Тем более что человек, познавая ее, приносит ей больше вреда, чем пользы.

* * *

С осени не был здесь. Пришел 28 февраля, погода плюс два. В погребке нормально, хорошо, что я насыпал отравы — видать, были мыши, но погрызей пока не обнаружено. Зато в избе... Всю жизнь учу всех аккуратности, а сам оплошал: в кармане жилета оставил семечки. Мыши проели оба кармана, изодрали в клочья, осталась лишь шелуха... А был случай, когда я оставил на столе целый мешок семечек. Прихожу зимой, в лютой мороз, а на полу кожуры — до щиколоток, а в мешке в семечках — голые мышата. Чуют они, что ли, семечки, что прогрызают пол? И потом: видимо, плодятся они лишь тогда, когда «понимают», что корму хватит надолго, до весны.

3 марта 1987 г., Ерестная

О чем грустят снегири?

Птичьи голоса всегда веселые. Только снегири свистят грустно. О чем они грустят? Может, о том, что нет у них родины и кочуют они вслед за зимой?..

* * *

Утренняя заря — самое прекрасное явление природы. И она — словно для избранных, а не для всех. Многие ли видят восход солнца? Кто рано встает — тому Бог подает. И не только зарю.

* * *

Море без волн, а над ним небо без облаков. Скучно... Лес настраивает на раздумья, степь — на безоглядную удаль или печаль.

* * *

Юг, юг! А что юг? Родной осиново-березовый колок в Кулунде даст сердцу больше, чем кипарисовая роща.

* * *

Много у природы чудес. Одно из них — жаворонок.

* * *

Сочетание лунной ночи и озерной глади, тишина. Все призрачно, фантастично, таинственно... В такие ночи и в таких местах, наверное, рождаются легенды о русалках, леших и пр.

* * *

Корабельный сосновый бор. С краю в подлеске, на опушках и на полянах — заросли березняка, осинника, черемухи, калины, боярки. Все это цветет по весне, пылает разноцветьем красок осенью. А великанам соснам, кажется, чужда эта земная возня — они устремлены в небо.

* * *

Много лет назад председателем колхоза был Ф. Никулин. Чудак. Мечтал бахчи развести, рыбу ценную, сам пас коров. Многих председателей забыли, а его помнят до сих пор... Рыбы в озере Чаны было — весло стоит, как в густой каше...

* * *

Дня три назад наблюдал «древнюю картину»: в полнеба закатная темно-вишневая заря над темным простором воды «моря» и над всем этим — гусиный клик (гогот, переключки в темнеющем небе — берущие за сердце древние звуки)...

Понимаю: не до любования природой сейчас. Ну а что же теперь, заживо ложиться в могилу? А ведь уныние — великий грех.

Если мы не укрепимся природой — нас изведут как нацию. Мы всегда жили с природой... Она поможет нам выстоять. Уйдем в свои садовые участки.

А может, сейчас это главное — общение с природой, с источником жизни, с началом наших начал, — как и с Богом?

* * *

Дома все новые, а старые, обитые только и на подпорках, стыдливо прячутся за гущу тополей да кленов.

* * *

Жили бедно. В дырявый пим пихали солому, она в дыре-то и торчала...

* * *

Сизые тучи, поле, почерневший от дождей огород, копна сена, косо летящая по ветру ворона... Печаль полей, поэзия России!..

Что в этой картине? А как кольнет сердце!

Тройной одеколон

Дело было весной, в пору моего учительства в деревне Рождественке. После Первомай вызвал меня в контору колхозный парторг и попросил съездить к сеяльщикам на культстан, прочитать там лекцию или провести беседу.

— Надо, — сказал он. — А коня вот хоть моего в ходок запрягите. Лучше бы, конечно, под седлом, вершки — дорога уж больно грязная...

Я сказал, что в детстве пас коней, больше того — приходилось обучать полудиких лошадей.

— Так вам и карты в руки! — воскликнул обрадованный парторг.

До культстана было километров пять, да только кто их считал, степные версты? Дорог там десятки и сотни, кому как вздумается, так и едут — благо земля всюду тверда и ровна, как стол. Но весной после талых вод степь бывает коварной. Так называемые солонцовые «блюдца», почти незаметные на сером фоне равнины, таят в себе большую опасность.

Вот и я по незнанию мест и рассеянности врюхался в одно такое «блюдечко». Решил спрямить дорогу до культстана, спустился под гриву и вроде правил по сухому, по рыжей и красноватой прошлогодней травке, как вдруг сразу зачавкало под копытами. И не успел я дернуть повод, чтобы осадить с рыси коня, как он рухнул по колено в солонцовую трясику. Я попытался повернуть назад, но лошадиные ноги протыкали почву так же легко, как болотную лабзу*, конь забился и сразу сел по брюхо. Я спрыгнул с седла подальше от чавкающего месива. Солончак резиново прогнулся под ногами, но удержал. Я потянул коня за повод, пытаюсь развернуть, — молодой, помню, дурашливый был меринок. Он не на шутку, видать, перепугался, стал дергаться и визгливо ржать, все ниже оседая. Да я и сам растерялся, забегал вокруг, пока не влетел по пояс в растоптанный конем солончак. Но у меня были свободные руки. Я распластал их по зыбкому целику и кое-как выкарабкался. Промок по уши, сапоги были полны грязи, а грязь была пополам со льдом. Но переобуться было некогда. У костра высушилась только спина, и я напрямик ударил к деревне, звать на помощь.

Лошадь спасли. А когда я пришел домой, то встал вопрос и о моем спасении: в мокрой одежде и обуви на ледяном ветру я настолько продрог, что не мог выговорить и слова. Скулы мои свело, руки были как грабли. Ноги ничего не чуяли, стали как деревянные.

— Топи, бабка, баню! — закричал дед Картузов, у которого я жил на квартире.

— Ах-ти, ах-ти! — завохтала баба Анна. — Шпиртику бы ему!

— Во, голова! — засуетился, одеваясь, дед и рванул из избы на поиски спирта.

Старики меня любили — как сына.

* Лабза — жидкая торфяная масса, образующаяся из гнилых остатков озерной болотной растительности.

Во время посевной и уборочной спиртное в сельские магазины не завозили. Дед избегал всю деревню, но бесполезно! Не было не только спирту или водки, даже самогонки достать не удалось: все за праздники истребили.

— Могешь и помереть, — обрадовал меня дед, — ведь ее, простуду-то, банькою только снаружи отпугнешь, а чтобы изнутри прогнать — спирт нужен.

Но старик был мудр. И когда я вернулся из бани, выход из положения был найден.

— Держи, — сказал дед, протягивая мне пустую литровую кружку.

Руки мои дрожали, озноб и вправду вроде бы спрятался глубоко внутри, и не мог я его выгнать ни паром, ни веником.

— Лечить дак лечить! — бодрился дед и опрокинул мне в кружку объемный пузырек с тройным одеколоном. Жидкость плохо лилась сквозь узкое горлышко, пузырилась и пенилась, а дед тряс флакон и поругивался:

— Ничо-о! Только бы из узкого горла вылить, а в широкое само пойдет.

Он и второй флакон вытряс, налилось полкружки, а потом разбавил водой. Одеколон по-змеиному зашипел, аж побелел, как молоко, от злости, и на поверхности заскакали брызги-пузырьки. Прямо кипяток!

— Пей! — заорал дед Картузов. — Пей, если не желаешь к родителям!

Я без роздыха опрокинул всю кружку и почувствовал, как прохватило меня до самых потрохов каленым железом. Потом глаза полезли из орбит — я даже придержал их руками.

Зато утром я был здоров.

Хвостик

Юмореска

— Пожалуйста, привлеките меня за хвостик...

Прокурор потер сначала виски (устал, наверное, так за день, что и соображать перестал). Потом протер очки и внимательно поглядел на стройную истицу — пожилую даму в таком пушистом воротнике, что из него была видна одна лишь макушка.

— Нет-нет, вы не ослышались, — пропищало из этого воротника. — Прошу привлечь меня, наказать и оштрафовать, если вам угодно. Только лишите меня хвостика.

— То есть?.. — Прокурор потянулся к графине с водой.

— Нет-нет, — запищал воротник, — не считайте меня больной или сумасшедшей. Напротив, я сейчас в самом здоровом уме. А вот десять лет назад... Одним словом, замуж я тогда выходила, товарищ прокурор. А муж-то мой будущий да на пять лет моложе меня был. А я-то с 910-го. Вот и исправила в паспорте нулик на девятку. Хвостик, значит, подрисовала. А теперь вот пришла: пора пенсию получать, а хвостик-то этот на целых девять лет назад меня потянул... Привлеките меня за хвостик, товарищ прокурор, а?

* * *

Плясали — аж стени говорят!

* * *

«Эй вы, мордатые, в шапках ондатровых!..»

* * *

Есть ратники, есть жратники.

* * *

Ухажер — человек, очень любящий уху.

Картинки с природы

Скотник:

— Я коровам морды комбикормом напудрю, чтоб начальство не сомневалось, а остальное — домой...

Январь 1986 г.

* * *

Я за рулем — ни-ни! Не пью. Всегда на травку вылезу...

* * *

Из рассказов сына Саши, который жил в Кремлевском совхозе.

В деревне отмечали свадьбу. А обычай такой: жениху и невесте подносят каравай с округлыми крутыми боками, молодожены кусают его с двух сторон. В обычае этом есть тайный умысел, который, однако, всем известен: кто больше сумеет откусить, тот и будет держать верх в семье. Невеста перестаралась: так раскрыла рот, что вывихнула челюсть, а закрыть не смогла. Ее увезли в Коченево в больницу.

* * *

В детстве в клубе пролезали в разбитое окно смотреть кино. Полез один да застрял, а сзади — кинщик. Палкой его. Он — орать. Из зала мужик думал, что хулиганит мальчишка, да за уши его, а он:

— Пусти, дяденька, меня уже с того конца бьют!

1981 г.

* * *

— Боюсь я воров, батюшка.

— Да что у тебя братъ-то, бабка, голая квартира.

— Во-во, потому и боюсь. Залезут, окаянные, и давай меня дубасить: старая, мол, хрычовка! Век прожила и ничего не нажила. Здря тока лезли к тебе...

* * *

Плохая память стала: где завтракал — туда и обедать иду.

* * *

— Тебе два глаза и два уха дано, а рот один. Это чтобы меньше говорить, а больше смотреть и слушать.

* * *

Камчатская рыба мечет икру за рубежом...

* * *

Хорошо, когда писатель пройдет огонь, воду и медные трубы... (Шукшин: «и вырезвитель»).

* * *

Кто говорит, что у русского народа не было никаких прав? А крепостное?

* * *

Водка — она смирная, пока в бутылке. А как в человека вольется, начинает бунтовать.

* * *

Теща говаривала, глядя на буйство наших сыновей:

— Уже от этих точно народятся «з рогамы».

* * *

«Пошли дурака за бутылкой — он одну и принесет...»

* * *

Когда она идет купаться — Обь выходит из берегов...

* * *

Мужик, собравшись на телеге в дорогу, жене:

— Садись уж, щоб дощечка не бренчала...

* * *

Белый, чистый лист бумаги. И о таких пустяках в смертный час?.. Какой же это пустяк, если без него — нет для меня жизни, все остальное теряет смысл?

Юрий ЧЕРНОВ

ОСОКОРЬ

О Владимире Сапожникове

Хороший человек похож на хорошее дерево.

В. Сапожников. Дорога на Коён.

Володя... Константинович

С Владимиром Константиновичем Сапожниковым — замечательным русским писателем, участником Великой Отечественной (через штрафбат — в казачах 4-го Кубанского корпуса) — мы познакомились и подружились во второй половине шестидесятых прошлого века. Я тогда заведующий отделом «Молодости Сибири», только мечтавший о писательской стезе, а Владимир Константинович уже известный амбициозный прозаик, сабельных слов которого побаивались не только мы, «начинающие», но и его коллеги по литературному цеху. Кроме того, нас разделяла и разница в возрасте — целых пятнадцать лет. Впрочем, эти обстоятельства теряли церемониальную силу в первые же минуты общения с таким энергичным, эмоционально отзывчивым и в целом милосердным собеседником, каким на поверку был Владимир Константинович. Думается, сказывалась тут и его журналистская практика частых и скорых знакомств — в годы, когда он тянул газетную лямку в Томской области.

Да, мы быстро сошлись и перешли на «ты». Но иногда, сказав «Володя», я невольно запинаясь и обращаясь повторно — по отчеству. Не помогало и его размашистое письменное свидетельство — на книге «Шаманка» — как бы узаконивающее неформальность наших обращений: «Юре Чернову — рыбаку, охотнику, другу». Даже теперь, когда, к горькому сожалению, мною односторонне одолена возрастная планка в те самые пятнадцать лет и появилось мое физическое старшинство в два года — чего никак не могу вообразить, — между нами так и остается старшинство его — фронтовика, писателя, борца.

Окунаясь в ауру наших встреч с Владимиром Константиновичем, — всегда желанных, живых и непредсказуемых в исходе, — я надеюсь, что они добавят какие-то новые штрихи к его творчеству и неординарному портрету.



Несчастный «счастливчик Лазарев»

Однажды в мой редакционный кабинет на улице Советской заглянули сразу два сибирских классика и друга — Илья Лавров и Владимир Сапожников.

— Вот видишь, Юра, — прокомментировал сей факт Сапожников, выставив бутылочку вина, — на поклон к Шолохову ты ездил на мотоцикле, а теперь к тебе заходят писатели сами, да какие — маститые, солидные. — При последних словах он с доброй усмешкой шлепнул по плечу грузного Илью Михайловича, еще пыхтевшего после подъема на второй этаж.

Мы заперлись на ключ, выпили за встречу, и разговор сам собой скатился на одну из крамольных, «кухонных» тем: писательской несвободы, разоренного крестьянства, ущемленного — в интернациональном Союзе! — положения русских. Проблемы эти — большие, свербящие, как занозы и язвы, — казались тогда безвыходными, заложническими в условиях титанической схватки двух глобальных социальных систем.

— Куда вы, диссиденты, суетесь? — урезонивал нас «голубь» Илья Михайлович. — Вы песчинки между жерновами: Америкой и Советским Союзом! Сотрут вас в пыль!

— Такая пыль кое-кому глаза и протрет! — парировали мы, «ястребы», а в сущности те же «голуби», только ворчливые — по углам.

Сразу оговорюсь: по-моему, честный человек, особенно писатель, не мог и не может не быть диссидентом — ни тогда, в застойные советские годы, ни тем более теперь — в пору воровского олигархата «в законе». Но и диссиденты диссидентам рознь. Одни по поводу недостатков в обществе злорадствуют, раздувают их масштаб, копаются со скальпелем в старых ранах и готовы, как бывало в советское время, этот негатив, особенно в художественной упаковке, продавать — врагу. Для других тот же негатив — отеческая боль, жгучее желание его устранить, извлечь уроки на будущее.

У Владимира Константиновича, как я узнал позже, были и свои личные счеты с советской властью. Семью Сапожниковых — в селе Ключки Алтайского края — летом двадцать девятого раскулачили под корень. Мать шестилетнего Володи отправили на три года на Сахалин, отца осудили по печально известной 58-й статье, а их многочисленных родственников, отправленных в Нарым на барже, по «чьей-то злой воле высадили на обской песчаный остров, и все они той же зимой на том голом острове нашли покой» (В. Сапожников, «Распятие с бриллиантами»). Едва не погиб тогда и сам временно осиротевший Володя, а позже, будучи студентом Тюменского пединститута, был осужден «тройкой» за правдивую фразу о культе личности (в своем дневнике) на 10 лет лагерей и пять лет поражения в правах...

В том памятном мне споре между Лавровым и Сапожниковым Илья Михайлович в защиту советской власти вспомнил, что она впервые «дала кухарке кусок хлеба и грамоту дала». «Ага, а эта кухарка, — язвительно продолжил мысль товарища Владимир Константинович, — потом родит сына, скорее всего безродного, который и потянет тебя за бороду». Теперь понятно, какой подтекст маячил у него за этой фразой.

По-разному носили в себе люди творческих профессий клеймо репрессий, по-разному оценивали их природу. Размышлениями на эту тему пронизаны

многие страницы книги Сапожникова «Распятие с бриллиантами», написанной, по его ремарке, «в лето второе от начала перестройки», — особенно ее главы «Кто виноват?» и «Враг мой».

Назначение честного писателя, и без того обремененного ролью «совести народа», в лице Владимира Константиновича, чудом ли или по воле провидения уцелевшего в огненном аду войны, обрело ясную выстраданную цель — сказать правду не только о себе, но и о трагической судьбе погибших в штрафбатах, в бесчисленных лагерях «по северам: енисейскому, колымскому, обскому»; «сказать свое слово, если не слово, то хоть полслова, звук единый: кто виноват?» «Вопрос-боль, который мучил <...> всю жизнь», потому что «если мы не ответим на проклятый этот вопрос, то жить-то как дальше будем?»

Ответить, сказать... А как донести свою правду под оком недреманным цензуры, обозначенной невинным словом «лито»? Вопрос не праздный, во многом определявший характер и форму самого творчества, его эзоповскую суть.

Вспоминаю: откровением по этому поводу Владимир Константинович поделился со мной во время нашей первой загородной поездки «на природу». Ранней весной (любимым, как я не раз убеждался, временем года Сапожникова) на моем «шолоховском» мотоцикле мы закатились на живописный берег Обского моря (в районе Пичугова), чтобы подышать его влажным, свежим воздухом, послушать жаворонков, чибисов, а повезет — и сибирского соловья-пересмешника — варакушку.

Только поставили Володину палатку, как порывистый ветер неожиданно переменялся и раздул ее до угрожающих размеров — как у той крыловской лягушки, что лопнула от натуги превзойти по величине вола.

Пока я плавал с сетешкой за ельцами и окуньками для ухи на резиновой лодке Володи, едва не искупавшей меня, ее хозяин развел костер, в солдатском котелке вскипятил воду, а на ближайшем лужку успел нащипать пучок дикого щавеля — еще молоденького и красноватого от утренников. Хлеб и картошку Владимир Константинович ловко резал самодельным ножичком, ручкой которого служила запаянная свинцом винтовочная гильза. Глядя на эту фронттовую реликвию и делового кострового, я невольно вспомнил его эскадронного повара Михеича из книги «Рассказы старшины Арбузова», умевшего не только добывать подножный корм, но и варить «суп из топора». Впрочем, у нас кроме полевой зелени была и кое-какая снедь, и уха рыбацкая...

— По закону Архимеда, после вкусного обеда, — начал я известную с детства присказку, — надо...

— ...полежать! — dokonчил Владимир Константинович, залезая в палатку. (Второй вариант «закона Архимеда» — «надо закурить!» — был не для нас. Я не курил вообще, а Владимир Константинович навсегда покончил со зловердной привычкой на свой манер: в присутствии жены Натальи Ивановны и сына Алёши искромсал и бросил в унитаз целую пачку сигарет, брезгливо отряс руки и с громогласными словами: «Туда тебе, падла, и дорога!» — спустил воду.)

Мы блаженно растянулись на кошке в палатке-лягушке. Изнутри казалось, что не ветер надувал палатку, а она сама тужилась одолеть его, лишь изредка ужимая бока, чтобы передохнуть и задуть с новой силой.

— Дуи и ты, не тяни, мой современник, — напомнил о нашем уговоре Владимир Константинович, — журнал-то не забыл?



— Не забыл, как можно?

В телефонном разговоре накануне поездки я поздравил Константиновича с публикацией в «Нашем современнике» его повести «Счастливчик Лазарев» (позднее название — «Тяга земная»), добавив, что есть несколько замечаний. «Захвати журнал, поговорим», — попросил он.

Повесть оставила двойное впечатление. Ее главный герой Артём Лазарев — молодой полярный вертолетчик — образец смелости, доброты, прямодушия. На Севере — от Якутии до Сахалина — он свой, нужный человек у геологов и строителей, охотников и рыболовов. Потребовалось срочно вывезти со стойбища оленеводов роженицу, и Артём, несмотря на штормовое предупреждение, — тут как тут. Он отважно «идет на грозу», а после удачной экстремальной посадки сам принимает роды... Всегда и во всем ему везло — «счастливчику Лазареву». Кроме личного счастья. И все чаще он размышлял: «...не пора ли ему осесть на материке, не довольно ли скитаться по местам суровым, дальним, угрюмым?» Тем более что был у него на большой земле давний барнаульский друг, обещавший устройство на работу. А главное, была на материке Женька — шаловливая, юная, солнечная. Портрет ее, как талисман, Артём повесил в кабине своей «стрекозы». Правда, пока их ничего не связывало, кроме случайной романтической встречи в последний день его отпуска. Были тогда шутки, смех, влюбленный перегляд и горячая Женькина мольба — остаться хоть на один день. Но «счастливчик Лазарев», верный службе и слову, на целых три года улетел на Сахалин. Глядя на лучезарный портрет девушки, он разговаривал с ней, мечтал о настоящей встрече и о том, что в благодарность за ее улыбку, за свет посадит под окнами Женькиного дома кедры и березки...

И вот через три года новый отпускной прилет на материк с задумкой — остаться здесь насовсем. Увы, не сбылось. Друг из Барнаула Стас Попов, обещавший устроить Артёма на работу, и сам оказался в идейном тупике. Бывший «ас вертолетного дела», мечтавший стать космонавтом, теперь повязан хлебной должностью — наподобие той, от которой отказался в свое время Артём. Более того, вдохновленный селекционными успехами жены Нади на дачных грядках, он и сам увлекся выведением аквариумных рыбок-вертолетиков. Стас был на пороге важного, как считали супруги, открытия в области мутаций аквариумных существ, как внезапный приезд Артёма и его рассказ о суматошной работе на Севере разом обесценили и дачный Надин эдем, и весь уютный уклад жизни Поповых. В отсутствие Артёма Стас, напившийся от разлада с действительностью, разбил гаечным ключом аквариумы — все до одного! Надя, точно поставившая мужу диагноз нервного срыва, с извинениями попросила Артёма не встречаться с ним больше.

Друзья простились на вокзале. Артём, убедившись, что Стасов бунт позади, что подопытных рыбок Надя успела спасти в ванне, с грустью обнял друга, зная наверняка, что «со Стасом и Надей он едва ли больше увидится». Как и с жителями дачных городищ, угрожающе обкладывающих краевую столицу: «Сидят по дачам, чай пьют, молчат. Заплоты, ограды, колючая проволока. Тихо...»

А что же с Женькой, с мечтами Артёма связать с ней судьбу? Увы, не сбылось. Доверчивую хохотушку Женьку — устроительницу культпоходов и встреч с эстрадными звездами — обесчестил и бросил модный бард-сердцеед. Опоздал

романтик Артём и с посадкой березок, и с гусиной охотой... Напрасно умоляла Женька Артёма, на время улетавшего в Москву, простить ее, увезти с собой. Но молчал Артём... *«Он верил Женьке, был в эти минуты счастлив, но, наверное, в Москве завербуется на Камчатку и, возвращаясь на восток, пролетит транзитом над этим городом».*

Всё. Оборвана последняя, пожалуй, главная кровная нить, связывавшая Артёма с материком. И возникал вопрос: почему сильный, уверенный в себе Артём не борется ни за Стаса, ни за Женьку? И чего же, наконец, в разрыве Артёма с материковыми друзьями больше — трагической случайности или авторской заданности?

Определенного ответа тогда у меня не было, и я промолчал на этот счет, когда, достав из рюкзака «Наш современник», изложил свои замечания, касавшиеся в основном фактических неточностей либо стилистики.

Владимир Константинович выслушал меня мрачно и сказал, что я говорил как редактор, а он надеялся услышать другое — о сути и главной мысли повести. Немного помолчал и, опередив меня, стал говорить сам — опечаленно, с обидой:

— Чего я опасался, то и вышло. Что ни говори, о ком ни пиши, читатель судит как старушки у подъезда: тот-то — такой, а эта — такая-сякая. Судачат, не хотя понять истинного: чем живет человек, что движет его поступками? Вот многие не понимают Артёма... Но почему не взглянуть на судьбу главного героя глубже, шире и задуматься: это какой же у нас материк, какое здесь общество, если их отвергает такой чистый и благородный человек, как Артём Лазарев?

Право, я почувствовал себя уязвленно, за то что не ставил вопрос в таком неожиданном ракурсе, а значит, не увидел многозначительного политического подтекста (по-другому — «фиги в кармане»), над изобретением и отгадыванием коего в те годы усердно трудились многие и писатели, и читатели. Многие, но не все...

Позже, когда вовсю бушевала гласность, Владимир Константинович признался и публично об этой стороне творчества: *«...как минер, стремился на совесть замаскировать все “недозволенное”. Ничего не оставить в “видимой части айсберга”, что могло возбудить бдительность <...> Ван Ванычей!* (цензор. — Ю. Ч.)

Изнурительная, немислимая это работа — “маскировка”! Наивно рассчитывать на так называемого “проницательного” читателя — с одной стороны и на туповатого цензора — с другой».

Добавлю: изнурительная и малопродуктивная. Большие надежды связывал Владимир Константинович с публикацией знакового рассказа «Вперед, ветераны!» — во времена застоя. В нем была попытка обратиться к современникам — и прежде всего к своему расслабившемуся, как считал автор, поколению ветеранов войны — с упреком, что кропотливую миссионерскую работу по воспитанию молодежи они подменили парадными речами в знаменательные даты.

Упрек этот на одном из юбилейных застолий бросил товарищам главный герой рассказа бывший артиллерист Сергей Кустов: *«Братцы! А не балаган ли все это? Вся наша теперешняя жизнь? Неужто мы положили двадцать миллионов для того, чтобы вот так тупо жрать, пить? И врать, врать, врать?»*



«Я был уверен, — вспоминал писатель, — что сказал правду, пусть горькую, но очень нужную моему, тогда самому главному поколению страны. Я был уверен, что мои сверстники-однополчане откликнутся, и будет у меня с ними большая и строгая встреча».

Но *«не откликнулись, не прошел к ним мой голос»*, так как рассказ не вышел в печать ни в Москве, ни в провинции. *«Мы в то время любили парады, фейерверки, много, очень много пили, и некому было сказать нам: братцы, нехорошо живем! Врем, ворует, разоряем страну».*

С большой задержкой рассказ все же опубликовали, но ожидаемого автором резонанса он не вызвал. Ведь *«правда жизни»*, высказанная даже не закодированно (для *«проницательного»* читателя), а открытым текстом, мало что значит, если не повязана всей судьбой героя, отважившегося на одну эпатажную речь. Вот и литературный критик Алексей Горшенин, читатель, несомненно, *«архипроницательный»*, в своей обзорной статье о творчестве Владимира Сапожникова *«О жизни, как она есть»* (*«Советская Сибирь»*, 29 июня 2007 года) вместо *«крамольной»* правды Кустова отметил в названном рассказе позитивный *«запоминающийся групповой портрет поколения, которое не только сломало хребет фашизму, но и восстановило потом страну из руин».* *«Возможно, — добавляет критик, — ветераны на этой картине выглядят подчас слишком красивыми, слишком бодрыми и оптимистичными, но таково <...> было мироощущение самого писателя, не раз признававшегося в том, что он очень любит “писать о добрых и сильных людях”. Таких, скажем, как северный летчик Артём Лазарев из повести “Тяга земная”».* А где же хоть полслова о многозначительном разрыве Артёма с *«материком»*? Значит, опять холостой выстрел?

Насчет мироощущения писателя Сапожникова, всегда влекомого, по его словам, *«туда, где труднее, где страшно, где “боль” времени»*, надо бы говорить попроницательнее, а в остальном все сказанное критиком верно, хотя и вопреки особым ожиданиям автора рассказа.

А таковые лелеялись и по поводу его антикультового романа *«Сергей Иванов. Предтеча»*, который друзья-коллеги оценили как современный острый роман об ученых, а читательские письма хвалили за описание *«трогательной любви»*.

«Но при чем тут любовь?» — негодовал автор. — *«Неужели я садился писать роман про коварство и любовь на Невском проспекте? Да вчитайтесь же, дорогие соотечественники, — об ином мой роман!»* И впору было ему повторить вслед за другом Ильей Михайловичем таковые слова: *«Я пел среди вас, но вы не услышали. Я стучал в ваши двери, но вы не открыли мне»* (И. Лавров, *«Минутная обида»*).

Охоты: первая и последняя

У тех, кто не был лично знаком с Владимиром Константиновичем, пусть не складывается о нем мнение как о человеке мрачноватом, постоянно погруженном в тяжкие судьбоносные думы. Так, к примеру, он выглядит на угрюмом титульном портрете в книге *«К Кузьме за солью»*. Нет, он никогда не носил печать репрессированного, да мы, довольно близкие ему люди, и не знали о том до его перестроечных признаний.

В обыденной жизни, в общении — он весел, шутлив и шумлив, и не только в горячих застольях со спорами до хрипоты. Страсть, взрывная страсть — вот, пожалуй, главная черта его характера. Страсть в любом деле и, конечно, в том, что само по себе ассоциируется с этим словом. Я имею в виду охоту, к славному племени любителей которой он до поры до времени с гордостью себя причислял.

И вот от Володи звонок-приглашение на открытие осенней охоты в известных ему и его соседу по дому угодьях Убинского района. «Согласен?» — «Да, да!» — с радостью отдуpletился я. На «газике» соседа Владимира Петровича Раскатова мы и закатимся — на недельку — в отличные, не единожды проверенные места. С собой кроме снаряжения — по паре белой. Эта недельная норма тоже выверена не раз: меньше — мало, больше — чересчур, чревато...

С охотой — по традиционным меркам — нам в тот раз тотально не везло, а мне она и сегодня припоминается как сплошной всепогодный праздник. Он начался с того, что, едва миновав городскую черту, ветераны известного маршрута свернули на заветную полянку «У трех берез» — перекусить с желанной чаркой, а затем — еще сердечнее — повторить: за родные сибирские просторы, равных которым нет во всем мире.

Возможно, мы посидели «У трех берез» чуть дольше обычного, и об этом деликатно напомнили редкие шлепки капель о газетную скатерть-самобранку. Словно подхлестнутые, мы быстренько снялись и помчались на запад, невзирая на колдобины. Поясню: в те годы на «московском тракте» еще не было асфальта, и автомобилисты в серьезные дожди, каким оказался и наш, попадали в капканы чулымских и каргатских солонцов. К ночи чулымские солончаки мы проскочить успели, а на каргатских увязли — основательно, по самые ступицы...

Проснулись рано — под первые ружейные залпы, больно нас хлестнувшие. Стреляли на невидимом с нашей «засидки» озере Карган. Но всплакнуть не удалось: обидную канонаду перекрыл гортанный Володин клич — «К топору!» Нет, это не был герценовский зов на борьбу с крепостным режимом, а приказ старшины Арбузова двигать к ближайшему колку за вагой, то бишь крепкой березовой жердью, стесанной на конце.

Не знаю, сколько часов провозились бы мы с этим чисто русским приспособлением для вызволения из трясины машин, но, когда мы с Владимиром Константиновичем приволокли лесину к «газике», сюда же припыхтел «Беларусь», сметливый водитель которого подзарабатывал на дорожных горемыках. Такса была известная. Распрощавшись со второй «Московской» и не теряя времени на завтрак, мы продолжили путь под уверения Константиновича, что скоро заморим червячка, он с Петровичем знает — где и как.

И действительно, не прошло и часа, как Константинович, не отрывавший взгляда от проплывавших справа пейзажей, остановил голодный экипаж и, вооружившись саперной лопаткой, повел нас к зеленому полю у дороги. Это была большая плантация белого турнепса, почему-то не менявшего своей дислокации, во всяком случае во все годы, когда мои спутники проезжали тут на охоту.

Продолговатые плоды турнепса — эдакие увесистые чушечки — оказались к тому же сочными и вкусными! С благодарением агроному, презревшему севооборот, с извинением перед хрюшками, у коих отняли толику корма (Владимир Константинович был горазд на подобные ироничные речи), мы помчались даль-



ше, продолжая смачно хрумкать и оживленно беседовать о пользе реповидных, жмыхов и съедобных трав, спасавших в детстве от голода. А я снова, как на море близ Пичугова, вспомнил находчивого эскадронного повара Михеича и его молодого да раннего старшину. Последнего я вспомню и завтра — уже без кулинарных аналогий.

К вечеру того же дня мы обогнули с юго-запада озеро Убинское и, удалившись от него на север верст на двадцать, прибыли наконец на заброшенный охотничий стан возле укромного озера. Все на месте, привычно, кроме... самого озера, которого просто не было. Там, где плескались обласканные взглядами добычливые плесы и заводи, белело вязкое озерное дно!

У нас в Западной Сибири периодически пересыхают и вновь наполняются многие озера, но такое происходит постепенно — в течение десяти и более лет. А что произошло здесь за какие-то три года и что было делать нам, охотникам?

— Пока не разгрузились, надо заворачивать оглобли, — предложил Петрович. — В Убинке заедем в охотобщество, потолкуем с мужиками.

Был и у меня вариант — махнуть в любимый Северный район, на озеро Аптула, но это так далеко... А что скажешь ты — «старшина Арбузов»?

— Давайте пока забудем, что наше озеро испарилось, — рассудил Владимир Константинович. — Отдохнем, а утром, которое вечера мудренее, сходим на разведку. Кто на север, кто влево, кто вправо. Надо же докопаться, что тут стряслось!

Согласились. Ведь велико было желание — после города, после долгой дороги — посидеть у костра, поговорить о чем и о ком угодно. Хотя и без утиной похлебки, тот жаркий пир «открытия охоты» удался вполне. Впрочем, не могу припомнить ни одного застолья с Владимиром Константиновичем, чтобы оно прошло чинно или скучно. Всегда он задавал высокий тон и неожиданный угол зрения в споре. И на этот раз — помнится, мы заговорили об отношениях власти и литературы, — когда было названо имя Алексея Толстого, Владимир Константинович вдруг вспетушился и гневно оплеушил классика:

— Лизоблюд! Чревоугодник!

Это была расплата за его повесть «Хлеб», где, будто бы небескорыстно, Толстой воссоздал образ Сталина-героя. У меня при этой расправе с уважаемым Алексеем Николаевичем даже дух перехватило. Как можно вот так вот вторгаться в святая святых литературы? Для меня мир классиков, восседавших на Парнасе и с величавым спокойствием как бы внимавших нам, был неприкасаем, как и их субординация, известная каждому со школьной скамьи. На самом верху — Лев Толстой, борода которого купалась в облаках; ниже, на отрогах и склонах, классики менее именитые, но тоже в нимбах, при званиях; а у подошвы, по всему периметру горы, ошетилившиеся перьями, держали оборону современники на своих любовно обихоженных заимках. Только безумец — из жаждущих попасть на Парнас — мог отважиться на прорыв круговой обороны, не томясь в очередях на замещение естественно убывающих парнасцев.

И вдруг в эти незыблемые ряды, в эти имения ворвался с шашкой наголо наш конный старшина и пошел кого рубать, кого оглоушивать. Получил свое и певец таежной Сибири томич Владимир Кольхалов — писатель трудной судьбы, в чем-то схожей с той, что выдалась Сапожникову. И на тебе:

— Такого больше знать не хочу! Посвятил свою повесть партократу Лигачёву! Каково?!

Я вспомнил, что о работе первого секретаря Томского обкома партии хорошо отзывался знакомый мне журналист и писатель Станислав Вторушин. Он рассказывал, как сразу после своего назначения Егор Лигачёв собрал томских журналистов и писателей, заявив, что они глаза и уши власти, что им друг без друга нельзя. Как СМИ без поддержки власти ничего не добьются, так и власть без прессы не сможет толково ее, власть, употребить.

— Ты еще вспомни про приводные ремни партии, которым уподобил журналистов Никита Хрущёв, — стоял на своем Владимир Константинович. — А я не хочу быть ни подручным, ни приводным ремнем!

Досталось в тот раз — уже по другой причине — даже Ивану Бунину.

— В эмиграции он ничего весомого не написал. Нет уж, — вздохнул ниспровергатель кумиров, — хорошо писать о родине можно только на родине. И умирать нужно только на ней...

С этим согласились все, назвав в тот судный вечер у костра достойные имена Шолохова, Твардовского и — тогда еще «на вырост» — Белова, Астафьева, Распутина, Шукшина...

А завершился пир... первенством по вольной борьбе. Худотель Петрович сразу взял самоотвод, а мы с Володей, несмотря на разные возрастные и весовые (он был в плюсах) категории, сцепились не на шутку. С упорством гонимых сохатых мы перепахали уютную полянку, упали в партер и на карачках продолжили испытание сноровки, силы и... крепости одежды, трещавшей по швам. В итоге я лишился пуговиц куртки, а рукав Володиного балахона оказался разорван до плеча и теперь болтался, как у знатного думца, облаченного в охабенку или ферязь...

Утром чуть свет мы, «холопы», были подняты «боярином» к горячему чаю и вскоре разбрелись на охоту-разведку — с условием возвратиться к четырнадцати ноль-ноль.

Мы с Петровичем вернулись на стан пустыми, не найдя ни на западе, ни на востоке водоемов и дичи, а Константинович явился с севера улыбочивый, бодрый — и было с чего: к его патронташу с той стороны, где победно помахивал на ветру боярский рукав, был пригнорочен великолепный кряковый селезень! Он пошел по рукам, а Владимир Константинович, возбужденно сверкая глазами, стал рассказывать об удаче:

— Братцы, я сделал два открытия! Во-первых, узнал причину исчезновения нашего озера, а во-вторых — тут он блаженно закатил свои крупные, с цыганской хмаростью глаза, — я избрел новый способ охоты!.. Но не будем терять время. Петрович, скуби селезня, ты на это мастак, а мы с чемпионом по борьбе займемся костром, картошкой и прочим.

За этими действиями «счастливчик Сапожник» и поведал, как обнаружил глубокий водоотводный канал мелиораторов, понизивший в округе уровень грунтовых вод. Будет ли прок селу от «покорителей болот» — надо еще разбираться, а вот охоте, экологии вред явный...

Рассказал Владимир Константинович — уже за божественной похлебкой — и о том, как добыл селезня-хитреца на том же канале. Он долго и бесполезно ходил по его высоким отвалам, пока в досаде...



Потомлю немного тебя, читатель, и я, чтобы на месте нагляднее показать, как проходила охота по «методу Сапожникова». Итак, после царского обеда мы ушли на канал и разделились. Петрович, получив от Володи инструктаж, пошел вдоль канала влево, а мы — по его разным сторонам — вправо. Воды в канале было мало. Кое-где вялотекущий ручеек и перепрыгнуть можно, но изредка встречались обросшие осокой и навесным тростником чистые омуточки. Когда мы поравнялись с первым, Владимир Константинович остановился и во всю силу могучих легких издал басовитое:

— Гав!

Тишина.

— Давай еще раз — громче! — дал и мне знать рационализатор.

— Гав! Гав!!!

И тут тишину омутка взорвал всплеск, тяжелые хлопки крыл, и матерый красноногий крякаш ошалело вырвался из крепя! Наши выстрелы слились в один...

В эту вечернюю зорьку мы вспугнули и добыли таким вот забавным образом пару крепких на засидку уток, зато и налаялись всласть — до легкого головокружения.

Охрипший, но довольный Петрович тоже принес крякашика...

На той убинской охоте были и другие памятные эпизоды: «вытаптывание» (цепью) по опушкам и полям косачей, сбор обильных в тот год опять, долгий разговор с одним директором совхоза, у которого мы допытывались, что бы он делал с землей, не получая заданий и установок сверху...

Не могу сказать, что тогда более всего взволновало Владимира Константиновича, но несколько раз он говорил, что будет писать рассказ об этой поездке на охоту. Как известно, он написал целую очерковую повесть о другой своей охоте, названной «последней»... Это страстная повесть-памфлет против массовой бездушной охоты вообще и той, что была устроена «по всем правилам военного искусства» руководителем некоей «щедро механизированной организации», в частности.

«...Ночной поход в четыреста с лишком километров, — писал бывший старшина, — напомнил мне фронтовые марш-броски по тылам противника: скорее, скорее!»

Скорее прибыть на обреченное озеро первыми, до утренней зари, обложить его со всех сторон и по сигналу зеленой ракеты выбить там все, что плавало и летало.

Все так и произошло. После трехчасовой канонады *«озеро лежало пустое, безжизненное... Без уток, без лысухи оно походило на унылое, зарастающее болото...»*

На фоне этого и других избиений дичи в «Повести о последней охоте» прозвучало категоричное требование «запретить массовую спортивно-любительскую охоту». Впрочем, таковая позиция автора угадывалась уже в первых строках его сочинения: *«Когда-то я был страстным охотником-любителем и считал это занятие благородной мужской доблестью. Теперь, когда слышу, что кто-то похваляется: “Я люблю охоту”, — это звучит для меня все равно что: “Я люблю убивать детей”».*

Круто... Если автор со свойственной ему страстью и полемической резкостью стремился разворошить тему охоты, и без того волнующую общественность, то он этого добился.

Газета «Советская Сибирь», напечатавшая узловые отрывки из «Повести...» в канун ее выхода в «Сибирских огнях» в марте 1977 года, получила много откликов «за» и «против», и редакция попросила меня их прокомментировать. Не разделяя сути кавалерийского наскока на любительскую охоту товарища, скандально выломившегося из наших рядов, я все же взялся за статью, рискуя навлечь гнев Владимира Константиновича. «Охота охоте — рознь» («Советская Сибирь», 19 июня 1977 года) — так назвал я статью, где, отдав должное каждой из сторон, сместил акцент проблемы на кардинальную реорганизацию любительской охоты и повышение ее культуры, сославших на блестящий опыт тогдашних стран народной демократии.

Своеобразным ответом на вопрос: быть или не быть любительской охоте? — послужила и статья В. Митрофанова «Право на выстрел», опубликованная 27 апреля в «Литературной газете». Это выступление, рассказывающее о практике охоты в ГДР, выбивало почву у тех, кто в запрете охоты видел панацею едва ли не от всех бед природы. Оказывается, даже в такой густонаселенной стране можно было охотиться, и еще как! Несмотря на интенсивный отстрел, запасы дичи не убывали, а усилиями тех же охотников увеличивались! Пouchительным был и опыт приема в охотничьи коллективы новых членов. Право на выстрел они заслуживали безупречным поведением в быту, на производстве и, главное, систематической и длительной работой по улучшению охотничьих угодий.

Разумно написал об авторской позиции «Повести...» преподаватель НЭТИ Ю. Мошкин: *«Об охране природы писатель сказал по существу, без сюсюканья, понятны его озабоченность и гнев... Однако эмоции алармиста Сапожникова помешали ему сделать реальные выводы»*. Конечно, было бы наивным ожидать от Владимира Константиновича перемены его позиции, и он после выхода статьи обвинил меня в том, что я перешел в стан его противников.

— Да куда я не переходил, — возразил я как можно спокойнее. — Ведь ты сам покинул наше разношерстное сословие, надеюсь, не навсегда.

Порешили, что время всех рассудит, сделает свое. И действительно, в охотничьих обществах теперь главенствует правило: «Кто не вкладывает свой труд в улучшение приписных угодий, тот не имеет здесь права как на охоту, так и на рыбалку». Да и в послесловии к более позднему изданию «Повести...» (Новосибирск, 1984) — при прежнем постулате о запрете массовой охоты — уже говорится о сохранении охотобществ, охотничьих журналов и самого звания «охотник-любитель». Расщедрившись, автор начал выдавать лицензии не только на отстрел вредоносных ворон, но и на проведение спецопераций «Лишний заяц», «Лишний селезень» и даже «Лишний лось». И вот: *«Коли речь идет об активной помощи природе, то кто ей поможет, кроме охотника?»* Bravo!

Да, это было написано гораздо позже. А тогда, через полгода после выхода статьи, он подарил мне свою лучшую на то время книгу «Вольная жизнь» (Москва, 1977) с таким автографом: «Поэту природы родной, сибирской Юре Чернову от бывшего браконьера, в бозе раскаявшегося в преступлениях свершенных».



Долгое путешествие в горы Алтайские и другие избранные места

Съездить в Горный Алтай — за медом — Владимир Константинович пригласил меня неожиданно, поскольку и сам надумал с Натальей Ивановной ехать срочно, пока позволяли сроки. Я согласился, умолчав, что на мне висит юбилейная статья — к 80-летию писателя Александра Павловича Куликова, сдача которой почти совпадала с предполагаемым возвращением из поездки. Подумалось: авось вернемся раньше, успею...

И вот покатали — на Володином «коньке-горбунке», как он любовно называл свою недавно купленную «ниву». Чувствовалось: вождение еще сковывало и напрягало его, особенно на перевалах и прижимах Чуйского тракта. Раньше я давал усердному ученику, каким был Володя, уроки езды на мотоцикле с коляской, а тут — пока что без прав и навыков управления авто — помалкивал, зная к тому же, что большинство водителей советы «под руку» не переносят. Зато милейшая Наталья Ивановна, пренебрегая этим правилом или не зная такового, нет-нет да и подавала их тонким голоском с заднего сиденья, на что Владимир Константинович немедля взрывался фонтаном рыкающей брани на свою благоверную. Извергая гневные филиппики, он старался обернуться, дабы вдобавок испепелить взглядом советчицу. Этот «маневр» водителя был как раз наиболее опасен, и мы на самом деле рисковали повторить судьбу Кольки Снегирёва из известной песенки.

— Владимир Константинович, — заговорил я, едва подавляя душащий меня смех, — давай я поменяюсь местами с Натальей Ивановной.

— Зачем? — насторожился наш Демосфен.

— Чтобы тебе было удобнее с ней любезничать.

Все рассмеялись, а Наталья Ивановна оставила на время постоянную опеку над своим большим ребенком. А то, что опека была таковой, подтвердят хотя бы ее ежедневные письменные наставления мужу перед уходом на работу в школу, где она была завучем. Не помню, каким образом у меня оказалась пара тетрадных листков, на которых было написано:

«28.01. В! На завтрак — сок. На обед — пельмени, творог. Бульон — в кружечке. Приду не скоро: много работы. Часам к четырем-пяти. Н.»

«12.02. В! На завтрак — сок. На обед — бульон с мясом и хлебом. К этому можешь сварить немного каши перловой. Она набухает в белой кастрюльке на столе. Если будет настроение, сходи за молоком и в молоке свари (1,5 ст. молока добавить и варить на единице). У меня много дел — приду в 8 вечера. Н.»

Трогательно... А сколько листов рукописей эта хрупкая женщина с упорством Софьи Андреевны Толстой перепечатывала по несколько раз, пока они не становились страницами Володиных книг! Да и на пенсии она избавляла занятого мужа от рутинного копания на дачных грядках в Кинтерепе. А когда Владимир Константинович все же опускался возле них на колени (нагибаться уже не позволял позвоночник), не попрекала Володю тем, что возня со стиркой испачканных брюк многократно перевешивала пользу от его помощи. Знала, что ему, как «счастливчику Лазареву», было любо не только сажать деревья, но и ласково касаться кормилицы земли...

А вот что написал сам Владимир Константинович о своей верной соратнице в «вечерних» раздумьях: *«Не знаю, на что я решился бы (остаться почитаемым учителем сельской школы или ступить на тернистую писательскую стезю. — Ю. Ч.), не будь рядом отважной женщины, супруги моей, которую не напугала самая отчаянная нужда в годы моих поисков самого себя; это величайшая удача, не ошибусь, если скажу, что половина писательской судьбы — верный друг и советчик, жена, которая и поймет, и простит, и сурово спросит, и поддержит в минуту тяжкую»*. Истинно...

Вот с каким надежным тыловым обеспечением мы отправились в путь, а под вечер выбрали живописную полянку на берегу Катуня (в те годы это было не столь проблематично) и славно посидели у костерка — молча, в очаровании быстрых сумерек и водной силищи, рвущейся из гор. Это была другая атмосфера, другая прекрасная планета — не такая уж далекая, но все же живущая от большинства из нас отдельно.

И наутро под шуршание колес мы продолжали жадно взирать на меняющиеся на глазах картины, одна другой краше. Остановиться бы, осмотреться, но наш кормчий знал, куда торопится. Вот и Сростки миновали без остановки — с обещанием: погостевать, поклониться на обратном пути. Наконец в Аскате мы съехали с Чемальского тракта и через деревушки Анос, Аюла по глубокой долине одноименной речки-невелички стали подниматься в ее верховья. Каменистый, едва приметный проселок изрядно потряс и помотал нас, пока не уперся в летнюю заимку пчеловода Петра Ивановича — большой рубленый дом с пристройками, стоявший без изгороди на юру.

К аюлинскому пасечнику Владимир Константинович уже приезжал за медом с соседом Петровичем. Операция «Мед» шла пока удачно. Сапожниковы, почти полностью отказавшиеся от сахара, взяли на зиму целую флягу янтарного и душистого, истинно алтайского горного меда, да и мы с Верой, имея двух дочек-сладкоежек, решили купить одного большое эмалированное ведро. Стоил тогда мед два рубля за кило.

И все бы хорошо, но, к моему огорчению, Владимир Константинович, тронутый радушием хозяина пасеки и чем-то явно вдохновляемый, предложил пожить здесь несколько деньков. «Резонно, коль забрались в такую горную глушь, — подумал я, — только как же с юбилейной статьей?» Вопрос для меня не был праздный. В те годы уважаемый в обществе писательский Союз жил упорядоченно, по строгим неписанным правилам. Четко работали секции поэзии и прозы, проводились семинары молодых. На заседаниях правления, к примеру, оговаривалось, кто готовит статьи в областные газеты и «Вечерку» к юбилею того или иного писателя. Меня попросили написать о природолюбце Куликове в «Молодежку». Поскольку я пока что не был членом СП, а числился в его «активе», то пренебречь доверительным заданием было бы неразумно. Однако и доверием Владимира Константиновича, взявшего меня в далекую дорогу, я не мог злоупотребить...

Я все же согласился остаться, смирившись с тем, что статья не появится 23 августа — в день рождения Александра Павловича, а выйдет двумя-тремя днями позже. Огорчившись, я полез на довольно крутой склон долины Аюлы, полез просто так, как лазали мы в детстве на высокие деревья или крышу дома: высота всегда нас манит. Но то, что я увидел и услышал, поднявшись почти до



края склона, настолько зачаровало, что я, боясь спугнуть явленное взору, осторожно присел на траву, да так и засиделся, задумался — на несколько часов.

Было тихо, так тихо, что я уловил чистые умиротворенные голоса сразу трех перекатов Аюлы. Сплетаясь, как струи, их порождающие, они пели, бормотали, шептали одновременно, не перебивая друг друга, так как настойчиво ущеивали кого-то (не нас ли?) в одном и том же. В чем?

Стоило об этом только задуматься, только установить причинную связь между прекрасной огромной долиной и ее укрытой в тальниках и осоках матерью Аюлой, как тотчас находился ключ к переводу языка речного. «Посмотрите, послушайте, — словно выговаривали перекааты Аюлы, — обидите меня, погубите и сотворенное мной — долину».

Да, стоило только послушать... И не о том ли просил автор повести «Дорога на Коён», одного из лучших, как мне кажется, его произведений? *«Давно я привык думать о Коёне как о существе живом, способном понимать и чувствовать, — писал он. — Прошу вас, посидите однажды часок-другой возле коёнского звонистого переката и прислушайтесь. Чего только не почудится, не услышится, какие слова не угадаете вы: веселые, смешные, старчески мудрые. Много, многое расскажет вам говорливая коёнская струя! И пошепчет она вам потаенно, напомнит о чем-то давно забытом, но дорогом и всплакнет по-детски светло, и то заветное слово услышится, что зрело в вашей душе...»*

На Коён мы ездили на моем мотоцикле лишь однажды, а на велосипеде Владимир Константинович приезжал сюда два десятка лет. За эти годы не одно, далеко не одно заветное слово слышалось ему: *«Однажды целую ночь я лежал без сна возле костра; ныряла в ночных облаках луна, бормотали, звонисто рассказывали мне свои нехитрые сказки-были коёнские перекааты, они-то и напели-наказали мне эту повесть. Повесть о бескорыстной щедрости нашей природы, ее нетленной красоте, о сыновнем долге нашем перед ней быть ее хранителем».*

Написалось как выдохнулось, без титанических, но уходящих в песок усилий по упрятыванию «динамитных» мыслей и намеков. Вот и в символикe коёнского осокоря — многострадального, но неистребимого дерева из племени тополевых — не было ничего иного, кроме восславления стойкости уродуемой нами природы, а также человека сходной с ним, осокорем, судьбы. Речь шла о писателе Николае Осинине, прошедшем через ад фашистских лагерей. Но с полным правом можно поставить рядом с ним и самого автора.

Однажды осокорь изнахратили тросом механизаторы. *«Что-то увязло в реке, догадался я, трактор или машина, и вытаскивали технику лебедкой, захлестнув трос за ствол осокоря».* И разве не подобным «тросом» давило и обламывало писателя клеймо репрессированного и неблагонадежного?

А в летнюю грозу ударила в гордый, высокий осокорь молния, словно саблей развалив его на две половины. И разве не так же внезапно и сокрушающе, только без грома, свалил Владимира Константиновича сердечный удар в глухом урочище Потайнуха, где он встречал весну? Сказалась тогда долгая зимняя работа с героями, которых писатель, если он настоящий, оживляет только своим сердцем. И война сказалась. Ведь, по его словам, *«фронтовика-писателя война не оставляет, если даже она давно отгремела».*

Сутки, не вставая, пролежал Володя-осокорь в палатке, ожидая нарочного — казахского мальчика, которого должен был прислать отец — пастух отгонной отары. Максимка, плохо говоривший по-русски, приехал на бричке и был немедленно отправлен назад за отцом. «Ата, езжай сам, там писатель подыхает», — сказал Максимка отцу и разрыдался. Об этом случае, посмеиваясь над Максимкиной репликой, Владимир Константинович рассказал мне сам, еще будучи лежачим, но уже дома, под врачующим доглядом Натальи Ивановны.

Лечащий врач, когда дело пошло на поправку, наказывал: «Звонок, Владимир Константинович, был серьезный. — Он показал наверх. — Держались вы молодец. Но успокаиваться нельзя. Вот я и прошу: так, как вы сражались за жизнь на войне, так сражайтесь за нее сейчас. Без поблажек, без выходных начинайте день с серьезной зарядки, я покажу какой, и ходьба, ходьба, прогулки».

Наталья Ивановна свидетельствовала потом: поблажек не было, спуску себе не давал. А уж как Владимир Константинович бродил-ходил, мы с Петей Дедовым убедились не где-либо, а в самой Потайнухе, в которую он нас свозил, как можете догадаться, весной — в пору, когда степь стонала и пела от птичьих свадеб и турниров. Степь в это время не спит ни днем ни ночью. Не спали и мы. Сходились к костерку — погреться — и снова разбрелись в облюбованные углы.

Наслушался я в тот раз ночных журавлей. Только-только забрезжило на востоке, как оттуда с какого-то дальнего далека прорвался первый журавлиный клик — как боевая труба на дозоре. Вскоре ему отозвались с другого стойбища, и журавлиный гомон — с переливами, с перекликами — широкими волнами прокатился по невидимому в ночи раздолью. Едва он улегся, как в другой стороне послышался, все разрастаясь, ответный перезвон-переклик, а вот и третье стойбище объявилось, и четвертое — совсем уж дальнее-предальнее, будто с самого края света...

Никогда раньше — ни с высокой горы, ни с борта самолета — не открывалась мне родная земля так широко, могуче и привольно, как открылась она в эту апрельскую ночь — на журавлиной побудке.

Я люблю путешествовать. Куда только не заносила меня стезя журналиста, геолога, промысловика, рыбака-охотника, но как-то так получалось, что наиболее памятные свидания с природой связывались с именем моего старшего товарища — Владимира Константиновича. Вот и это вневременное сидение на высоком склоне долины Аюлы я запомнил навсегда и теперь знаю, куда надо ехать, чтобы причаститься к сокровенному и поговорить с собой.

Пора спускаться к людям. Мое состояние было близко к тому, с каким автор «Дороги на Коён» переживал первую встречу с рекой, пригрезившейся ему еще на фронте: *«К горлу у меня подкатывало, я маялся, не зная, как выразить переполнявшее меня счастье. И вдруг само собой вырвалось: “Благодарю!” Кого благодарил, сам не знаю, но, сняв рюкзак, я поклонился на все четыре стороны».*

Поблагодарил и я — неустанную труженицу Аюлу, темно-зеленых паломников в их вечном походе к небу и его, Володю, показавшего мне этот горный храм...

А на пасеке меня ожидал сюрприз: мы срочно отъезжаем. Сучок елового барометра, устроенного под карнизом дома пасечника, заметно опустился вниз —



к дождю, а в ненастье горные дороги особенно рискованны. Скорому отъезду, очевидно, поспособствовал и хозяйский бык, приведший на обеденное стойло возле дома корову с нетелью. Бычара недовольно сопел, скреб копытом землю и, как выяснилось, успел приложить рог к раздражающей его автомашине. Вмятинка на двери «нивы» была пустяшной, но кто мог знать, что замышлялось в кучерявой бычьей башке?

Отъезд мне кстати: вновь появилась надежда успеть со статьей. Вот и в Сростках, в доме-музее Шукшина, задержались недолго. На горе Пикет еще не сидел бронзовый дозорный, а простая обстановка в доме, купленном Василием Макаровичем в 1965 году для матери Марии Сергеевны, куда он изредка приезжал, была нам, «деревенщикам», хорошо знакома с детства. Дольше всего, как я заметил, Владимир Константинович в задумчивости простоял возле стенда с отзывом о Шукшине Михаила Александровича Шолохова: *«Не пропустил он момент, когда народу захотелось сокровенного. И он рассказал о простом, негероическом, близком каждому так же просто, негромким голосом, очень доверительно. Отсюда взлет и тот широкий отклик, какой нашло творчество Шукшина в сердцах многих тысяч людей...»*

Без сомнения, Владимир Константинович примерял эти слова и на себя. Ведь и он жил и писал, будучи современником не только Шукшина, но и своих более прославленных однокашников по Высшим литературным курсам — Виктора Астафьева, Василия Белова, Евгения Носова, Бориса Можяева... Знаю, он болезненно переживал то, что не попал по калибру в эту первую литературную обойму, и стремился понять почему. Находясь в постоянной непримиримости к преступлениям культа личности и его наследников, он и причину своих творческих неудач искал в одном — недостатке мужества сказать об этих покрываемых властью преступлениях «всю правду», и сказать «громко».

«...И мне горько, мне стыдно, — корил он себя, — что получалось, как всегда, — шепотом. <...> Теперь-то я вижу, все свои книги я написал шепотом, и то, что я не один из страха и покорности стадной “наступал на горло собственной песне”, — утешение слабое».

Пожалуй, Владимир Константинович был излишне строг к себе и, возможно, с опозданием осознал, что сила писательского слова не в громкости и совсем не важно — прокричать или прошептать о разоблачительной «правде жизни», которую он ставил во главу угла. Ведь правда жизни любого писателя есть правда изображенных им характеров, и чем они ярче, полнокровнее, правдивее, тем масштабнее и самобытнее само писательское мастерство.

К сожалению, в своих честных покаяниях «раскрепощенный» в перестройку писатель Владимир Константинович Сапожников, как мне думается, «пропустил момент», в который произошел перехват власти и общенародной собственности у одних партocrats другими — идейно переродившимися и перекрасившимися в демократы. А посему он продолжал борьбу с ветряными мельницами «светлого будущего», в то время как новые хозяева жизни перетасовывали и заначивали награбленное народное добро.

Такое заблуждение борца за правду жизни и свободу огорчало и постепенно отчуждало нас. Встречались мы все реже, да и разговоры по телефону лишь добавляли разногласий. Лучше было снова, как в споре об охоте, взять молчаливую паузу и довериться лучшему судье — времени. Лишь однажды я не стерпел

и напечатал в газете («Советская Сибирь», 11 декабря 1996 года) ироничное послание Владимиру Константиновичу по поводу его аллегорического рассказа «Закон трубы». Прочел ли он его в своем Кинтерепе — осталось для меня неизвестным.

Но все это будет потом, а тогда, на Чуёвском тракте, в лето 1979 года, в бочке меда наших отношений не было и намека на ложку дегтя, о которой я написал выше. К вечеру мы выкатились из гор на равнину и, по моим прикидкам, вполне успевали засветло вернуться в Новосибирск. Но на мосту через Чумыш Владимир Константинович сказал, что надо подыскать на берегу хорошее местечко для ночлега, чтобы завтра заехать в Черепаново для профилактического техосмотра. Этот вариант мне не подходил и, пока не съехали с трассы, я попросил остановить машину. Виноватым голосом я объяснил свою ситуацию с юбилейной статьей и объявил, что вынужден сегодня же попасть домой — на попутке.

Владимир Константинович почему-то моих доводов не принял и даже выговорил, мол, в дороге так не поступают. Я, конечно, знал, что он не жалуется своих юбилеев и чествований, но ведь речь шла об ином — добром слове уважаемому ветерану к очень почтенной дате. Ведь не зря же говорится: «Дорого яичко ко Христову дню». А что касается законов дороги, так я оставляю экипаж не в горах, а на асфальте, где ему ничто не угрожает.

И все же мы расстались — как-то нехорошо, не понимая друг друга. Статью я успел написать, и она таки вышла в день юбилея Александра Павловича — 23 августа. А в самый канун этой даты я поехал в Академгородок за своим медом и явился пред очи Владимира Константиновича с нетерпеливым желанием узнать, не повлияла ли дорожная размолвка на наши отношения. Мою понятную неловкость и настороженность поспешила снять Наталья Ивановна, пригласив к поспевшему чаю, за которым о росстани на Чумыше не было сказано ни слова. А перед моим уходом Владимир Константинович подал верный знак к примирению — сходил в кабинет за книгой и присел к столу оставить автограф. Это была одна из ста тысяч сестер московской книги «Вольная жизнь» (только не бежевая, а синяя), которую, как вы знаете, он подписал мне более года назад. Я чуть было не напомнил ему об этом, но вовремя одумался, получив еще один размашистый автограф: «Юре Чернову в память об одном долгом путешествии в горы Алтайские. 22 августа 1979 г.».

Несмотря на досадный фальфиниш, я помнил и помню о «долгом путешествии» светло и благодарно. И так же светло я вспоминаю еще об одной нашей встрече — 9 мая, в день его рождения, в который он подарил мне... солнце.

Солнце Сааремаа

В тот день я случайно обмолвился, что коллекционирую солнца. Владимир Константинович задумался.

— Так и быть, — сказал он, — подарю тебе одно свое солнышко. Было это давно, в первую послевоенную весну. Наша кавалерийская часть стояла тогда на эстонском острове Сааремаа. Мне в то время — двадцать с небольшим, полон сил, неясных пока надежд... Какая была пора! Не хотелось ночи. Хотелось, чтобы был день, только день.

Однажды верхом на лошади поехал на морскую косу — провожать закат. Вечер выдался ласковый, тихий. Ни звука кругом, только скрип песка под копытами моей «монголки» — есть такая порода лошадей.

А солнце — большое, алое — уже коснулось воды. И сразу от кончика косы, где мы стояли, пролегла малиновая тропка. Будто кто дорожку расстелил: пожалуйста, мол, к его величеству.

Я тронул поводья. «Монголка» зашла в море, ткнулась сопаткой в воду, недовольно фыркнула. И снова затихло все кругом, будто весь мир слушал, как с губ фронтальной лошади серебряно падали капли.

Солнце почти скрылось. Остался крохотный ноготок. Он гаснет, как увернутый фитилек... И вдруг — чуть ли не в полнеба — вспышка! Будто внезапно, с маху упала там, за горизонтом, звезда и выметнула фонтан радужного света!

«Монголка», всхрипнув, вскинула голову — ждала грома взрыва. А его не было, как после взрыва на экране немого кино. Войну, говорю «монголке», мы прогнали! Сгинула война!

И расцвели для меня те сполохи добрым знамением! Господи, вся жизнь впереди! И какая — шальными пулями обойденная!

Да, пожалуй, не эти сполохи — вдруг сама жизнь оборотилась чудом. Не знаю, могу ли я так радоваться теперь, но тогда... Я спрыгнул на землю, вскинул руки и, как дикарь, затрубил: «Саарема-а-а!» — «А-а-а», — полетело, заметалось эхо.

До сих пор не знаю, что означает это странное слово. И до сих пор не хочу вдаваться в физические тонкости того светового эффекта. Я никому не рассказывал о солнце Сааремаа. Носил его в памяти, как талисман. Уже много лет спустя у Тура Хейердала прочел: «По вечерам... раскаленный путеводный шар спускался к горизонту и в сопровождении всех цветов спектра исчезал в океане...» Значит, то, что я видел, не такое уж исключительное явление и все, кто родился у моря, могут рассказать о более диковинных и впечатляющих закатах. Но вот что хотел бы у них узнать: радовались ли они так, как радовался я? Радуются ли все люди Земли, что на планете глобальный мир — самое дивное и самое естественное состояние? Берегут ли его?..



Людмила КУЗМЕНКИНА

КРАСОТА УШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

О краеведческой выставке «Женское соло»

Каким был мир женщин более века назад? Какую одежду они носили, чем жили, интересовались, как проводили свободное время? Что помогло достичь идеалов красоты и внутренней гармонии? На эти вопросы попытались дать ответы организаторы выставки «Женское соло», не так давно завершившейся в Музее города Новосибирска.

В экспозиции были представлены старинные дамские украшения, коллекция женской одежды XX века, аксессуары и многие другие вещи, которыми женщины подчеркивали свою красоту.

Слово «соло» здесь не случайно: главной героиней выставки стала дворянка Ева Окунева-Крылова (1886—1976). Большинство экспонатов — из коллекции ее одежды и семейных реликвий, передающихся из поколения в поколение: старинные иконы, письма, куклы, посуда XIX века.

Коллекция Евы появилась на выставке благодаря VIP-клубу «Стиль жизни». Идея выкупить коллекцию у владельцев и подарить ее музею воплотилась в жизнь с помощью новосибирских меценатов. Семейные реликвии рода Окуневых-Крыловых на время выставки любезно предоставили потомки Евы.

Мы встретились с автором и куратором выставки «Женское соло», сотрудником Музея города Новосибирска Ириной Хлебниковой, которая не только придумала эту выставку, договорилась с коллекционерами о предоставлении экспонатов, но и исследовала историю древнего рода Окуневых. Эта работа для нее не новая: Ирина Петровна подготовила уже несколько музейных выставок — «Тэгги», «Игрушка детства моего», «Особые люди», «В доме моем», «Леди прошлого», «Царь-выставка» (о династии Романовых). Кроме того, И. Хлебникова — автор уличной выставки «Культурные зарисовки» о малоизвестных страницах истории Новосибирска 1893—1940 гг.



Выставка «Женское соло». Фрагмент оформления выставочного зала

«Через эту семью мы видим историю всей России...»

Прежде чем рассказать о Еве, следует поведать о древнем дворянском роде Окуневых, в который влилось несколько других знаменитых дворянских родов. Семья Окуневых-Крыловых, ведущая свою родословную с XVI века, бережно сохраняет память о своих предках. На стене одного из выставочных залов была представлена поколенная роспись их рода, охватывающая более 100 персон.

— Это не просто выставка одежды и аксессуаров, — рассказывает Ирина Петровна. — Через судьбы людей этого старинного рода яснее познается история России с ее давними ценностями, традициями и великими победами. Мы узнаем, как тогда люди жили, кому и как служили, насколько любили Россию. Девиз этой семьи: «Вначале Отечеству, потом себе». Это было нормой для элиты русского дворянства, и такая установка воспитания издавна бытовала в России. К сожалению, про обыденную жизнь представителей дворянского сословия мы знаем не так много. Приходится по крупицам восстанавливать эту часть бытовой истории. У нашей героини настолько необычная судьба, что впору писать о ней роман.

Одним из редких экспонатов выставки является кормленая грамота. Она была дарована царем Иваном Грозным в 1581 г. своему любимому опричнику Леонтию Окуневу. Вот здесь-то Ирине Хлебниковой и пришлось провести настоящее расследование. На самом деле потомки Окуневых не знали точно, действительно ли существует эта грамота и где она находится. Но грамоту нашли в Псковском историко-художественном музее-заповеднике.

— А дальше была радость и растерянность, поскольку мы не смогли ее прочесть, — продолжает рассказ Ирина Петровна, — это оказалось древнерусское малоизвестное написание. Пришлось обратиться в ГПНТБ к специалистам отдела редких книг и рукописей за переводом. Грамота в сильно упрощенном переводе гласит: «Я, царь и великий князь всей Руси Иван Васильевич, пожаловал Леонтию Андреевичу Окуневу город Белый для собственного обеспечения и управления им. Повелеваю всем людям города чтить и слушаться его, а он будет управлять или судить их, как прежде было». Часть грамоты имеет отношение к порядку — как судили людей, как разрешали их споры: «...Когда будут судиться два жителя города, пристав, поставленный мною, царем, пусть приведет истцов к Леонтию или его управляющему. А кто из тех истцов не станет оправдываться или вообще не станет говорить, то я, царь, того обвиню и грамоту о том суде дам».

Эта грамота называется жалованная, или кормленая, потому что с нее кормилась семья. Она давала право на сбор налогов, управление, разбор судебных тяжб. Таким образом, за родом Окуневых закреплялось наследование дворянства и владение этой землей. Кроме того, Леонтию Окуневу царем было даровано еще одно поместье в Вологодской области — Афанасьево. Грамота об этом пожаловании предположительно находится в Москве, в Историческом музее.

Корабельных дел мастер

Наиболее известным в роду считается Гаврила Афанасьевич Окунев (1699—1781), который был сподвижником Петра I. Когда-то Афанасий Окунев привел своего шестнадцатилетнего отрока Гаврилу ко двору царя. Юношу приняли в Адмиралтейскую школу, где готовили будущих кораблестроителей. Известно, что все Окуневы отличались лингвистическими способностями. Гаврила быстро освоил французский язык при общении с приглашенным французским судостроителем-наставником.

В 1724 г. Петр I направляет Гаврилу Окуневу на судовой верфи Франции. Указ Петра об этом также демонстрировался на выставке. Изучая секреты французского кораблестроения, Окунев прожил за границей семь лет. После возвращения в Россию он становится обер-сарваером, то есть главным кораблестроителем на Балтике. Он строит Кронштадтский эллинг и множество кораблей русского флота: 32-пушечный «Митау», 66-пушечный «Александр Невский» и 80-пушечный «Святой Николай». К концу жизни Окунев даже взялся за 100-пушечный корабль, о котором когда-то мечтал Петр I. Эти корабли составили славу российского морского флота в последующие десятилетия.

«Я тебя никогда не увижу...»

Сын Гаврилы — Александр Гаврилович — тоже отличался знанием иностранных языков, являлся главным архитектором и смотрителем Петергофа при Екатерине II и Павле I.

Внук Гаврилы Окуневу — это не кто иной, как всем известный русский дипломат, путешественник, предприниматель граф Николай Петрович Резанов. Тот самый Резанов, который прославлен композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом Андреем Вознесенским в рок-опере «Юнона и Авось»: история любви основателя Российско-американской компании Н. Резанова и испанской девушки Марии Консепсьон Аргуэльо из Сан-Франциско легла в основу поэмы Вознесенского «Авось» и либретто рок-оперы, поставленной с громким успехом в московском театре «Ленком».

«...А тут у вас — просто любовь»

Род Евы Окуневой вообрал в себя много известных дворянских фамилий: Ушаковы, Батюшковы, Балк, Цвиллинёвы. Все они рассматривали преданность и службу государю как неписанный семейный закон.

Отец Евы, Николай Окунев (1857—1939), являлся основоположником ювенального суда в России. Он был столичным мировым судьей по делам о малолетних, занимался вопросами ухода за беспризорниками и улучшения условий содержания юных преступников. Двери дома дворян Окуневых в Петербурге на ул. Кавалергардской, 2 были открыты для сирот и нуждающихся детей, которые знали, что Николай их «спасет и пристроит».

Избранницей молодого перспективного юриста Николая Окунева (29 лет) стала красавица Кетеван Максимова (16 лет). Она продолжала линию старинного русского рода — дворян Цвиллинёвых. Отец Кетеван — герой Крымской войны, кавалер Георгиевского креста, чье имя занесено в списки Георгиевского зала в Кремле.





Семья Окуневых. Ева с родителями и дедушкой

Почему родители выбрали такое неожиданное имя для русской дворянки — Кетеван? Семья в те времена жила в Грузии, в их окружении часто бывали представители грузинских княжеских родов. Культура и гостеприимство грузинского окружения вдохновили родителей дать такое имя дочери. В семье, где росла Кетеван, царила любовь. Писатель Станюкович, частый гость в их доме, однажды признался: «Я ходил к вам искать драму и страсти, а тут у вас — просто любовь».



Родовая реликвия семьи Окуневых — кукла Грета. Германия, 1893 г.

В 1886 г. у Николая и Кетеван родилась дочка Ева. Она была единственным ребенком, что было нехарактерно для дворянских семей... Родив дочь в 17 лет, Кетеван всю жизнь была с ней очень близка. Умерла она в Петрограде в 1918 г. от голода.

Родители вложили в воспитание единственной дочери много любви и заботы, девочку рано стали учить музыке, танцам, рисованию и рукоделию. Воспитание строилось на развитии духовного начала с одновременной выработкой усидчивости, терпеливости, способности к кропотливой работе.

На выставке была спутница детства нашей героини — кукла Грета (1893) работы немецких мастеров компании «Кэммер и Рэйнхард». В семье Окуневых существовала традиция: когда девочке исполнялось семь лет, ей дарили куклу. Так эта кукла передавалась от матери к дочери с полным набором одежды и аксессуаров. Кукол всегда ста-

рались одевать красиво, модно, утонченно — так формировался эстетический вкус девочки.

Ева с детства хорошо рисовала и в отроческом возрасте выучила три языка. Рукоделие и шитье было ее любимым повседневным делом, и эти навыки пригодились ей в дальнейшей непростой жизни после смены власти в России.

Девочка мечтала стать архитектором, но архитектура считалась мужским занятием и родители склонили Еву к выбору юридической стези. Окончив одну из лучших петербургских гимназий, Ева поступает в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет.

Как непросто было в начале XX века учиться девушке! Чтобы поступить в университет, юноша должен был сдать 5 экзаменов, а девушка — 15! Начав учиться в Санкт-Петербургском университете — Ева завершает свое образование в Гейдельбергском. Потомки рассказывают, что там одним из экзаменаторов ей было сказано: «Милая барышня! Зачем же вы возвращаетесь в Россию? Вы же окажетесь в Сибири...» Шел приблизительно 1908 год, и Ева лишь улыбнулась в ответ — настолько благополучной тогда казалась ей жизнь... Но слова оказались пророческими, она вспомнила их, когда переехала в ново-сибирский Академгородок в 60-х годах XX века.

Семья была вхожей в высшее общество, Ева часто выезжала в свет: на выставке можно было увидеть бальное платье конца XIX века, а в семейном архиве сохранилось несколько изящно расписанных приглашений к императорскому двору и на праздники, например по случаю празднования 200-летия Санкт-Петербурга.

«Белая голубка»

В 1914 году произошло событие, которое заставило многих девушек, в том числе и аристократического происхождения, сменить свои наряды на строгую форму сестры милосердия: началась Первая мировая война. На начальном этапе войны, во время небывалого патриотического подъема, образец поведения задавала царская семья.

«Белые голубки» — так называли тогда сестер милосердия. Ева оканчивает фельдшерские курсы и уходит на фронт: с войсками она прошла полторы тысячи километров по военным дорогам. На выставке было представлено письмо из Санкт-Петербурга от родителей, отправленное на станцию Броды сестре милосердия Еве Николаевне Окуновой. На фронте Ева заболела тифом и в тяжелом состоянии была отправлена домой, где ее выходили родители.

Семейное счастье

Избранником Евы стал юрист Сергей Крылов, происходящий из дворянского рода Соковниных. Сергей был старшим сыном у матери-вдовы и по законам Российской империи мог не идти на фронт. Но он уходит воевать в 1914 году, а в 1915-м офицер Крылов уже демобилизован по ранению. В 1916 году в тихой церкви под Петербургом происходит венчание Сергея и Евы.

Еще одна представленная на выставке семейная реликвия — венчальное полотенце. Оно было вручную вышито женщинами Окуновых в 1890 году. Полотенце вышивалось заранее и дарилось на венчание молодым со словами напут-



ствия. На полотенце можно прочесть: «В беде не унывай — на Бога уповай», «Не по хорошему мил, а по милому хорош», «Доброе братство дороже богатства», «На Бога надейся, а сам не плошай», «Без нужды проживешь, добра наживешь», «Помолись, потрудись, только знай не ленись».

Ева стала матерью троих детей, она была превосходной хозяйкой, рукодельницей, умела хорошо готовить, рисовала. Гости выставки могли оценить ее кружевные воротники, акварели, сделанные в начале XX века. Семья также сохранила фигурную доску для выпекания пряников, которой больше сотни лет.

Другая семейная реликвия — платочек, вышитый тремя поколениями одновременно: мама вышивала с одной стороны, бабушка с другой, а внучка с третьей. Они вышивали его за разговорами, за рассказами о былой жизни и семейными легендами.



Ева Окунева (фото после 1918 г.)

«Барыня, да ты трудиться-то не умеешь!»

В годы революционного перелома Ева спасалась от красного террора в своем родовом имении Афанасьеве под Вологдой. В 1918 году Вологда считалась дипломатической столицей России, там находилось одиннадцать международных и дипломатических представительств.

Окуневы всегда отличались тем, что они очень хорошо относились к своим крепостным крестьянам, а после отмены крепостного права жили дружно, как одна семья. Вот это добросердечие к людям низшего сословия и спасло Еву в те годы. В один из вечеров ей шепнули: «Барыня, мы ночью жечь дворянские усадьбы будем, схоронись ты с ребеночком где-нибудь во флигеле...» Она успела этому совету последовать и так спасла себе жизнь, потому что вокруг в ту ночь все было сожжено дотла.

Вскоре земли вокруг Афанасьева, которые принадлежали ее роду, стали делить между крестьянами. Ева пришла на сход и сказала: «И мне надел выделите!»

— Барыня, да ты трудиться-то не умеешь, — пытались возражать ей.

И тут эта маленькая хрупкая женщина берет плуг и проходит с ним несколько рядов на глазах у всех. И ей выделили надел! Вначале Ева работала сама, потом сдавала землю в аренду, что и спасло ее от голодной смерти.

В 1924 году Ева возвращается в Петербург. Ее муж начинает работать в качестве юриста на заводе «Красный треугольник». Ева с ее манерами и знанием языков тоже смогла стать нужной для новой России: она учила этикету и иностранным языкам первых советских стюардесс на международных авиалиниях.

Во время Великой Отечественной войны Ева с семьей оказывается в блокадном Ленинграде. В 1943 году семью Крыловых эвакуировали в г. Куйбышев, а затем в Москву. Сразу после войны Сергей Крылов был направлен на дипломатическую службу в Голландию в комиссию при ООН, где работал вместе с Андреем Громыко. Затем в Гааге, являясь чрезвычайным и полномочным послом 2-го класса, до 1958 г. был членом Международного суда ООН. Ева сопровождала его во всех поездках.

На выставке была представлена коллекция (более 100 предметов) одежды и аксессуаров Евы 1920—1960 гг., среди которых и коллекция перчаток, которые Ева использовала практически постоянно.

После смерти мужа Ева вместе с детьми перебирается в Академгородок. Академик Лаврентьев пригласил мужа ее дочери — академика Анатолия Васильевича Ржанова — возглавить Институт физики полупроводников. Ева прожила в Сибири больше 20 лет, умерла в 1976 г. в возрасте 90 лет. Ее потомки до сих пор живут в Академгородке.

— Вся жизнь Евы, — подводит итог Ирина Хлебникова, — это служение Родине. Блестяще образованная, знающая шесть языков, воспитанная — она всегда была примером для близких и родных. Ева относилась к той самой русской аристократии, которой мы лишились во время Гражданской войны. А аристократия нужна каждой нации, потому что именно она — мерило хорошего вкуса, образованности и культурного уровня.

На коронации персидского шаха

Выставка «Женское соло» рассказывала не только о жизни Евы Окуневой, но и о других женских судьбах.

...Начало XX века, город Ново-Николаевск. Здесь жило много достойных и обеспеченных семей, среди них и семья Гречко. Глава семьи работал на железной дороге, был гласным Городской думы, а его дочери Пелагея и Софья слыли завидными невестами.

В младшую, Пелагею, был влюблен некий мещанин Михаил — какие он подарки дарил, какие знаки внимания оказывал! Но отец девушки всячески препятствовал этому браку, и однажды, когда произошел очередной резкий разговор, Михаил застрелился, оставив записку, в которой упомянул, что покончил с собой из-за несчастной любви и из-за того, что не видел будущего без Пелагеи. Ново-Николаевск эта история сильно взбудоражила, а семьи Гречко и погибшего Михаила после трагедии сильно сблизилась. Жаль, что уже после...



**Ночной чепчик. Хлопок.
Конец XIX в.**



Поясная пряжка. Нач. XX в.



Брошь.
Золото, горный хрусталь.
Модерн, нач. XX в.

На выставке были представлены драгоценные украшения сестер Гречко: золотые кулоны, броши, крестик, серьги в стиле модерн, подвес с горным хрусталем, браслет с дутыми звеньями. Жемчужиной коллекции является серебряная сумочка-ридикюль кольчужного плетения, сделанная местными мастерами.

Софья Гречко вышла замуж в 1918 году за будущего командарма Запасной армии Б. И. Гольдберга. В составе советской делегации в 1926 году Гольдберг с супругой были приглашены в Персию на коронацию персидского шаха. Коронационные торжества Реза-шаха Пехлеви длились пять дней, дамы каждый день меняли наряды и делали особые прически. Уникальные экспонаты выставки — два черепаховых гребня необычно тонкой резьбы, которые были на новониколаевской красавице на этой коронации.

Вы поедете на бал?

Чтобы подготовиться к балу, даме конца XIX века нужен был целый арсенал средств. Многие были представлены и на нашей выставке.

Мыльце 1896 года, которое закладывали в лиф платья, до сих пор источает легкий медовый аромат. Тальк, которому сотня лет, вполне пригоден для употребления и сегодня. На витрине мы видим парфюмерные бутылочки с духами, бальные перчатки, бальную сумочку, гранатовый пояс, зеркальце, лорнеты, щипцы для завивки волос, маникюрный набор, табакерку.

— Как это ни странно, но табакерка являлась таким же неотъемлемым аксессуаром женщины, как платок или сумочка, — поясняет Ирина Хлебникова. — Моду на красивые табакерки, как и привычку нюхать табак, ввела императрица Екатерина II. Считалось, что это полезно для здоровья. В нюхательный табак добавляли различные эфирные масла, ароматные травы, а самым популярным табаком был розовый табак на основе розовой воды и лепестков розы. Очень часто кавалеры ухитрялись подкладывать любовные записочки в табакерки девушек, отчего барышни придумывали для своих табакерок романтические названия вроде «кибиточка для любовной почты».

Кто сегодня знает, что такое карне? У посетителей выставки была уникальная возможность посмотреть на эту записную книжку-блокнот, которую

в XVIII и XIX веках дамы брали с собой на бал. Карне представляет собой миниатюрную коробочку (чаще всего — прямоугольной формы), предназначенную для хранения грифеля и пластинок из слоновой кости или перламутра. На этих пластинках во время бала, находясь в театре или где-то еще, было принято писать записки, обычно куртуазного содержания. Позже карне стало использоваться как блокнот для записи имен партнеров, которым дама обещала тот или иной танец во время бала. Карне, представленное на выставке, принадлежало Еве Крыловой.

Вызывал интерес посетителей и маникюрный набор. Именно в начале XX века женщины начинают отращивать ногти и красить их цветным лаком — до этого ногти предпочитали только подпиливать и полировать.

А какая была плойка в конце XIX века? Чтобы сделать красивые локоны, женщины на просушенные волосы наносили специальную помаду из воска и эфирных масел, разогревали плойку и накручивали волосы. Чтобы проверить уровень прогрева плойки, ее подносили к бумажке: если она загоралась, значит, плойку необходимо было чуть остудить.

Дамам крайне необходим был и пыльник, который тоже можно было увидеть на выставке: его надевали поверх вечернего платья, дабы уберечь от грязи и пыли, а также поверх платья для путешествий, отправляясь в дорогу.

Чашка Николая II

Семья Окуневых, несомненно, была приближена ко двору, об этом свидетельствует несколько приглашений на царские торжества, адресованных семье. Поэтому органично на выставке смотрятся раритеты Дома Романовых — это экспонаты из частных коллекций, которые выставляются в Новосибирске впервые.

Прежде всего — икона середины XIX века, украшенная белым речным жемчугом, бирюзой, гранатом и тремя крупными аметистами, которые расположены на плечах и на челе Богородицы. Икона полвека принадлежала Дому Романовых, передаваясь по наследству. В 1909 г. она была подарена вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной (супругой Александра III) игуменье Ираиде. На обратной стороне — надпись: «В память о монаршей милости 1909 года 26 июня игуменье Ираиде от Марии Фёдоровны». В настоящее время икона принадлежит одному из новосибирских коллекционеров.



Нарядный комплект: блуза из маркизета, юбка из креп-сатина. Нач. XX в.





**Чайная пара,
принадлежавшая царской семье**



**Тарелка с изображением Николая II,
принадлежавшая царской семье**

Еще из раритетов — чайная пара с печатью на донце чашки: «Николай II. 1897 г.».

— Посуда имеет потертости, что свидетельствует о том, что ею активно пользовались в императорской семье. И мы полагаем, что из нее пил царь Николай II, — делает вывод экскурсовод. — Блюдце сходного рисунка, на донце печать: «Александр III. 1881 г.»

Оба предмета входят в так называемый Готический сервиз. Рисунок напоминает готические витражи с переплетением красных, зеленых и золотых линий. Сервиз был изготовлен на Императорском фарфоровом заводе в 1830 г. Было принято так: если предмет сервиза выходил из строя, его восстанавливали на заводе, маркируя уже вензелем того государя, в чью эпоху изготавливалась замена. Эта чайная пара использовалась Александром III, при Николае II, возможно, чашка разбилась, и на Императорском фарфоровом заводе заказали аналогичную чашку. На выставке можно увидеть еще три предмета, принадлежащих Дому Романовых: молочник, чашку и салатник из одного сервиза. Как же они попали в Новосибирск?

Императрица Александра Фёдоровна в первые месяцы 1917 года, находясь в Царском Селе, перед расставанием подарила эти предметы своей фрейлине Каролине Вильгельмовне Бергман. Каролина Вильгельмовна была замужем за одним из царских офицеров, после революции их сослали в Сибирь. Мужа расстреляли в 1937 году, и она осталась одна. В Омске фрейлина познакомилась с одной семьей, которая к ней отнеслась очень добросердечно. Перед смертью в знак благодарности и признательности Каролина Вильгельмовна подарила своим друзьям эти предметы. Сегодня члены этой семьи живут в Новосибирске.

Еще в одном зале выставки были показаны старинные ткани, игольницы, наперстки и другие предметы, раскрывавшие секреты рукоделия наших мам и бабушек. Третий зал переносил зрителей на модную европейскую улицу. Этот раздел выставки был о самом захватывающем периоде моды прошлого века — золотых 50-х, создавших образ женщины-цветка.

Владимир КУНИЦЫН

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ «ЛЕВИАФАНУ»

Кино жестокое, холодное, беспросветное — совсем не в русской традиции сделанное. Страшненькое не бытовой своей историей, а внутренним взглядом режиссера — беспощадным, как глаз змеи. Конечно же, не Василий Шукшин, рыдающий: «Это ж мать моя! Мать!..» И — слезы в ответ, в темноте зала! К слову, а чем герой Шукшина благополучнее Николая из «Левиафана»? Но в «Калине красной» даже смерть не убивает, не застит свет, а в фильме Звягинцева — все заточено на то, чтобы психологически привести зрителя к отчаянию...

Такое кино Звягинцев снимает впервые. Предыдущие — от фильма к фильму становились как бы темнее, жестче. От картины к картине он все ниже пригибал Человека к земле, меньше оставлял в нем света и свободы. В «Елене» духовный тупик вовсе рядом.

В «Левиафане» Звягинцев не просто ставит точку в этой своей «эволюции», а в возбуждении разбрызгивает кляксу! Но мы еще поговорим о финале.

Прежде стоит объяснить по вещам принципиальным. Утверждение о несоответствии фильма «Левиафан» традиции российского кинематографа основано, казалось бы, на простейшей претензии, смехотворном пустяке, романтической глупости — отсутствии в фильме Звягинцева самой маленькой надежды не только для его персонажей, но и для Человека вообще. На отсутствии надежды не только у Человека, но и у страны, в которой прозябают люди, лишённые режиссером надежды.

Звягинцев сообщает нам об окончательном торжестве Левиафана! О победе над Богом, Его Церковью, над Его детьми в лице человечества. Ни больше ни меньше!

Кто-нибудь может припомнить в отечественном кинематографе нечто подобное по духовной дерзости?

Почему-то Звягинцева называют то учеником Тарковского, то продолжателем его традиций в киноискусстве... Об этом с большой натяжкой можно было рассуждать только после первой картины «Возвращение». После «Левиафана» говорить о каком-либо родстве двух режиссеров — не более чем шутка или насмешка. Федот, да не тот!



У Андрея Тарковского нет ни одного фильма, в котором он не пытался бы приблизиться хоть на малую толику к Создателю, а значит, к надежде и любви. Весь «Андрей Рублёв» — это духовный поиск Бога, трагический путь к Нему, и в финале — великая радость творческого озарения, дарованная как награда за верность и стойкость. А времена, в которые жил и творил Рублёв, кощунственно даже сравнивать с нынешними. И в этом средневековом ужасе родились светозарные иконы, словно окна, через которые с небес на человека смотрит любовь и надежда.

А разве вдали от родины Тарковский, сам, как и Рублёв, мучительно нащупывающий свой путь, не пробивается к свету, увлекая за собой и всех нас? Как забыть духовный катарсис, к которому А. Тарковский приводит Человека в финале «Жертвоприношения»? Напомню заключительные кадры этой великой картины: «В начале было Слово... почему, папа?» — говорит мальчик, лежащий под высохшим деревом. Каждый день он приходит к мертвому дереву поливать его, упрямо веря, что в конце концов дерево оживет... И вслед за отцом произнося слова из Евангелия от Иоанна, сам обязательно отыщет в итоге ответ — потому что «Слово было у Бога, и Слово было Бог». В начале всех начал...

Думается, рядом с Андреем Тарковским — в этом смысловом контексте — совершенно невозможно и близко ставить имя автора «Левиафана»...

Начинает Звягинцев с обобщающей метафоры, которая, как железным обручем, стягивает весь фильм.

Пролог: от вечной и прекрасной Природы мы приближаемся вместе с кинокамерой к миру и жилищу Человека. И чем ближе, тем безобразнее пейзаж.

В эпилоге: после завершения драмы камера отправляется в обратный путь, от безобразий человека — в вечную красоту природы.

Что в остатке? Откуда эта история, взыскующая глобальных обобщений? Цитирующая Священное Писание, отсылающая к английской философии XVII века — в лице Томаса Гоббса? И к притчам седовласой древности?

История повседневная: мэру заполярного городка приглянулось место, на котором стоял дом. Мэр из дома людей выгнал, дом сломал и построил вместо него церковь.

Если в двух словах.

Почему же такая «простая» для нынешней России драма буквально расколола аудиторию на противоположные лагеря? Одни твердят, что Звягинцев поведал большую правду о современной России. Другие — сочинил огромную ложь.

Уже в начале фильма Звягинцев, обрушивая на аудиторию мат-перемат, декларирует: пристегни ремни, зритель, сейчас увидишь правду без «запикиваний», прикрас и лицемерных купюр. Всю как она есть!

Вообще, в разговоре об этой картине понятие «правда» обретает ключевое значение. Здесь, на рубеже правды, раскалывается и публика.

Поэтому критерий правды становится главным камертоном. Им и поверим фильм.

О том, что режиссер собрал классную актерскую «сборную», нашел потрясающе суровую, почти черно-белую натуру, холодное море (по древнему преданию, Левиафан обитал на Севере), голые скалы, низкое небо и словно гасну-

щий дневной, скомканный Заполярем свет, — говорить излишне. Не новичок, лауреат.

Вернемся к главному — правде факта и обобщения.

В фильме будничной узнаваемости достаточно, чтобы расшевелить зрителя, доверительно подсесть к нему. Наверное, многих ностальгически тронули «разбойники с большой дороги» из ДПС. И кто не встречал в судах таких же теток с мертвыми глазами, почему-то наделенных карающей силой закона? Не слышал, как «виртуозно» зачитываются губительные решения? Звягинцев из такого зачитывания делает почти эстрадный номер. Если бы Томас Гоббс, автор трактата о государстве «Левиафан», при этом присутствовал, защелкал бы языком, поощряя разоблачителя «бездушной машины».

А сцена с пьяным мэром, который после «воспитательного» суда заезжает к жертве, чтобы еще раз покуражиться, побольнее унижить «насекомое», как он называет тех, что там, внизу, в «народе»? Никаким «Улицам разбитых фонарей» и «Ментовским войнам» не уступит! Да и актер Мадянов (мэр) с большим энтузиазмом купается в давно обжитом амплу! Вся эта правда, благодаря бесконечным криминальным телесериалам, давно стала в России общим местом и почти «документалистикой». Видимо, и выбор актеров продиктован именно этим психологическим шлейфом, как сознательная провокация нашего подсознания.

Но, как говорится, Гоббс Гоббсом, а только мало нам, русским, одного левиафана. В фильме Звягинцева их много, пожалуй, несколько поколений. И есть среди них сущности, которые, как полагает режиссер, давно из морей и пучин перебрались в глубины человеческой души, побросав свои скелеты вдоль морского прибоа...

Вот и топят они в водке Николая, толкают его жену на измену, а фронтowego друга на предательство. Они, пробравшиеся к самой человеческой душе, изнутри разрушают все, что ей когда-то заповедано было ценить и беречь: любовь, дружбу, семью, ребенка, родину... Многоликий и беспощадный враг человека — левиафан. Звягинцев почти обожествляет своего «личного» левиафана, неимоверно расширяя его могущество. Какое там государство? Оно — ширма! Автор сталкивает в единоборстве куда более древних противников!

Все туже и туже сжимает режиссер кольцами жизнь своего незадачливого автослесаря и наконец, в сцене встречи мэра и владыки, делает принципиальное обобщение, обнажая главную мишень.

«Всякая власть от Бога», — говорит мэру владыка. «А вот угодно Ему?» — спрашивает мэр, трогательно сомневаясь. «Угодно, угодно», — успокаивает владыка, фактически благословляя того на все преступления будущие и отпуская прежние.

«Соработники, одно дело делаем», — говорит владыка человеку, на котором даже Уголовному кодексу пробу ставить негде! Тем самым вплетая церковь в преступную связку. Более того, во второй встрече с мэром владыка говорит как истинный «крестный отец», какой-нибудь Дон Корлеоне: «Где власть, там сила. Если ты власть на своем участке ответственности, решай вопросы сам, своей силой. И не ищи защиты на стороне, а не то враг подумает, что ты ослаб».

И мэр «решает»! Адвоката московского «поучили» и вышвырнули из города, любимую жену Николая убили, а убийство вешают на него же — при



холуйском содействии всей местной полиции. Но ведь мэр не просто так беспредельничает, он благословение владыки получил!

Так вот, про обобщения и коварство правдоподобий, про тонкую грань, отделяющую искусство от прокламации. И провокации.

В той же сцене, где главный местный батюшка благословляет матерого «авторитета» светской власти, камера многозначительно берет крупный план фотографии, на которой — то ли в Кремле, то ли в храме — во главе с Патриархом сидят чуть ли не все высшие иерархи Православной церкви. Что же своим «наездом» на групповую фотографию хотел сказать режиссер? Что они все — в такой же коррупционной связке с высшей властью государства? Что церковь нынешняя — духовно повержена? Ведь параллель проведена с плакатной очевидностью! Или это и не вопрос вовсе, а самое что ни на есть утверждение — да, и вы такие же. Но какое, однако, лукавое и размашистое обобщение! Провести прямую от падшего да ко всему священству — разве не злонамеренная ложь? И не пошлость, постыдная для любого художника? И как быть с тем священством, что погибло в своих приходах от войн, конфликтов и террора? Что гибнет, но не уходит от алтарей сегодня? Зачем далеко ходить, когда есть фильм о том же священстве Павла Лунгина? «Остров» называется, не забыли? Там вера и жива, и животворит! Или Лунгин жлет, а у Звягинцева вся правда?

К этому эпизоду главные позвонки левиафана собрались вместе. Это Закон, Власть, Церковь, а вместе — Государство. Звягинцев скрепил союз церкви и власти неразгибаемым «брачным» кольцом.

Мрак, который сгустил в своем фильме Звягинцев, настолько плотен, что брось в него бейсбольную битку — она увязнет в этом мраке, как в гуталине. Но это не весь мрак. Еще мучительнее мрак, который клубится внутри. В фильме «Левиафан» Андрея Звягинцева не нашлось ни одного человека — ни одного! — который не замарал бы себя сам. Может быть, только Ромка, сын Николая? Фильм настолько амбивалентен, психологически вариативно «грязноват», что раздавались версии: это Ромка и убил мачеху! Будто мало ему быть невольной и беспощадной жертвой «взрослых» грехов! Николай, не просыхая, хлещет водку, он не плохой человек, но на дне бутылки видно его все хуже. Жена давно изменяет с лучшим другом, друг... а друг ли? Подруга жены и «гаишная» гопкомпания — доносчики и стукачи, буднично засадившие одноклассника и соседа в тюрьму. Все — в кишках у морского чудища, как когда-то Иона! Но того Бог пожалел, а на этих жалости у режиссера фильма не нашлось.

Есть еще один любопытный эпизод, тоже претендующий на обобщающую метафору. Во время «выезда на пикник» именинник, офицер дорожной службы, предлагает пострелять «под водочку» не по бутылкам, а по портретам политических вождей. Из тех, что уже «отвисели» свое. Под оживление собравшихся он «перелистывает» портреты, как исторические эпохи. Тут Ленин, Брежнев, Горбачёв, Ельцин... Товарищ по службе «кровожадно» интересуется, нет ли нынешних. На что офицер многообещающе и не без скрытой угрозы отвечает: «А нынешние пусть в кабинетах пока повисят. Их черед еще придет!»

Метафора эффектная — палить в прошлое, по сути, в свою жизнь — но Звягинцев понимает, каким чудовищным натурализмом может обернуться этот



расстрел в реальности, даже киношной. Да еще офицерами, в «живого» Горбачева! Вот настоящая, как говорят, жесть! Стопроцентный кич!

Стрелять не стреляли, но метафора прозвучала, ее изнутри морально (впрочем, и с художественной позиции) неопратно выворачивает — от слишком спекулятивной «перегрузки». Хочешь, нет, «стрелки из ДПС» — часть системы, одно из ребер левиафана. Кусая себя «за хвост», они включают механизм саморазрушения всей системы государственности.

Гоббс считал возникновение государства великим событием в истории человечества, положившим конец «войне всех против всех». Более того, критикуя мрачные издержки громоздкого института, сравнивая государство с левиафаном, Гоббс называл идеальным строем абсолютную просвещенную монархию! Вряд ли Звягинцеву симпатична такая диалектика европейской мысли. Если судить по мрачному пафосу, с которым он вколачивает один за другим гвозди — в гроб левиафана российского!

Спрашивается, а что так? Отчего же непременно «до основания, а затем»? Когда же отречемся от извращений либерального необольшевизма и умудримся? Да хоть и на европейский лад?

Этот зверь, «Левиафан» в доморощенной интерпретации, с усложненной национальной спецификой, оказался горазд на сюрпризы.

Не считаю возможным вступаться за церковь, есть у нее свои защитники. В современной церкви очевидно многое, что не всякому верующему-то по душе. Но разве Бог не выше своей церкви? И тот, кто уже пришел к своему Богу, разве отречется от Него, видя несовершенство и даже мерзости церкви? Всяк отвечает за себя, и не закрыться никому общей виной. Звягинцев же судит церковь коллективной мерой, по большевистской привычке, и — тьмою крошечной фильма, словно густым туманом — застит Свет. И даже хуже — прячет Бога, словно гоголевский черт, утачивший с небосвода месяц.

Нет в фильме никакой разрекламированной толкователями притчи об Иове — Николае. Какой Николай Иов? Он не верит в Бога, он не праведен, жертвы его не от Бога и не ради Бога. Отец Василий, к которому, сломленный гибелью жены, обращается Николай — ну где, мол, он, твой милосердный бог, вернет он мне жену, мой дом, если я начну поклоны бить, свечи зажигать? — рассказывает «в назидание и утешение» притчу об Иове. Вполуха выслушав ее и совершенно не постигнув пьяным своим рассудком, Николай пренебрежительно говорит: «Сказка, что ли?» Да ведь и отцу Василию плевать на страдания Николая! «Вразумив», но духовно ни на йоту не окормив несчастное чадо, он передает буханку жене, и та «окормляет хлебами» двух огромных хряков со словами, звучащими как очевидная издевка: «Во славу божию, ешьте!» Это ли не богохульство? Утонченное, с вывертом, а оттого еще более подлое?

Однако имеется в фильме другая притча. Ее-то смысл и накрывает всю историю как погребальный саван. Жили-были в своем доме люди. По-своему счастливо жили. А теперь на месте, где была какая-никакая жизнь и живой дом, стоит мертвая церковь, пустой дом, из которого ушел главный жилец — Бог! Вот это и есть дорогая авторскому сердцу притча. И имя этой притче: «Левиафан».

Жутковат своей наготой купол новой церкви! Христос не осеняет «с небес» паству.



Но и в старом, разрушенном храме, где жжет костры подрастающее поколение «дикарей», — купол пуст. Нет там лика Христа. Его давно затерли. Лишь мертвая голова Иоанна Крестителя проступает из уцелевшей стены.

Финальный эпизод картины — служба в новом храме — начинается через прямой монтажный стык с эпизодом, в котором мэру сообщают по телефону, что Николай осужден. «Пятнадцать лет? Ну и слава богу! Теперь будет знать, как залупаться!» — с облегчением торжествует негодяй, разбивший жизнь целой семьи.

Итак, сразу же за торжеством мэра звучит торжественная проповедь владыки (по Звягинцеву, он и есть реальная духовная «крыша» местной «вертикали»): «Вообще-то мы с вами пока еще наверное не осознаем, что происходит. А происходит то, что мы с вами возвращаем душу народу!..» — говорит он той самой «элите», которая сообщала и поглумилась над душой «Николая-народа». Подоспело и еще одно обобщение! Нынешнюю Россию Звягинцев увидел через своего алконавта, в лоб объявляя его типичным героем нашего времени, а значит, и лицом огромной страны, в которой кроме водки и коррупции — лишь суровые пейзажи! Молчаливые, как скелет обглоданного аборигенами левиафана...

«Не в силе Бог, а в правде, — говорит владыка. — ...Но самое главное для нашего дня состоит в том, что мы никогда не изменяли православию и говорили правду... обладать правдой может лишь тот, кто обладает истиной. А истина — это сам Христос...»

Что же совершает в финальном эпизоде режиссер? Почему так вызывающе шаржирует современную церковь — давая от ее имени слово циничному фарисею и хриstopродавцу? И тем умышленно принижая подлинные Христовы истины?

Конечно, найдутся люди, которые охотно объяснят и оправдают всю эту «тьму египетскую» и мрак духовный, всеобщий свальный грех, в котором участвуют и палач, и жертва! Объяснят до опасной банальности просто: левиафан — это все мы! Государство — мы, церковь, закон, семья — мы. Значит, виноваты ВСЕ! Народ, страна, пастыри — все одним миром мазаны, всем и отвечать! А художник имеет право на «крик», от которого чем сильнее у человека глаза выползают на лоб, тем лучше!

Но разве не так же «всенародно» оправдывали репрессии, а потом — «всенародно» проклинали их? Давно известная либеральная ересь! С ее лукавым призывом ко всеобщему покаянию! Да кайтесь же! Кайтесь! Вам есть за что! Народ, страдая, искупает свои грехи сам, молча.

Вот и Звягинцев прокричал: пропади всё пропадом, страна и народ, от которого якобы ушел даже Бог милосердный!

Но кому прокричал, в какую и чью сторону? Для кого старательно сложил в рупор ладони у рта? И зачем лжет о нашей «смерти»?

Разве народ вынашивает в себе художника для того, чтобы он в итоге, проклиная «мать и отца», вбивал в них кол своей беспросветной «правды»? Разве не для того он, чтобы из самой черной тьмы протягивать руку надежды? Чтобы, сострадав, исторгать из души слезы покаяния и искупления? Потому что без любви, как говорит Евангелие, — всё ничто! Любовь и есть Бог, и Спасение. А без любви и Правды нет.

Великое это лукавство утверждать, что «во исцеление» любая жестокость искусства оправданна. Нет! Не оправданна.

Относительно радостного возбуждения по поводу фестивальных успехов «Левиафана»: господа, стоит ли веселиться в связи с эвтаназией? Ведь на глазах у «родственников», а прежде — перед западной публикой «умный и красивый» режиссер совершил нечто вроде эвтаназии по отношению к своей «матери» — больной, запойной, некрасивой. Такой он ее стал видеть с годами, налюбовавшись на чужих и устыдившись своей, родненькой. За беспощадный укол нещепетильный сын заплатил той же копеечкой. Видимо, у Минкульта имеется отдельная статья расходов — «гробовые» — как у всякой предусмотрительной старушки.

Так это и есть тот самый случай, когда не моргнув глазом возможно при-судить золоченого «Орла»? И за что же? За красоту и впечатляющую худо-жественность убивающего укола?

Ну что ж, присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь! Какой приз может ослабить горечь от увильнувшего Оскара? Вручайте же его поскорее! В бла-годарность за акцию против некрасивой матушки-России! Присоединяйтесь, господа...



НАРОДНЫЕ МЕМУАРЫ

Людмила МУРАТОВА

ДЕТИ, ПЕРЕЖИВШИЕ ВОЙНУ

Исповедь советского человека

*У нас и детства не было отдельно,
А были вместе — детство и война...*

Р. Рождественский

Воспоминания посвящаю детям войны, погибшим от немецких пуль и бомб, в газовых душегубках и фашистских концлагерях, пережившим полицейские облавы и избиения. Посвящаю детям вильнюсского гарнизона, заточенным гестаповцами вместе с матерями — женами советских офицеров в «русском гетто» Вильнюса — лагере Субочяус. Их отцы служили в полку моего папы, командира полка.



Людмила Калиничева. 1935 г.

Мой папа — полковник Калиничев Пётр Михайлович, кадровый офицер Красной армии, командир полка, всегда возил нас с родным братом Борисом с собой. Наша мама умерла рано, и мое детство прошло в воинских частях, в военных городках, часто на границе.

В 1940 году полк, которым командовал папа, был передислоцирован под Вильнюс — столицу Литовской ССР, куда вскоре из Минска переехала вся наша семья. К тому времени папа женился, у его новой супруги имелся сын, мой одноклассник. Нас поселили в центре города, на квартире, а не в военном городке. Школа, в которой я училась, находилась на центральной площади, носившей в то время имя Ленина, сейчас в ней консерватория.

В ночь на 22 июня 1941 года в Вильнюсе было очень беспокойно. Папы с нами не было: незадолго до 22 июня он был вызван в Москву. Папа уехал, забрав с собой брата Бориса. С того времени ни об отце, ни о Борисе многие годы я ничего не знала. Ранним утром раздался резкий телефонный звонок. Адъютант

папы предупредил нас, что обстановка очень сложная и он по его приказу придет за нами: мы должны срочно возвращаться в Минск. Мы — я, мачеха и ее сын Олег — стали лихорадочно собираться. Но адъютант так и не приехал. Что случилось, не знаю. В тот день закончилось мое беззаботное счастливое детство, в жизнь вторглась война.

Немцы атаковали сотнями самолетов все воинские части и, как я поняла позже, сбросили на город хорошо вооруженный десант. Некоторые десантники прекрасно говорили по-русски. Творилось что-то невероятное, невообразимое, неопишное: разрывы бомб, свист пуль, крики и вопли, стоны раненых, всюду валялись трупы. Над городом поднималось черно-багровое зарево. Обеспокоенные люди бродили по городу, многие грабили магазины и опустевшие квартиры. Я, ребенок, ничего не понимала, думала, что это какие-то военные маневры, свидетелем которых я прежде часто бывала, когда папа возил нас в военные лагеря. Но вскоре поняла: это не маневры, это ВОЙНА. Немцы быстро овладели Вильнюсом, чему во многом способствовали сами литовцы.

Нашей соседкой по дому была полячка Берта, с ее сыном Робусем мы дружили, вместе играли, катались во дворе на велосипедах. Робусь учил меня польскому и литовскому языкам, а я его — русскому и белорусскому. Берта заставила нас с мачехой и Олегом спуститься в подвал, служивший бомбоубежищем. Несколько раз в подвал заходили какие-то люди в милицмейской форме, спрашивали по-русски, есть ли русские и семьи красноармейцев. Мачеха все порывалась подойти к ним, думая, что приехали за нами, но Берта строго-настрого запретила нам даже рот открывать: она случайно услышала, как перед входом в подвал двое «милиционеро» перекинулись парой фраз по-немецки. Оставив Робуся в подвале и наказав ему никуда не высовываться, она через полгорода дворами и околотками повела нас на вокзал. Зная польский и литовский, Берта мастерски заговаривала зубы встречавшимся немецким и литовским патрулям. До сих пор не могу понять, откуда их сразу столько взялось?

Вокзал из последних сил еще удерживали наши, стараясь успеть отправить на восток последние эшелоны. На грузовую платформу одного из них, проверив документы у мачехи, нас буквально втокнули — мы толком даже не успели проститься с нашей спасительницей, не до этого было. В эшелоне ехали дети и жены красноармейцев, а также раненые бойцы. Вскоре вокзал был оставлен... Опоздай мы еще хоть немного — все, конец. Все «комсоставские» семьи были либо расстреляны прямо у домов или в подвалах, либо отправлены в немецко-литовские концлагеря.

Газета «Известия» от 19 декабря 1965 года в очерке «Героини мятежного лагеря» (газету я бережно храню и часто перечитываю) писала: «Не успевшие эвакуироваться жены офицеров вильнюсского гарнизона были выловлены гитлеровцами и помещены в “русское гетто” — лагерь Субочяус. Их подвиг стоит в одном ряду с подвигами наших воинов». В этот лагерь попали и жены комсостава папиного полка, некоторых из которых я хорошо знала. Несломленные, бесстрашные, они впоследствии попытались поднять восстание. Естественно, оно было жестоко подавлено, не выжил никто, ни один человек.

Берта, дорогая пани Берта... Она спасла наши жизни. Были в Литве не только предатели и изменники... Лишь в 1973 году мне удалось съездить в



Вильнюс, побывать в нашей бывшей квартире. Жильцы-литовцы сперва не хотели меня впускать. Я через дверь объяснила, в чем дело, дала в руки паспорт. Впустили, спасибо. Спустя три десятка лет я обошла последний приют своего детства, сердце щемило, в глазах стояли слезы. Расспрашивала соседей, но ни о Берте, ни о Робусе узнать ничего не удалось. Я ведь даже не знаю, удалось ли ей вообще тогда добраться от вокзала к своему сыночку. Позже мой супруг Юрий и сын Пётр тоже побывали около того дома, во дворе, где мы с Робусем играли, катались на велосипеде. В памяти осталась одна-единственная фраза по-польски: «Робусь, проше дач ровер на хвелечку!» (Робусь, дай, пожалуйста, велосипед на минутку!)

* * *

Не знаю, как далеко мы отъехали от Вильнюса, налетели фашистские «стервятники», состав полностью разбомбили. А ведь не могли не видеть, что там раненые, женщины, закрывающие собой плачущих детей. Никого, гады, не щадили! И все заходили и заходили, расстреливая нас из пулеметов на бреющем полете. Кто-то из раненых сумел выбраться из пылающих вагонов, кто-то нет — сгорели заживо.

Мы, детвора, быстро стали взрослыми, многому научившись. Научились мгновенно падать при налетах. Научились без плача и слез прощаться с погибшими, всего пять минут назад бывшими живыми. Научились безошибочно определять по гулу моторов наши «ястребки» и их бомбовозы, точно различать пустые и груженные бомбардировщики, пролетают они или заходят на бреющий. До сих пор в глазах стоит рожа одного немецкого летчика — настолько низко он, сволочь, летел: защитные очки, блестящие золотые зубы, наглая ухмылка. И как он трусливо драпал, увидев наши «ястребки», но их было мало, ой как мало!

Пешком, голодные, оборванные, часто без воды, мы пробирались по лесам. Сколько шли — не помню. И какая была радость, когда мы вышли на своих: слышали гудки наших паровозов, куда вышли — тоже не помню. Первый раз мне, слава богу, удалось выскользнуть из-под фашистов, чудом не попасть в облавы немецких и литовских полицаев. Нас, «бродящих беженцев» и раненых солдат, которых выводили, а подчас и выносили на руках героические женщины — жены красноармейцев и комсостава вильнюсского гарнизона, собирали в один эшелон. Измученные, заикающиеся, с нервными тиками, мы добрались до Смоленска. Мачеха, помню, все совала документы и решительно требовала отправить нас в Минск, где в доме комсостава полка у нас оставалась квартира. На что вконец измотанный, осунувшийся, с красными от недосыпа глазами военный комендант устало выдохнул: «Милая, Минск уже у немцев!» — «Тогда в Москву, там мой муж!» — не унималась мачеха.

Естественно, ни в какую Москву нас не пустили. Нас «обработали» встречавшие военные медики, накормили, придели, посадили в целые товарные вагоны-теплушки и отправили в долгий путь на Волгу, в город Аткарск Саратовской области.

Несмотря на глубоко укоренившиеся представления о всеобщем хаосе и бардаке первых дней войны, отмечу особо: все было хорошо организовано.

В пути, на станциях нас встречали женщины в военной форме, кормили, поили, оказывали, если надо, медицинскую помощь. Сколько ехали — не помню. В Аткарске нас принимали добрые, радушные волжане, жалели беженцев. Помню стройную колонну грузовиков — всюду организация, порядок. На постой нас определили в пустовавшую школу — ведь шли летние каникулы. В классах, коридорах ровными рядами лежали матрасы, застланные белыми простынями. Всех беженцев пропустили через санпропускник (многие успели завшиветь), постригли, подлечили болячки. В школе пробыли недолго, нас распределили по семьям в дома местных жителей. Никто не роптал, наоборот, дружелюбно и радушно приглашали к себе, жалели, узнавая о пережитом. Статус беженца стал официальным.

Мы, дети войны, сильно отличались от местной детворы. Те беззаботно щелбетами, веселились, играли в классики, а мы, повзрослевшие и заматеревшие, все вглядывались в небо, вздрагивая от каждого шума, не могли спать по ночам. Как сейчас помню, началась гроза, грянул гром, мы бросились на землю, а местная ребятня смеялась над нами, а потом и мы смеялись с ними.

Из Аткарска мы втроем с мачехой и ее сыном перебрались на Северный Кавказ, в Кисловодск: там военврачом служила родная сестра мачехи. Она работала в санитарном поезде, который забирал раненых из прифронтовых санбатов и доставлял их в кисловодские эвакуогоспитали. Все санатории и почти все школы города переоборудовали в госпитали: раненых бойцов было очень и очень много.

Рабочих рук остро не хватало, мачеха окончила экстренные курсы операционной сестры и устроилась в эвакуогоспиталь. Мне пришлось бросить школу и, как и многим другим ребятишкам, помогать в госпитале. Бинтов катастрофически не хватало, их стирали с хлоркой, но бинты при стирке сильно запутывались. В нашу задачу входило распутать их и скатать в тугие рулоны под присмотром старшей медсестры. Работа тяжелая: руки постоянно ныли, глаза от вонючей хлорки слезились и болели.

Но еще тяжелее было смотреть на наших раненых солдатиков... Многие без рук, без ног, а сколько их умирало от ран! К выздоравливающим раненым нас, детей, пускали: мы им читали книги и газеты, писали под диктовку письма. Они нас очень любили, ждали, вспоминали своих детей. Некоторые, глядя на нас, плакали. И все старались чем-нибудь угостить, отрывая от своих скудных пайков...

* * *

К великому сожалению, моя судьба сложилась так, что вскоре мне вновь пришлось оказаться под ненавистным супостатом...

Отношения с мачехой и ее сыном Олегом складывались очень сложно. Своего сыночка она, естественно, жалела, он учился в школе, а меня постоянно гоняла в любую погоду через весь город в военторг занимать в четыре утра очередь, чтоб отovarить продуктовые карточки. А ведь мне еще нужно было бежать в госпиталь! Но это полбеды. Чего я совершенно не выносила: она нередко приводила в дом выздоравливающих офицеров из госпиталя. Да, многие вещи мне пришлось познать рано, слишком рано. Понимаю, она — красивая моло-

дая женщина, понимаю, офицеры делились пайком, мне тоже перепадало. Но! А как же папа?! Ведь я не сомневалась: он жив! Жив, хоть и не шлет нам весточек.

Как только потеплело, мачеха решила избавиться от меня, отправив в Краснодар к своей престарелой матери Пелагее Прокопьевне.

Зимний разгром фашистов под Москвой наша пропаганда преподнесла как коренной перелом в войне, многие эвакуированные потянулись на запад. Весной 1942 года было предпринято мощное наступление Красной армии под Харьковом, закончившееся провалом. Немцы опрокинули наш фронт, сосредоточив наступление только на южном направлении, стремительно продвигаясь вглубь южной России. Вскоре Краснодар стал прифронтовым городом, стратегическим опорным центром нашей обороны. А я уже ехала туда, куда мне было указано — к бабушке Пелагее Прокопьевне, можно сказать, «на передовую» — в воинском эшелоне, шедшем к линии фронта с выздоровевшими солдатами и офицерами, которые относились ко мне очень внимательно и ответственно. Особенно запомнились молодые летчики-лейтенанты: они жалели меня, кормили.

До сих пор перед глазами станции Минводы, Невинномысская, Кавказская, Армавир... Вновь все в огне, бомбежки, воздушные бои. Оружия у сопровождавших меня бойцов еще не было, оставалось только одно — отборный, сочный русский мат. Как я научилась ругаться! Кругом беженцы, беспризорные дети — голодные, оборванные, обросшие. Они бродили по дорогам, прибывались к воинским эшелонам и санитарным поездам, красноармейцы и сестрички их подкармливали. Некоторые счастливицы так в них и оставались — их забирали с собой. Мечта всех детей войны — стать сыном или дочерью полка или, на худой конец, помощником в санитарном поезде. Но все мы хотели только одного: мстить, мстить, мстить! Мстить за недетские страдания, за гибель матерей и отцов, за отнятое детство, за свое сиротство.

Летом 1942 года мои «опекуны»-лейтенанты доставили меня к бабушке, она жила на улице Октябрьской, дом 3. Как же я умоляла их взять меня с собой в полк! Но они только шутили: «Подрастай!» Я была очень маленького роста, белые волосенки и, как все говорили, грустные голубые глаза. Когда бабушка прочитала письмо моей мачехи, ей стало дурно: она была старенькая, больная, бессильная. У нее не было никакого запаса продуктов. Так началась наша тяжелая, жестокая борьба за выживание.

А немцы все приближались. Я ходила с женщинами на брошенные колхозные поля собирать колоски, початки кукурузы, в брошенных садах собирали фрукты. У меня появилась новая подружка — еврейка Сима. Их семья жила неплохо: свой дом, сад, огород. Ее отец воевал на фронте. Они были очень добры ко мне, жалели, подкармливали, передавали что-нибудь и для бабушки.

Вскоре в городе начались уличные бои — я видела их своими глазами. Опять повторение вильнюсского кошмара: бомбы, снаряды, пули, горящие дома, убитые и раненые. То наши теснили немцев, то они наших. Мы сутками отсиживались в вырытых в земле траншеях.

В часы затишья я вместе со старшими разбирала продукты в брошенных, разбитых магазинах и складах. Многие склады были подожжены, чтобы ничего врагу не досталось, на многих висели таблички «Заминировано». Помню,

как наши взорвали кондитерскую фабрику — по склону в Кубань текли вязкие темные ручьи сладкой патоки. Мы кинулись набирать ее во все что можно — банки, склянки, ведра, горшки, кастрюли. А тут очередной налет! Под пулями и осколками бомб мы продолжали таскать спасительный продукт. Но некоторые так и остались лежать в грязно-сладкой жиже. Пелагея Прокопьевна была не в силах меня сдержать, звала «бисова душа» и колошматила чем попало, чтобы я сидела дома. Но потом все же призналась, что без меня, «бисовой души», возможно, и не выжила бы: тех продуктов, что я, рискуя жизнью, натаскала в дом, хватило на несколько месяцев.

После тяжелых кровопролитных боев 12 августа 1942 года в Краснодар, треща моторами мотоциклов и лязгая гусеницами танков, вошла фашистская нечисть. Началась оккупация — каждый год я вспоминаю этот печальный день. Вместе с немецкими в город вступили и румынские части. У румын была другая форма, на пилотках красовались какие-то знаки различия — «ромашки». Они были еще хуже немцев. Шумной, крикливой, базарной манерой поведения очень напоминали цыган. У меня сложилось впечатление, что и сами немцы не любили и презирали таких союзников, с которыми вроде бы вместе тогда воевали и проливали кровь. Румыны, мы называли их «мамалыжники», были очень злыми, в открытую грабили и били местное население, насиловали женщин и все рыскали, рыскали, искали партизан, которых панически боялись.

Мост через Кубань был разбомблен, многие не успели эвакуироваться, в том числе мои еврейские «кормильцы» — семья подружки Симы. Помню, как мы, ребяташки, бегали к Кубани — по ней проплывали трупы военных и гражданских, иногда попадались раненые, вцепившиеся во что-нибудь плавучее. Местные жители старались их выловить, но, как правило, спасенных фашисты тут же добивали.

Бабушка строго-настрого запретила мне даже заикаться кому бы то ни было о том, что я дочь полковника Красной армии: концлагерь, если не расстрел, нам обеим был бы гарантирован железно.

В городе появилась местная «власть» — полицаи: невесть откуда повылазившие разномастные подонки-предатели из местных жителей, а также дезертиры, уклонисты, изменники. Они ненавидели советскую власть, впрочем, по моему глубокому убеждению, вообще всех и вся, а потому свирепствовали еще хлеще. Ходили полицаи в черной форме, за голенищем сапога у многих плетка. Ох сколько же раз мне доставалось плеткой по спине и ниже почти ни за что: залезла в брошенный сад, раздобыла доску для протопки жилища, а иногда и просто так, для острастки — типа, они тут хозяева. Начались бесконечные переписи, облавы, ввели комендантский час: действовали партизаны, которых вся эта мразь очень боялась.

Полицаи участвовали и в карательных акциях вместе с частями СС. Не забуду, как они выслеживали и вылавливали молодых девушек — красавиц, кубанских казачек — сгоняли к вокзалу, многих насиловали. Перед глазами страшная сцена погрузки их в эшелоны для угона в Германию: их затаскивают в вагоны, они вырываются — кругом крики, рыдания, стенания, их матери бросаются в ноги полицаям, но все бесполезно. Совершенно случайно довелось стать и свидетелем сцены ареста подружки Симы и ее семьи. Вокруг немцы с лающими овчарками, а полицаи тащат их в грузовик, помахивая плетками.

В последний раз я видела Симочку, запомнив ее с маленьким узелочком в руках, личико бледное, заплаканное.

Мне было всего одиннадцать лет, меня миновала судьба тех несчастных детей, девушек и женщин, которых угнали в Германию или, еще хуже, в концлагеря. Выручало знание азов немецкого языка: еще в Минске папа приглашал учительницу немецкого, и мы года два с ней занимались. Знание немецкого действовало на полицаев отрезвляюще, да и немцы нередко улыбались.

Зима в тот год выдалась на Кубани убийственно холодной: температура опускалась ниже тридцати — большая редкость для тех мест. Топить было нечем, все заборы разобрали, спилили деревья, стопили мебель — сожгли все, что горит и греет. Мы, несколько детей со двора, на трескучем морозе выбирали из кучи шлака куски несгоревшего угля и таскали его в ведрах домой. Около кучи стоял пост: рядом находилась немецкая комендатура. Немецкие солдаты разрешали нам набирать, особенно когда я что-нибудь бормотала по-немецки, благодарила их, прощалась.

Однажды, когда мы уже почти наполнили свои ведра, немца на посту сменил румын. Замерзший румынский вояка, натянувший поверх форму какую-то женскую одежду, сразу стал нас прогонять, бить прикладом винтовки, а потом уже собранный уголь высыпал в глубокий снег. Я залезла в сугроб, чтобы спасти хоть какие-то кусочки угля, а этот мамалыжник вонючий смотрел и смеялся. Чуть не плача от обиды и собрав последние силы, я вылезла из сугроба и в сердцах крикнула ему: «Гад! Паразит! Вот прилетит мой папа и бомбу на тебя сбросит!» Боже, как он зверски меня избил! Втаптывал коваными сапожищами в сугроб и все что-то верещал «по-цыгански», как сорока. Дети побежали домой, сообщили взрослым во дворе, они притащили меня к бабушке, и я три дня лежала, харкая кровью.

Пелагея Прокопьевна пошла жаловаться в городскую управу. К чести немцев, они провели разбирательство и, видимо, допросили того румына, потому что вскоре пришли теперь уже выяснять, почему ребенок так сказал. Бабушка приказала мне мычать в углу, а сама, прикинувшись полудурой, запричитала, мол, девчоночка не в себе, все выдумала, отца ее забрали в НКВД, чего ее слушать! Хорошо, что обратное никто не мог подтвердить: в городе меня не знали. Немцы покрутились-покрутились, пожалы плечами да ушли, обошлось, слава богу.

Помню, как-то ночью, уже под утро, немцы сбили наш «небесный тихход» По-2, прилетавший сбросить бомбы на их расположение возле водокачки. Подбитый самолет прошуршал над домами и опустился на прибрежные камыши около Кубани. Рано утром мы, ребяташки, побежали посмотреть и, если надо, позвать на помощь взрослых. В самолете находились две летчицы, «ночные ведьмы», как звали их немцы, — светловолосые молодые девчонки, шлемофонов на них не было, на груди награды. Одна девушка, по-моему, штурман, была мертва, а пилот тяжело ранена, стонала, просила пить. Но ни напоить, ни оказать помощь летчице ни мы, ни прибежавшие забрать нас женщины не успели: к самолету неслись две немецкие машины, бежали полицаи. Мы спрятались в кустах. Один из эсэсовцев, взобравшись на крыло, не спеша передернул затвор «шмайсера». Раненая летчица, собрав последние силы, попыталась вылезти из самолета, но гад фашист, ухмыльнувшись, добил ее из автомата. Их тела увезли.

Немцы решили провести пропагандистскую акцию. Как рассказывали очевидцы, целый день по городу ездил открытая охраняемая полицией машина с телами тех летчиц. Ветер трепал их сплутавшиеся светлые волосы, а вражеский матюгальник пафосно вещал: «Победа великой *непобедимой* Германии близка! Все мужчины перебиты, поэтому большевики посылают воевать женщин! Да здравствует великий фюрер!»

Этот эпизод перепахал мою душу. Я всю жизнь собирала материалы о своих кумирах — отважных летчицах ночной бомбардировочной авиации, вырезала статьи о них из газет и журналов, сотни раз перечитывала книгу А. Магид «Гвардейский Таманский авиационный полк». Вечная им слава!

Тем временем наша доблестная Красная армия перемолола армию Паулюса, победила в Сталинградском сражении и перешла в стремительное наступление. Наш прорыв грозил окружением и разгромом всей южной группировки войск гитлеровцев, поэтому они стали спешно отступать, не успев уничтожить население, — самим бы ноги унести. Морозы крепчали. Хорошо помню ту жалкую отступающую рать. От прежней помпезности и бравады не осталось и следа — пилоточки, поверх них женские платки, шарфы, одни носы торчали. Румыны вообще испарились еще раньше своих немецких хозяев. Уходили и полицаи, кто не смог — сдавались сами и сдавали нашим своих же.

13 февраля 1943 года наши входили в Краснодар — я каждый год праздную эту дату. Мы с другими ребятами радостно метнулись к нашим бойцам и... оторопев, замерли в растерянности: непривычные для нас, южан, белые овчинные полушубки и непонятные погоны — уходили-то в петлицах с треугольниками, кубиками и шпалами. Но бойцы, видя нашу растерянность, рассмеялись: мы, мол, детишки, свои, свои, родные... Наши отцы воевали на фронте, мы наивно расспрашивали, не видели ли они их, не знают ли, называли фамилии. Бойцы нас обнимали и обнадеживали: все папы скоро вернуться домой!

Не успевшие слинять полицаи получили по заслугам, наиболее одиозных из них судили открытым судом в Краснодаре, вынеся приговор: казнь через повешение. Еще в войну мне удалось увидеть в кинотеатре документальный фильм «Приговор народа» про этот процесс, в наши времена я не раз пересматривала его в Интернете. Одного из полицаяев, предателя по фамилии Пушкарев, я вспомнила. Поделом им!

Так закончилась полугодовая фашистская оккупация Краснодара. Сейчас, оглядываясь назад, пытаюсь понять, вновь и вновь задаюсь вопросом: кто же хранил меня в этой адской круговерти? Как мне удалось выжить среди смертей, в голоде, холоде и бомбежках?

* * *

Порядок в городе восстанавливался быстро, заработала почта. Мы с полюбившей меня Пелагеей Прокопьевной, списавшись с мачехой, стали собираться в Кисловодск. Всю мебель мы сожгли, продуктов нет, я вся оборванная, а главное — у бабушки не было сил совладать со мной. Полицаяев нет, плеткой никто не лупит, всюду свои, можно свободно ходить по улицам, рассказывать о папе, о пережитом.

Долгий путь обратно в Кисловодск в товарной теплушке был тяжелым. Кругом руины и разруха, беспризорные дети. Но жизнь налаживалась всюду: работала милиция, проверяли документы, отлавливали беспризорников. На перронах всех станций под вывесками «Кипяток» — кипяченая горячая вода для всех желающих.

В Кисловодске меня ждала трагическая весть: мачеха получила извещение, что мой папа — полковник Калиничев Пётр Михайлович, начальник штаба дивизии, 20 августа 1941 года пропал без вести у деревни Петрухново под Ленинградом. Не могу передать своего состояния: три дня я не ела, меня трясло, глаза распухли от слез.

Я твердо решила сбежать на фронт, но еще в Минводах меня поймала милиция и отправила домой. Совладать со мной было очень трудно, хотя я исправно продолжала работать в госпитале «бинтоматкой». Вновь отбытие повинности по занятию очереди для отоваривания карточек в четыре утра, пока мой «братец» сладко спал, вновь бесконечные «гости» мачехи. Отношения с ней становились все нетерпимее. Стоит добавить, что пока я «гостила» у бабушки в Краснодаре, она преспокойно получала на меня продуктовые карточки.

И вот однажды мачеха собрала небольшой узелок, отвезла меня в Пятигорск и сдала, как ненужную вещь, в детскую комнату спецприемника милиции для беспризорников. Столь подлое предательство и меня, и светлой памяти моего папы — ее мужа — сопровождалось наглой ложью о том, что она-де мне никто, что «эту девочку» она «по доброте душевной» якобы подобрала на рельсах, а мать, мол, погибла при бомбежке. Мачеха скрыла, что мой папа — ее муж, заодно расписав, какой я трудный, вольнолюбивый, неуправляемый ребенок. Я горячилась и, раскрасневшись, кричала, что это — «моя мама» (ведь так я ее звала на самом деле!), но доказать ничего не смогла. Поверили ей — взрослому человеку, а не мне — ребенку. Да и времени детально разобраться во всем этом у милиции тогда не было. Так я там и осталась... С тех пор в моих «личных делах» писали: «Отец-полковник погиб на фронте, мать погибла при бомбежке».

В детприемнике обитали самые разные дети и подростки всех возрастов, их собирали по вокзалам, рынкам, разрушенным зданиям, лесам. Мы, военные сироты, быстро сплавивались и сдруживались. Воспитателями работали женщины-милиционеры — милые, добрые, но строгие, хотя обходилось без затрещин. Хочу особо отметить, что в милиции тогда служили в основном женщины, ни в чем, впрочем, не уступавшие мужчинам: ответственные, храбрые, бесстрашные, даже отчаянные, но милосердные и человечные.

Нас отмыли, подстригли, обработали от вшей, накормили, спали мы на чистых простынях. Из детприемника большой группой, под охраной вооруженных милиционерш, повезли в Горнозаводский детский дом для трудновоспитуемых детей Советского района Ставропольского края. Однако в Минводах, несмотря на бдительную охрану, несколько ребят все-таки сбежали, найти их не смогли. От станции Аполлонская (название, возможно, неточное) до детдома шли пешком почти два дня. Ночевали в каком-то клубе, на стульях. По пути, в станицах жители встречали очень дружелюбно, жалели нас, оборванных и голодных, кормили кто чем богат.

В детдоме у всех были клочки, у меня — Полковница: я всем рассказывала о папе и плакала, все равно веря, что он жив, хотя и «пропал без вести». Все делали сами: косили сено, работали на кухне и в прачечной, собирали дикие фрукты по лесополосам, помогали пасти скот, вкалывали в поле. Одеты кто во что, обуты в грубые ботинки из свиной кожи с деревянными подошвами. В жилых комнатах окна без стекол, просто заколочены досками. Топить было нечем, мы ходили километров за семь запасать дрова. Воспитательницы прекрасно к нам относились, и мы, изголодавшиеся по доброте и ласке, любили их, слушались. На память о пребывании в детдоме у меня осталась недоставленная наколка на руке: один малолетний «авторитет» силой хотел выколоть свое имя, но мне удалось вырваться и убежать. Но такие, как он, были исключением.

Однажды, уже в осеннюю распутицу, к детскому дому подъехали два «студебеккера» в сопровождении молодого лейтенанта: они доставили нам подарки «от Черчилихи» (так мы звали супругу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, известную своей благотворительностью) — одежду, теплые вещи. Пока лейтенант оформлял документы, а шоферы увлеченно общались с нашими воспитательницами, мы незаметно, почти профессионально стащили из кузовов часть вещей, тут же их надежно спрятав. Обнаружив пропажу, лейтенантик раскричался на нас, размахивая пистолетом, — мы, наивно хлопая глазенками, стояли вокруг с невинными лицами, прекрасно понимая, что стрелять он ни за что не станет. Тогда он взмолился: «Ребятишки! Милые! Не надо... Это же все для вас! Меня же отдадут под трибунал!» Пришлось все добровольно вернуть.

В октябре 1943 года по личному указанию товарища Сталина были организованы специальные ремесленные училища (СпецРУ) на полном государственном обеспечении, в которые брали военных сирот, детдомовцев, беспризорников, а также, по желанию, детей из многодетных семей. Из нашего детдома отобрали девочек с образованием не ниже 4—5 классов и послали в пятигорское Специальное женское ремесленное училище связи № 13. Мальчишки поехали в Ставрополь в СпецРУ металлистов.

Некоторые девочки, в том числе и я, не смогли выдержать экзамены, ведь столько не учились! Но, к счастью, назад в детдом нас не отправили, дав возможность подтянуть образовательный уровень в подготовительных классах, поэтому учились мы в РУ на год-два дольше остальных. Обмундировали нас в гимнастерки, юбки, стеганки — все б/у, не по росту, на головах береты. Как же мне было жалко расставаться с подарком Черчилихи — любимым синеньким пальтишком, я так просила его оставить! Но порядок есть порядок: пальто вернулось обратно в детдом.

Организация жизни в училище была почти военная — отделение, взвод, рота, в каждом подразделении командир из своих. Дисциплина, строевая подготовка, ходили только строем, даже одно время отдавали честь. В город — только по увольнительной, за провинность — наряд вне очереди. Военрука Коленкина А. А., инвалида войны, мы очень любили — строгий, но добрый, Человек с большой буквы. Он научил нас отлично стрелять, метать гранату, грамотно исполнять все воинские команды.

Но главное, в РУ мы не только грызли гранит науки в объеме семи классов, но и обучились работе на различных станках, получили специальность радиста-

оператора. Помимо учебы работали на заводе, разбирали разрушенные здания, тянули электропроводку, ставили столбы для проводного вещания — копали для них ямы, шкурили, смолили. Словом, лозунг «Все для фронта, все для победы!» относился к нам в полной мере.

Летом те, кому некуда было уехать на каникулы, работали на колхозных полях и в садах. Никаких перчаток и в помине не было, все руки в нарывах. Помню, как однажды объелись абрикосов и ядрышек из их косточек — и отравились. Нас откачивали военврачи из расположенной неподалеку воинской части. В пятигорском парке культуры и отдыха рыли озеро, таская носилки с мокрой галькой, босиком, по щиколотку в холодной родниковой воде. Но стойкие, закаленные, неприхотливые — выдерживали все.

У нас в училище была прекрасная художественная самодеятельность, один хор насчитывал около двухсот участниц. Руководил хором лейтенант воинской части Леонид Алексеевич Ярьско. Он был нашим кумиром, девчонки постарше даже влюблялись в него, писали записочки. Впоследствии Ярьско стал художественным руководителем народного казачьего ансамбля песни и пляски «Терек», получив звание заслуженного артиста РСФСР. Аккомпанировал хору на баяне тоже лейтенант В. Нахман, танцы ставил лейтенант А. Байдовлетов. Концертная бригада училища, куда входила и я, регулярно выступала перед ранеными в госпиталях, на открытой сцене в Цветнике. Наши выступления пользовались огромным успехом. Еще и спортом все, по возможности, занимались. Я была чемпионкой Ставропольского края общества «Трудовые резервы» по бегу на короткие и средние дистанции.

Сводки Советского информбюро, политзанятия тоже были частью нашей жизни. Как мы радовались нашим военным успехам, отмечали на картах продвижение Красной армии на запад. Особенно радостным для меня было сообщение о взятии Бухареста и вдвойне — о том, что «одумавшаяся» Румыния объявила войну Германии. Откровенно говоря, меня это даже не удивило; как впоследствии говорил один персонаж из кинокомедии «Гараж»: «Вовремя предать — вовсе не предать, а предвидеть!» Вот только не желала я ни одной немецкой девочке быть, подобно мне, втопанной в землю сапогами того уroda, которого, надеюсь, наши все же «шлепнули».

Пишу и осознаю, что никогда больше я не видела такого всеобщего подъема, самоотверженного порыва, сплоченности и единения народа, как в те годы, никогда столь отчетливо не ощущала себя частичкой огромной великой страны — Советского Союза, который мы спустя десятилетия, что бы мне ни говорили, так бездарно профукали...

* * *

Но самым светлым, самым радостным, долгожданным и незабываемым праздником стал великий День Победы 9 мая 1945 года!

Подъем в училище был обычно в шесть утра, а тут вдруг раньше. В радиоточке что-то зашуршало, защелкал метроном... Мы уже радовались 2 мая, когда сообщили о падении Берлина, и вдруг родной, неподражаемый, бархатный голос Юрия Левитана торжественно возвестил: «Наше дело правое, враг побежден! Победа!!! Ура!!!»

Ликование было неописуемое! Мы как сумасшедшие стали скакать на своих койках, обниматься, целоваться, плакать, подбрасывать вверх все, что попало под руку. Дежурная воспитательница не знала, что с нами делать, пробовала успокоить — какое там! Потом и сама стала с нами плакать от радости. Мы все выбежали на спортплощадку, кричали, танцевали, плакали, пели, прыгали. Вокруг училища стояли частные дома, из них тоже выбежали жители и стали вместе с нами радоваться, обниматься, плакать. Это была непередаваемая, всепоглощающая радость, высшее счастье!

К тому моменту прибежали в училище военрук, воспитатели, учителя, мастера производственного обучения — все те, кто нас воспитывал, учил, кормил, обшивал, лечил; у многих в руках цветы. Наш израненный военрук — майор, фронтовик — быстро взял ситуацию в свои руки. Нам выдали парадную форму, объявили праздничное построение. Торжественно вынесли красное знамя училища, мы с большим воодушевлением исполнили гимн Советского Союза. После митинга и праздничного завтрака пошли к подножию горы Машук, нарвали букеты ранних весенних цветов и с песнями маршем через весь город пошли в госпиталь к раненым бойцам. Все жители города вышли на улицы — добрые, гостеприимные, хлебосольные пятигорчане угощали друг друга, наполняли соуды красным виноградным вином.

В госпитале раненых уже угостили фронтовыми «ста граммами», они восторженно встретили нас. «Ходячие» пытались танцевать, «лежащие» — петь. Вокруг них хлопотали врачи, сестрички, нянечки, тоже веселые и радостные, но строгие. Наша концертная бригада исполнила любимые песни бойцов — «Синий платочек», «Вася-василек», «Тульская винтовочка» и другие. Читали стихи, я — «Слово к товарищу Сталину» Михаила Исаковского:

Тот день настал. Исполнились сроки.
 Земля опять покой свой обрела.
 Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий,
 За Ваши многотрудные дела!

Во второй половине дня на городском стадионе было торжественное построение училищ «Трудовых резервов» Пятигорска — РУ № 2, ФЗУ № 7 и мы, СпецРУ связи № 13. Вечером мы долго не могли утомиться — непередаваемые эмоции, радостное перевозбуждение переполняли нас. Я и сейчас, спустя 70 лет, не могу спокойно вспоминать: такое ощущение, что все это было вчера. Но дисциплина есть дисциплина! Военрук скомандовал «К построению!», мы выстроились повзводно на вечернюю поверку, еще раз вдохновенно исполнив гимн Советского Союза, — и отбой! Однако дежурившая в тот счастливый день воспитательница Глафира Андреевна не была строга, как обычно, и мы до глубокой ночи, сидя на койках, вслух мечтали, как вернутся с фронта наши папы, найдутся братья и сестры, с которыми разлучила нас война, и как мы счастливо заживем в мирное время...



28-я годовщина Октябрьской революции. Ноябрь 1945 г.

* * *

В ремесленном училище мы продолжали осваивать специальность радиста-оператора, пришлось поработать на телеграфе и на почте. Мастер производственного обучения А. Х. Поцелуйко был классным радистом, своему мастерству он обучил и нас, дал начальные знания по электротехнике и радиотехнике, научил работать на радиостанциях того времени — аппаратах «Бодо», «Морзе», СТ-35. Завершили мы и семиклассное образование.

В 1947 году на смотре художественной самодеятельности в Ставрополе я случайно встретилась с мачехой. Она пригласила меня к себе, слезно просила прощения, отдала альбом с папиными фотографиями. Улучив момент и припомнив свои воровские навыки беспризорницы, мне удалось стащить у нее папины швейцарские карманные часы на цепочке. На их обратной стороне выгравировано: «Майору тов. Калиничеву П. М. За боевую подготовку. Нарком обороны СССР. 1/XI-1936 г.». Ныне это наша главная семейная реликвия.

После окончания ремесленного училища разрядкой Краевого управления «Трудовых резервов» я была направлена на работу радисткой второго класса в пятигорский аэропорт. Большинство летчиков, техников, работников обслуживающего состава были бывшими фронтовиками, у всех боевые награды. Я очень гордилась тем, что работаю в таком солидном коллективе. И в мирное время наши соколы работали на совесть, летали смело, часто в нелетную погоду, что было не просто с учетом специфики горной местности.

Меня все звали Люся-радистка, выбрали секретарем комсомольской организации аэропорта. Одновременно я поступила в восьмой класс вечерней школы рабочей молодежи № 1 города Пятигорска. Моими одноклассниками были взрослые люди, не сумевшие из-за войны получить образование, много бывших фронтовиков. Учились и действующие молодые офицеры из частей, дислоцировавшихся в Пятигорске и его окрестностях. Их мечта — продолжить учебу в

военных академиях, которую многие осуществили (я долго со многими «вечерниками» переписывалась). Все учились с огромным желанием, троечников не было вообще.

Квартировала я тогда у своей бывшей учительницы географии из ремесленного училища — Хирьяновой Марии Семёновны и ее старенькой мамы Екатерины Ивановны. Муж Марии Семёновны — майор Хирьянов Иван Данилович — погиб в 1944 году, освобождая Польшу, маленький сынок умер от скарлатины во время войны. Наши опаленные войной сердца потянулись друг к другу, на многие годы завязались теплые, почти родственные отношения. Особенно я полюбила Екатерину Ивановну. Впоследствии мы ездили друг к другу в гости, я даже привозила к ним «на смотрины» своего жениха, будущего мужа Юрия. Свои нерастраченные материнские чувства Мария Семёновна излила на нашего сына Петра, который считает ее своей бабушкой.

В конце 1950 года через общество Красного Креста и Красного Полумесяца меня разыскал родной брат Борис, ныне полковник в отставке. Моей радости не было предела! Всю свою жизнь он посвятил розыску нашего папы, изучал материалы Центрального архива Министерства обороны, не раз ездил по местам боев его дивизии в Ленинградской области. Но никаких следов папы найти не удалось, выяснилось только, что он все-таки погиб...

После окончания «вечерки» я распрощалась с милым теплым Пятигорском, с его добрыми, душевными, гостеприимными жителями, с городом, который приютил, вырастил, воспитал меня, дал образование, отличную специальность. В 1951 году я успешно сдала вступительные экзамены в Ленинградский электротехнический институт связи (ЛЭИС) имени профессора М. А. Бонч-Бруевича на радиофакультет.

В институте также было много студентов из фронтовиков, демобилизованных офицеров Советской армии, учились бывшие блокадники, иностранные студенты. Обучение, естественно, было бесплатным, всем иногородним предоставили общежитие, выплачивали стипендию, на которую вполне можно было прожить.

Приятно, что в роно Советского района Ставропольского края, где находился мой детдом, меня не забыли, а одна из руководительниц роно товарищ Лобода знала лично по выступлениям самодеятельности. Приятно, что на мою просьбу переоформить справку о нахождении в детдоме (это давало возможность получать стипендию на первом курсе с парой «троечек») они откликнулись мгновенно, прислав новый документ. Даже приглашали на лето в родные места.

После окончания ЛЭИСа я по распределению приехала в Казань на завод «Радиоприбор». Помню, что имелась возможность остаться в Ленинграде, но в голове в последний момент мелькнула мысль: до Казани немцы дойти не смогли — так глубоко засел в меня детский страх. И я отправилась в столицу Татарстана, которую тоже полюбила, прожив и проработав там большую часть жизни — более 50 лет.

На заводе я познакомилась со своим будущим мужем — Муратовым Юрием Петровичем. Он, как и я, всю свою трудовую жизнь — 48 лет — проработал на «Радиоприборе». Единственного сына мы назвали Петром в честь наших погибших отцов — защитников Родины (отец мужа — Муратов Пётр Васи-

льевич — сложил свою голову в 1942 году под Москвой, в жестоких боях на Волоколамском шоссе).

Сейчас проживаем в Новосибирске, поближе к сыну, получившему распределение сюда после окончания Казанского университета.

Я с гордостью ношу звание «Труженик тыла», награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда».

С особенной теплотой хочу поблагодарить советскую власть, Советское государство, лично товарища Иосифа Виссарионовича Сталина за то, что в самую тяжелую годину войны нас, детей-сирот, беспризорников, не бросили на произвол судьбы. Было проявлено великое милосердие и высший гуманизм нашей любимой Родины. Всех пригрели, накормили, одели, вылечили, все получили образование, специальности. И мы трудились на благо великой Родины. Но трудно сказать лучше, чем это сделал поэт Роберт Рождественский:

А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далекие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, недетская беда.

Была зима и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе — детство и война.

И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была.
Она детей от смерти заслонила,
Своих детей для жизни сберегла.

Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне.

Новосибирск, 2015 г.



Светлана ГОЛИКОВА

НОВОСИБИРСК В ГРАФИКЕ АЛЕКСАНДРА СИЛИЧА

В истории сибирского искусства первой половины XX века есть немало имен талантливых мастеров, творчество которых было хорошо знакомо современникам, но оказалось почти неизвестным в наши дни. За привычными словами «незаслуженно забытый художник» скрываются обстоятельства, приведшие к утрате наследия автора или к недоступности его для сегодняшних исследователей и ценителей искусства.

К числу таких художников принадлежит новосибирский живописец и график Александр Дмитриевич Силич (1901—1945). Его творческая жизнь была активной и многообразной. Первые художественные опыты Силича начала 1920-х годов связаны с оформительской работой в воинских клубах, в газете «Красноармейская звезда». Профессиональное образование он получил в Омском художественно-педагогическом техникуме имени М. А. Врубеля — одном из лучших учебных заведений Сибири двадцатых годов, многие выпускники которого работали в Новосибирске. А. Д. Силич входил в состав ведущих творческих объединений своего времени: Ассоциации художников революционной России (1925—1926), общества «Новая Сибирь» (1926—1931), Союза советских художников (с 1933). Его произведения экспонировались на Первой Всесибирской выставке живописи, скульптуры, графики и архи-

тектуры (1927), западносибирских краевых художественных выставках (1934, 1939), Пятой новосибирской областной художественной выставке (1940). В военные годы он принимал участие в тематических экспозициях «Художники Сибири в дни Великой Отечественной войны» (1942), «Героическое прошлое русской армии» (1943), «Сибирь — фронту» (1944), которые были организованы при содействии сотрудников Третьяковской галереи, эвакуированных в Новосибирск, и стали заметными событиями в культурной жизни города.

Значительное место в деятельности художника занимала журнальная графика, привлекавшая многих сибирских мастеров его поколения. С 1920-х годов Силич активно сотрудничал с газетой «Советская Сибирь», журналами «Настоящее», «Сибирские огни», на страницах которых печатались его городские зарисовки и карикатуры, афиши театральных спектаклей и кинофильмов; в 1940-х годах работал для «Окон ТАСС».

В 1944 году, незадолго до безвременной смерти, А. Д. Силич переехал из Новосибирска в Харьков, и это обстоятельство предопределило судьбу его наследия, которое на долгие последующие годы оказалось вне поля зрения сибирских искусствоведов, музейных собирателей и зрителей. Практически единственным источником для суждения об индивиду-

альном стиле и тематических пристрастиях художника оказались многочисленные газетные и журнальные публикации его рисунков 1930-х годов.

Произведения Силича, увезенные на Украину, бережно сохранила его приемная дочь Валентина Юрьевна Юрченко. В начале 2000-х годов она передала в дар Новосибирскому художественному музею несколько графических листов из семейного собрания. Их появление в музейной коллекции вновь привлекло внимание к творчеству этого автора и прежде всего — к его новосибирским пейзажам, интересным не только для историков искусства, но и для краеведов, знатоков архитектуры города.

Произведения А. Д. Силича позволяют увидеть в нем прекрасного мастера городского пейзажа, владевшего различными образными интонациями. Практика художника-журналиста побуждала его обращаться к характерным для Новосибирска мотивам строительства и тесного, контрастного соседства разностильных сооружений; делала его внимательным наблюдателем, насыщавшим свои рисунки множеством живых подробностей. Таков пейзаж с одноэтажными постройками на фоне темного силуэта конструктивистского здания, помещенный в одном из декабрьских номеров газеты «Советская Сибирь» 1933 года под названием «Старый и новый Новосибирск». Такова недатированная акварель «Проспект днем» и рисунок «Каменка. Новосибирск» (1937) с фигурками прохожих и велосипедистов, автомобилями и конными повозками. В этих работах выражен интерес художника к городской повседневности и сиюминутности, им присущи черты репортажности и документальности.

В то же время в листе «Каменка» ощутима спокойная созерцательность.

Изображенный здесь заснеженный овраг с маленькими домиками обрамлен высоким пролетом моста и словно отгорожен от шумной суеты. Линии этого рисунка отличаются легкой непринужденностью, а свободное поле бумаги выразительно используется в передаче глубокого пейзажного пространства.

Иронический дар Силича-карикатуриста раскрывается в шарже «Квартиры на Мостовой-44», тема которого также связана с городским районом, прилегающим к долине реки Каменки. В наименовании рисунка приведен адрес самого художника, а в облике изображенного человека, небрежно расположившегося на заборе ветхого деревянного дома, угадываются автопортретные черты.

Хорошо знакомый Силичу тихий уголок в центре Новосибирска с видом на Стоквартирный дом в глубине предстает на двух акварелях 1938 года: «Зимний городской пейзаж» и «Каменские домики». Этот мотив не раз привлекал внимание художника, о чем свидетельствует и более ранняя композиция, опубликованная в 1933 году в «Советской Сибири» с подписью: «Бетонные гиганты новыхстроек ведут наступление на бревенчатые избы старого Новосибирска». Здесь острый интерес к деталям городского быта вновь уступает место мягкому лирическому чувству, и цельность акварельной живописи не противопоставляет, но гармонично вводит в общую пространственную среду уютные домики на ближнем плане и многоэтажные здания вдали, объединенные розовато-серой морозной дымкой в зимнем этюде и теплыми, медовыми тонами осеннего пейзажа.

Произведениям А. Д. Силича, достоверно и многогранно запечатлевшим виды Новосибирска далеких 1930-х годов, принадлежит достойное место в художественной летописи города.

АВТОРЫ НОМЕРА

Алексеев Сергей Трофимович родился в 1952 г. в деревне Алейке Томской области. Окончил Томский геологоразведочный техникум. Работал геологом, оперуполномоченным уголовного розыска, журналистом. Автор романов «Слово», «Рой», «Крамола», «Сокровища Валькирии», «Волчья хватка», романа-эссе «Сорок уроков русского» и др. По его произведениям сняты художественные фильмы. Лауреат многих литературных премий. Живет в Свердловской области.

Аникина Ольга родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный медицинский университет. Кандидат медицинских наук. Стихи публиковались в журналах «Сибирские огни», «Дружба народов», «Волга» и др. Автор трех поэтических сборников. Лауреат премии «Поэт года». Живет в Сергиевом Посаде.

Брейдо Иосиф родился в 1947 г. в Киргизии. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Автор пяти поэтических сборников. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Нива», «Простор». Заведующий кафедрой автоматизации производственных процессов Карагандинского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор. Живет в Караганде.

Голикова Светлана Павловна — заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного художественного музея.

Дедов Пётр Павлович (1933—2013) родился в с. Новоключи Купинского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный педагогический институт и факультет журналистики ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. Работал в газетах «Советская Сибирь», «Молодость Сибири» и др. Автор книг «Светозары», «Сказание о Майке Парусе», «Моя голубая весна» и др.

Кузменкина Людмила Анатольевна — исполнительный редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения», автор многих статей об истории города Новосибирска.

Куницын Владимир Георгиевич родился в 1948 г. в Тамбове. Окончил философский факультет МГУ и аспирантуру МГУ по кафедре эстетики. Автор множества статей, рецензий и трех книг. Работал на «Мосфильме», во ВНИИ теории и истории кино.

Был литературным консультантом журнала «Литературная учеба», обозревателем «Литературной газеты», заместителем главного редактора журнала «Советская литература», директором программы «Культура» информационного агентства «РАММА». Вел авторские передачи на радио «Маяк» и «Радио «Россия»». Работает на телевидении. Член Союза писателей России.

Муратова (Калиничева) Людмила Петровна родилась в 1931 г. В августе 1942 — феврале 1943 была свидетельницей фашистской оккупации Краснодара. Беспризорничала, жила в детдоме, выучилась на радиста-оператора. После войны окончила Ленинградский электротехнический институт связи. Работала на заводе «Радиоприбор» в Казани. В настоящее время проживает в Новосибирске.

Романов Дмитрий Дмитриевич родился в 1986 г. в поселке Томилине Московской области. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался в журнале «Юность». Живет в Москве.

Тодош Янга (1907—1961) — алтайский поэт-песенник. Потеряв родителей, рано начал трудовую деятельность. В 19 лет стал заместителем председателя исполкома Уймонской волости Горно-Алтайского уезда. После окончания Ойротской советской партийной школы был направлен в ряды Красной армии. До 1934 г. служил в Забайкалье в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, участвовал в защите рубежей нашей страны в Маньчжурии. Великую Отечественную войну прошел от начала до конца. Последние годы жизни прожил в с. Кулада Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области.

Чернов Юрий Владимирович родился в селе Мамонтове Алтайского края в 1937 г. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Работал в газетах Казахстана и Сибири. Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «Юный натуралист», «Муравейник», «Пионер» и др. Автор книг «Кому поют жаворонки» (1979), «Сумасшедшая трясогузка» (2003), «Какие мне снятся охоты» (2012) и др. Лауреат премии Василия Пескова (2006), Гарина-Михайловского (2012), Соколова-Микитова (2014). Член Союза писателей России.

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал **«СИБИРСКИЕ ОГНИ»** в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

**630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, оф. 315,
тел.: (383) 354-07-66, факс (383) 344-92-94
E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf**

Сдано в набор 20.05.2015 г. Подписано в печать 29.06.2015 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.
Тираж 1500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Торговый Дом Азия-принт»
Адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а
Телефон: (3842) 35-21-19